

Аркадий
ВАКСБЕРГ



После нашумевших книг историко-биографического жанра Аркадий Ваксберг возвращается к той тематике, которая снискала ему широкую популярность в шестидесятые-восемидесятые годы, когда его судебными очерками в «Литературной газете» зачитывалась вся страна.

Двадцать лет, отданных им адвокатуре, оставили яркий след в памяти писателя. Эта книга, которую сам автор относит к жанру «судебных драм», содержит остросюжетные рассказы, написанные на базе подлинных дел, в которых принимал участие он сам или его коллеги. Галерея портретов ушедшей эпохи, ее социальные типажи воссоздают атмосферу того времени на уровне «мелочей жизни». «Эпохи меняются, — пишет автор, предваряя книгу своих увлекательных новелл, — а страсти, толкающие людей на немислимые, казалось бы, поступки, остаются все теми же. Оттого и вызывают наше сопереживание».

Ностальгическая грусть, документальная достоверность, острый сарказм детективно-психологических рассказов, составивших эту книгу, привлекут к ней внимание читателей любого возраста.

ЧЕЛОВЕК

ISBN 978-5-903508-37-2



9 785903 508372

Аркадий
ВАКСБЕРГ
ПЛЕШЬ
ИЛЬИЧА
и др.

ЧЕЛОВЕК

Аркадий
ВАКСБЕРГ

ПЛЕШЬ
ИЛЬИЧА

и др.

рассказы адвоката



Аркадий
ВАКСБЕРГ





Аркадий
ВАКСБЕРГ

ПЛЕШЬ
ИЛЬИЧА
и др.
рассказы адвоката



Москва
2008

ББК 47.2

В 12

Оформление *Филипп Барбышев*

В 12 **А. И. Ваксберг.** Плешь Ильича и др. рассказы адвоката. —
М.: Человек, 2008. — с. 384

ISBN 978-5-903508-37-2

Новая книга Аркадия Ваксберга — известного писателя, журналиста, юриста, историка — содержит остросюжетные рассказы, написанные на основе подлинных дел, в которых автор, на протяжении двадцати лет проработавший адвокатом, принимал участие сам. В рассказе нет ни одной придуманной детали, нет даже самого малого домысла, но эти взятые из жизни истории своей увлекательностью могут поспорить с лучшими художественными детективами. Открыв эту книгу, вы уже не сможете отложить ее, не дочитав последней строки.

ББК 47.2

© Ваксберг А. И., 2008

© Издательство «Человек»,
оформление, издание, 2008

ISBN 978-5-903508-37-2



Безумно давно, когда я только начал работать в адвокатуре, и даже, пожалуй, еще раньше, когда к этой работе, под влиянием мамы, я стал проявлять осмысленный интерес, была заведена папка, где собирались и хранились мои записи о разных событиях и конфликтах, которые были услышаны в зале суда. Или в комнате-клетушке юридической консультации, где я принимал своих клиентов. Или просто записанные мною, иногда конспективно, рассказы моих коллег. Торопливые наброски с кратким изложением фабулы дела. Целиком или хотя бы в пространных выдержках материалы из адвокатских досье. Почти дословно воспроизведенные диалоги судьи с подсудимыми и свидетелями. Пререкания участников процесса во время перекрестных допросов — ни на что не похожий сленг далекой эпохи. Отдельные реплики, по которым легко восстановить стершиеся в памяти детали, но главное — воссоздать галерею портретов той далекой эпохи. Ее социальные типы.

Словом, всякая всячина...

Папка пухла, полнела, доросла, наконец, до таких размеров, что не сходились тесемки. Пора было уже завести вторую, только и всего. Но вместо этого я почему-то вообще бросил ее пополнять. Ведь собирать такой раритет можно до бесконечности. И, стало быть, никаким раритетом ее содержимое попросту не было: «случаев из жизни» превеликое множество, их коллекционирование лишено и смысла, и цели.

Смысл, однако же, был. И цель была тоже, хотя до поры до времени я ее для себя не формулировал. Но, как видно, держал в голове. Устные рассказы о том, что привелось мне услышать в зале суда, о судебных драмах, к которым я сам зачастую имел прямое касательство, пользовались неизменным успехом у моих друзей и знакомых. Мне доставляло, я думаю, удовольствие видеть их лица, внимавшие с таким упоением этим рассказам, чувствовать себя в центре внимания: нормальное, наверно, тщеславие слишком восторженного, чтобы не сказать легкомысленного, никак не мужающего мальчишки. К тому же я был уже и тогда «пишущим» человеком — мысль о том, что «про это» можно рассказывать и не только устно, несомненно, руководила мною, когда я с плюшкинским старанием заводил и пополнял свой архив. Услышав как-то в Тарусе мои адвокатские рассказы и зная про графоманские претензии их автора, Константин Георгиевич Паустовский предупредил меня: «Над вами нависла угроза выболтаться. Даже самые замечательные рассказчики, которых я знал, к сожалению, не преуспели в литературе». Даже самые замечательные! Что же тогда говорить про не самых?..

Именно под влиянием этой, вскользь брошенной, реплики Паустовского я перестал «держат трибуну» в застольях или на пляже, попробовав кое-что из распухшей папки перенести на бумагу. Потом жизнь повернула мое перо совсем в другую сторону. Журналистские сюжеты властно оттеснили адвокатские, притом на долгие годы. Лишь недавно, перебирая свой огромный архив, я наткнулся на ту старую папку, развязал тесемки, и оттуда вывалилась не просто куча пропыленных и пожелтевших бумаг, но — время. Пахнуло историей. Ожили — в неожиданном ракурсе — неповторимые приметы ушедшей эпохи. Занятные, как мне кажется, не только тем, насколько они созвучны нашим реалиям, но и сами по себе. Как таковые...

Я почувствовал, что мне просто хочется о них рассказать. Без дополнительных объяснений почему и зачем. Хочется, и все! Будет просто обидно, если сюжеты, произвольно рожденные жизнью, так и утонут в архивной пыли. Тем более что кроме меня, о них никто никогда не расскажет: лишь моя па-

мать сможет как-то их оживить. И, значит, добавить хотя бы несколько штришков к той панораме, которая с разных сторон — и по-разному — отражает жизнь ушедших десятилетий.

Из огромного количества сюжетных коллизий, хранящихся в папке, я отобрал лишь несколько, не имея при этом какой-либо сверхзадачи. Единственный критерий: мне самому это, это и еще вот это кажется интересным. Ибо, если автору интересно писать, есть надежда, что и читателю будет интересно читать. А если неинтересно и автору, то надежды нет никакой... Так что какой-либо заданности — отыскать сюжеты, непременно перекликающиеся с нашей нынешней злободневностью, — у меня не было. Перекликнется — замечательно. Не перекликнется — сойдет и такой... В том-то, увы, и беда, что все они так или иначе «звучат» и сегодня: эпохи меняются, а страсти, толкающие людей на немислимые, казалось бы, поступки, остаются все теми же. Оттого и вызывают наше сопереживание — спустя не только десятилетия, но и века.

В рассказах, которые вы прочитаете, нет ни одной придуманной детали, нет даже самого малого домысла. Разве что диалоги, которые восстановлены мною по памяти или реконструированы по записям, сделанным некогда второпях. Только некоторые подлинные имена заменены вымышленными или вообще не названы — по этическим соображениям. В этой непридуманности есть свои достоинства, но есть, конечно, и недостатки. И об этом в иных рассказах будет сказано еще не однажды. Автору, тем более если набита рука, под силу сделать необструганный литературно сюжет более достоверным, освобождая его от внутренних противоречий, выпирающих углов, немотивированных шагов, излишних подробностей. Делая его логичным и ловко сколоченным. Реальная жизнь, суматошная и хаотичная, этого всего лишена, в ней множество незалатанных швов, не пригнанных друг к другу зазоров, нестыкующихся поступков, неразвязанных узлов. Для того чтобы стать фактом литературы, все должно быть залатано, пригнано и развязано. И, как положено каждой, профессионально написанной пьесе, ружье, повешенное в первом акте, непременно должно выстрелить в последнем. В иных рассказах ничего этого не будет, ружье не выстрелит, как

бы самому автору того ни хотелось, так что фактом литературы они, вероятно, не станут.

Это меня не пугает. Напротив, я сознательно шел на это. Я оставил все таким, каким оно действительно было. Точнее — таким, каким отложилось в памяти или запечатлено в тех набросках, которые сделаны были когда-то по горячим следам. Без потребности выстроить литературный сюжет по отработанным и весьма уважаемым мною правилам сюжетостроения. Ничего не стоило что-то досочинить, что-то подправить, чтобы выглядело привычней, похожей, дописать финал, которого автор, зажатый в рамках того, что было, а не того, что могло и должно было бы быть, просто не знает. И даже не может знать, ибо ни в памяти, ни в папке никаких следов сюжетной развязки не оказалось. Наблюдательными людьми давно подмечено, что только выдумка похожа на правду, ибо она специально сконструирована — так, чтобы сойти за истину. Подлинная же правда никогда таковой не выглядит — из нее выпирает то одно, то другое несоответствие привычным, легко узнаваемым схемам и стереотипам. Кроме того, срабатывает известный «механизм сомнения» — так я называю этот привычный синдром: «Не может быть! Этого не бывает!» И чем больше подлинности в выхваченном из жизни, непридуманном сюжете, тем менее достоверным он выглядит. Такой вот парадокс, с которым надо бы, наверно, считаться. Я не посчитался. И не жалею об этом.

Рассказы, собранные в книге, — не все, но иные из них, — как черепки сосудов или обломки построек, которые находят археологи во время своих раскопок. По каким-то из них можно восстановить весь сосуд и все здание. Другие так обломками и остаются, но и по ним все равно можно судить о времени, к которому они принадлежали.

Извлечь из забвения эти обломки, сдуть с них пыль и представить читателю в их натуральном виде — только этого мне и хотелось. А додумать, восполнить недостающие детали, вообразить, каким мог быть и, наверно, был отсутствующий финал, — все это читатель сделает сам. Без меня. Фантазии, думаю, хватит.

МЕРТВЫЙ УЗЕЛ

Телефонный звонок разбудил меня в два часа ночи. Я не удивился. Еще не подняв трубку, я знал, кто звонит. По ночам мне звонил только один человек — Илья Давидович Брауде. Казалось, он никогда не спал. Он мог позвонить и в два, и в три часа ночи. Увлечшись каким-либо делом и готовясь к выступлению, он забывал о времени. Когда ему не терпелось поделиться удачной находкой, или неожиданной мыслью, или просто интересным сюжетом, который ему попался в суде, он звонил своим молодым коллегам. Именно молодым — он любил их. Он никогда не называл их учениками. Помощники, говорил он.

Мне посчастливилось два года, до самой смерти Ильи Давидовича, быть одним из его помощников. В своей мемуарной книге «Моя жизнь в жизни» я довольно подробно рассказал о нем и о некоторых делах, которые он вел с моим, весьма скромным, участием. Поэтому здесь представляю его очень коротко.

Еще полвека назад имя Ильи Брауде в рекомендации не нуждалось: как ни замалчивалась тогда роль защитника в уголовном процессе, как ни старались партийные журналисты представить адвокатов чуть ли не сообщниками преступников, этого адвоката хорошо знала страна, притом вовсе не как антигероя. Известность пришла к нему не потому, что, сочиня сценарии кровавых спектаклей, вошедших в историю как московские процессы тридцатых годов (или иначе: как процессы эпохи Большого Террора), кремлевско-лубянские палачи по-

садили его, как пешку, перед скамьей подсудимых, чтобы поддакивал громиле Вышинскому в образе псевдозащитника. Нет, выбор пал на него как раз потому, что он был к тому времени уже хорошо известен. Популярен и уважаем. Блестящий оратор, тонкий психолог и знаток человеческой души, он ярко блеснул на судебном небосклоне двадцатых годов участием в таких уголовных делах, где требовались не только ум аналитика, позиция и дар полемиста, но еще и понимание социальных процессов, их влияния на поступки, на нравы.

Выступать вместе с ним, помогать ему готовиться к участию в деле, слушать его было редким удовольствием и отличной школой.

Начавший свою карьеру еще в так называемом «царском», то есть свободном и независимом, суде присяжных, Брауде не любил таких дел, где все ясно с первого взгляда. Он любил запутанные, загадочные, над которыми стоит помучиться, чтобы доискаться до истины, отмести все наносное и ложное, но главное — обратить свой поиск в помощь тому, чьи интересы он защищал. Всерьез, а не вроде бы...

Отмечу одну деталь, которая сегодня, мне кажется, прозвучит особенно актуально: все самые знаменитые, самые громкие дела с его участием не сулили ему ничего, кроме жалких копеек, которые адвокатская коллегия, отбирая их у своих же членов, платила за осуществление принципа, записанного в демократичнейшей сталинской конституции: «каждому обвиняемому гарантируется защита в суде». «Гарантировало» ее государство, а расплачивались за фасадную «гарантию» сами же адвокаты.

Чаще всего клиентами Ильи Давидовича становились совершенно неимущие одиночки, у которых не было никого, кто мог бы о них позаботиться. В коллегиях из суда приходила телефонограмма: «Требуется защитник для участия в таком-то процессе», и Брауде, с его положением и авторитетом, всегда имел внеочередное право выбора. Он называл это «правом первой ночи» — безошибочно отбирал все самое интересное, отлично сознавая, что оно-то и обеспечит ему славу, а, значит, в конце концов, клиентуру. Отбирал то, чем мог бы увлечься, а не просто «исполнить свой долг» и заработать.

Дело, ради которого он мне тогда позвонил, было как раз из этого ряда.

— Надо поломать голову, — сказал он, не вдаваясь в объяснения, той ночью. — Приезжай завтра в горсуд. В десять часов. Смотри не опаздывай.

«Завтра» уже наступило — до утра не спалось. Я приехал ровно в десять. Илья Давидович ждал меня, вышагивая по коридору и размахивая левой рукой. Была у него такая привычка — размахивать левой рукой. Он почему-то был убежден, что это помогает сосредоточиться. И плодотворнее думать...

В то утро ему было над чем подумать: некто Василий Стулов, обвинявшийся в убийстве, упорно отрицал какую-либо причастность свою к преступлению, как, впрочем, и сам его факт, хотя десятки, буквально десятки, серьезнейших улик, собранных в двух томах судебного дела, неопровержимо, казалось, подтверждали доказанность предъявленного ему обвинения.

Это было загадкой.

Загадкой, потому что возражать было чистой бессмыслицей. Улики окружали его со всех сторон. Он был скован ими, как железной цепью. И все-таки он возражал. «Я не виновен», — говорил он.

Предстоял увлекательный поединок, потому что обвинение было мощно оснащено, а Брауде связан позицией своего подзащитного: поскольку тот вину отрицал, адвокат не мог ее самовольно признать — он не обвинитель и не судья.

Значит, в безнадежной, безвыходной ситуации ему предстояло отыскать хоть какой-нибудь выход. Тот, которого не было. Причем не формальный, не мнимый, а убедительный. Так должен был в подобном случае поступить любой адвокат. Тем более — Брауде: его имя, его репутация, его тщеславие, если хотите, исключали возможность выглядеть жалким.

Марию Васильевну Лазареву бросил муж — человек, которого она любила, к которому привязалась за четверть века супружеской жизни и в верности которого ни разу не имела повода усомниться. А он ушел — к той, с которой, как оказалось, втайне встречался уже не один год.

Лазарева остро переживала и сокрушивший ее обман, и внезапно пришедшее к ней одиночество. Она разменяла уже «полтинник», иллюзий никаких не питала, хорошо сознавая, что начать все сначала уже не удастся. Вся ее жизнь была целиком посвящена человеку, который ее предал, — только теперь вдруг обнаружилось то, чего она раньше не замечала: рядом нет ни родных, ни друзей.

Знакомым и сослуживцам сказала, что — овдовела. Не в том смысле, что — обманула, ввела в заблуждение. Нет, про то, что струсилось с ней на самом деле, все знали и так. «Он для меня умер», — говорила Лазарева про сбежавшего мужа — это давало ей право, полагала она, именоваться вдовой. Когда боль притупилась, когда жизнь опять стала брать свое, она, знакомясь и коротко представляясь, о себе говорила: «вдова». Иногда добавляла: «веселая». Оперетку Легара «Веселая вдова» как раз поставили тогда в театре, она шла с огромным успехом — немудреный намек разгадывался всеми и без труда.

Цель, какую она поставила перед собой, была самой банальной. Вполне житейской и объяснимой. Найти человека, который тоже страдает! Нуждается в помощи. Одиночку, которому нужен домашний очаг. Уют и тепло. Мужчина ли, женщина — значения не имело. Лишь было бы с кем развеять тоску и наполнить каким-то смыслом свою жизнь.

Так появился в большой коммунальной квартире новый жилец, которому Лазарева сдала за бесценок крохотный угол: продавленный узкий диван да две полки в общем комод.

Это был здоровый, богатырского телосложения бездельник с холеным, упитанным лицом, лживыми глазами и дергающимся мясистым носом. Трудно представить себе человека, который вызывал бы сострадания и жалости так мало, как Стулов. В лучшем случае он мог оставить людей равнодушными. У большинства вызывал отвращение. У некоторых — страх. У кого-то — насмешку. Но сострадание? Жалость? Поистине загадочен путь от бессердечия одного к сердцу другого...

Позже Лазарева писала в Киев племяннице, единственной родственнице и самому близкому человеку, которому могла рассказать все:

«Дорогая Сонюшка, открою тебе свой секрет, ты одна поймешь меня правильно. Представь себе, я вышла замуж. Конечно, без всяких этих формальностей: во-первых, в моем возрасте смешно надевать подвенечное платье, а во-вторых, мы ведь еще так и не разведены с Алексеем. Да разве дело в формальности? Лишь бы человек был хороший...

Тебя, конечно, интересует, кто мой новый муж. Симпатичный, я бы даже сказала, красивый мужчина. По специальности механик, но сейчас пока не работает, не может подыскать для себя ничего подходящего. Один минус: он на десять лет моложе меня. Но я себя уговариваю, что это не имеет большого значения. А как думаешь ты? Может быть, я ошибаюсь?

Зовут моего мужа Василий Максимович. Ты даже не представляешь, какой он заботливый. На днях, например, подарил мне мои любимые духи, хотя у него денег своих совсем в обрез. Помогает убирать комнату и даже иногда, смешно сказать, готовит обед. Я подсмеиваюсь над ним и советую пойти в шеф-повары или в домработницы. А он не отвечает, молчит. Мне нравится, что он молчит. По-моему, настоящий мужчина должен быть молчаливым... И пьет совсем мало. Это в наше-то время! Следит за собой, ничего лишнего не позволяет. Друзей у него, как у меня, нет никаких. Вот такие мы бобыли, нашли друг друга...

Пожалуйста, никому из знакомых ничего не рассказывай. Я пока ни одному человеку не сказала, что вышла замуж, тебе первой. Для всех Василий считается моим жильцом. Чего стесняюсь, сама не знаю, но ты меня, Сонюшка, конечно, поймешь...

Хоть и труднее мне сейчас, потому что приходится одной зарабатывать на двоих, но в то же время и легче — все-таки появился друг...»

Было одиннадцать часов вечера, когда в коридоре коммунальной квартиры, где жила Лазарева, раздались тяжелые мужские шаги, и взволнованный голос Стулова произнес:

— Людмила, помогите!

В квартире уже спали. Но на зов о помощи откликнулись сразу. Соседка Лазаревой Людмила Матвеева и ее муж выскочили в коридор. Вскоре там собрались и другие жильцы.

Дверь в комнату Лазаревой была открыта. Слабо освещенная из глубины комнаты настольной лампой, Лазарева сидела на полу спиной к двери. Тянувшиеся от ее шеи кверху шнуры были перекинуты через крюк, на котором крепилась люстра...

С криком «повесилась!» Людмила Матвеева побежала на улицу, другие жильцы, ошеломленные неожиданностью, стояли поодаль, все еще не веря в то, что произошло. Один только Стулов проявил свойственные настоящему мужчине хладнокровие и выдержку. Он быстро отыскал пассатижи, ловко перекусил ими тянувшиеся от шеи Лазаревой шнуры и, бережно положив их на пол, начал делать искусственное дыхание.

Усилия его были тщетны. Лазарева была мертва.

Тем временем Людмила Матвеева искала на улице представителя власти: поблизости был постоянный милицейский пост, кто-то дежурил всегда, и вот надо же — как раз тогда, когда он нужен, дежурного почему-то не оказалось.

И однако же ей повезло. Минуты через две она случайно увидела неспешно идущего по тротуару человека с погонами лейтенанта милиции. Он не стал ждать никаких разъяснений, не заставил себя уговаривать, хотя шел после службы домой. И вообще, как принято у нас выражаться, был «не по этой части»: в милиции он считался грозой спекулянтов, мошенников и воров, а «мокрыми» делами занимался кто-то другой.

Они примчались с Людмилой в квартиру минут на пятнадцать раньше, чем прибыл вызванный жильцами по телефону милицейский наряд. Лейтенант первым из должностных лиц увидел печальную эту картину. И первым — странное дело! — набрал наконец «ноль три». Странное — ибо вызвать врача в случаях, похожих на этот, вроде бы важнее всего. Вроде бы о помощи следует думать, и лишь потом — обо всем остальном.

«Скорая помощь» признала то, что было ясно и без нее. Лейтенант же на следующее утро подал начальству положенный рапорт: о том, чему он нежданно-негаданно накануне стал очевидцем. «...Принял меры к отправке в морг покончившей жизнь самоубийством гр-ки Лазаревой» — так определил он свои действия, дав тем самым первую официальную оценку того, что случилось. Она не расходилась с заключением, которое тем же утром дал дежурный судебный медик: «Смерть гр-ки

Лазаревой от удушения... наступила... скорее всего, в результате... самоубийства».

На том и порешили. Труп Лазаревой был кремирован, комнату заселили новые жильцы, а тощая папка с надписью: «Материал о самоубийстве гр-ки Лазаревой М.В.» осталась пылиться в архивном шкафу.

Дело закончилось, не начавшись.

Нет, оно не закончилось.

Прошло несколько месяцев. В прокуратуру явилась женщина, приехавшая из Киева. Это была племянница Лазаревой — та самая, которой Лазарева поверяла свои тайны. Она не верила в миф о самоубийстве. У нее были серьезные основания сомневаться в этом, и свои сомнения она не хотела держать при себе.

Когда умирает одинокий человек, нотариус производит опись всего оставшегося имущества. Если в течение определенного срока объявятся наследники, это имущество выдадут им. Если нет, оно пойдет в доход государства.

В описи имущества Лазаревой, среди разного прочего, нотариус записал: «...19. Пальто демисезонное, ношеное, серое, с пятнами бурого цвета, похожими на кровь, и со следами пыли на спине...»

Тогда на это никто внимания не обратил. Но племяннице, для которой каждая деталь полна глубокого смысла и которая пытается разгадать тайну внезапной смерти своей тети, эта короткая запись показалась весьма подозрительной.

«...У моей тети, Лазаревой Марии Васильевны, было только одно демисезонное пальто, в котором она каждый день ходила на работу. Пальто она шила при мне позапрошлым летом, когда я у нее гостила во время отпуска. Не знаю точно, в каком ателье, — она ходила на примерки без меня, — но точно знаю, что в ателье и что портным была очень довольна... Мы с ней вместе обсуждали фасон и покупали пуговицы, потому что такие, какие были в ателье, ей не нравились...»

Хочу отметить, что тетя была очень аккуратная женщина, просто исключительно чистоplotная, она следила за собой даже в самые трудные для себя дни, когда многие перестают на все обращать внимание, опускаются, а она никогда этого не

позволяла, любой, кто ее хоть немного знал, может подтвердить... А в последнее время она, наоборот, вообще была на подъеме, очень старалась помолодеть, просила меня прислать рецепты, чтобы похудеть, и фасоны модной одежды для женщины средних лет... Это совершенно уму непостижимо, чтобы она вышла из дому в перепачканном кровью пальто...

Поэтому, спрашивается, если в день смерти тети, то есть когда она вышла утром и в течение дня, на пальто еще не было пятен, то откуда они появились? И когда? Может быть, по дороге домой? Каким образом? И почему она не приняла меры, чтобы их вычистить? Ведь на следующее утро ей было бы не в чем выйти на работу...»

Племянница не отвечает на эти вопросы. Она только их задает. Это ее право. Она самая близкая родственница покойной, она желает знать истину. Она не строит догадок, а только делится своими сомнениями.

Правда, на последний ее вопрос ответить легче всего — без всяких проверок: зачем же ей чистить пальто, если она решила покончить с собой и, стало быть, ходить на работу уже больше не собиралась? Но зато на все остальные вопросы с кондачка не ответишь. Раз есть сомнения, надо их исключить. Как говорится, внести ясность.

И вот следователь Маевский берется развеять их, эти сомнения. Задача, вроде, несложная: установить, каким образом запачкалось это пальто, и, послав в Киев ответ, заняться другими делами.

Но первые же дни приносят отнюдь не ответ, а новую кучу вопросов.

Выясняется, что бурые пятна, похожие на кровь, были не только на пальто, но и на петле из электрического шнура, которую сняли с шеи Лазаревой.

Выясняется, что такие же пятна соседи видели в тот самый вечер на полу возле двери.

Выясняется, что ковровая дорожка, всегда лежавшая на полу, от двери к кровати, в тот вечер отсутствовала, а затем и вообще исчезла.

Выясняется, что эксперт обнаружил следы ударов тупым предметом на затылке и висках трупа, но не придал этому зна-

чения, почему-то решив, что это посмертные следы, следы от ударов трупа о пол.

Словом, выясняется, что папке с надписью «Материал о самоубийстве гр-ки Лазаревой М. В.» рано еще пылиться в архивном шкафу и что, оставив в стороне все прочие дела, надо распутывать этот клубок загадок.

Но за что уцепиться, чтобы размотать его? Нет трупа — он кремирован. Нет вещей — они распроданы, розданы, пропали. Нет даже комнаты — она отремонтирована, переоборудована и заново обставлена другими хозяевами. Время стерло в памяти свидетелей многие драгоценные подробности. Убийца — если только Лазарева была убита — наверняка постарался замести следы и подготовить противоулики.

Предстоял мучительный поиск. Долгий — и без больших шансов на успех.

Итак, Лазарева повесилась? Шнур — мы это помним — был прикреплен к крюку от люстры. Если Лазарева самоубийца, то кто его мог прикрепить? Только она сама. Высота потолка в комнате Лазаревой достигает трех с половиной метров. Что, стало быть, надо узнать? Рост Лазаревой и высоту мебели, с помощью которой она могла дотянуться до потолка.

Узнать рост — дело одной минуты: в протоколе такие данные есть. Но как измерить стол и стулья — ведь они исчезли?

Их надо найти — без этого любой вывод следователя будет легко уязвим.

Почти непостижимо: находят стол! Находят стулья. Находят всю мебель. Всю — до единого предмета! Соседи и знакомые подтверждают: да, это та самая мебель, которая стояла в комнате Лазаревой в день ее смерти. Измеряют высоту каждого предмета с точностью до сантиметра.

Но даже этого мало!

Когда человек старается дотянуться до высоко расположенного предмета, он поднимает над головой руки и тем самым как бы увеличивает свой рост. При одинаковом росте длиннорукий достанет более отдаленный предмет, чем тот, у кого руки короче. Поэтому для точности выводов не хватает еще одной цифры. Нужно знать длину рук Лазаревой. А в протоколе о длине рук нет ничего.

Правда, есть ее пальто и кофточки — эту часть немудреного наследства взяла себе племянница. Но все они давнего производства — поношенные, многократно стиранные, утратившие свою первозданность. И длина рукавов у них разная. Плюс-минус три сантиметра. А то и четыре. Чепуха? Как сказать: нужна точность, точность и снова точность.

Отступить лишь потому, что не хватает совсем пустяковой детали? Зачем отступать: племянница дала уже путеводную нить. Ведь Лазарева шила пальто в ателье, а там, как известно, снимают мерку.

Нужна ли вообще эта мерка, снятая для пальто, если есть в натуре оно само? Измерить длину рукава — и готово!

Как бы не так... Длина рукава и длина руки — далеко не одно и то же. Тем более рукава от пальто: одни любят, чтобы он доходил до середины ладони, другие предпочитают короче. Кто скажет теперь, что именно любила Мария Васильевна? Ее племянница? Сослуживцы? Где гарантия, что их наблюдения будут точны?

Но — с другой стороны... Если женщина молодилась, шила себе туалеты, если ей был по душе и по вкусу портной, пошивший пальто, — может быть, она заказала ему и что-то еще? Ему или его коллегам, работавшим там же. Платье, допустим. Блузку, кофточку или куртку. Вряд ли, конечно... Ну а все же... Ведь длина рукава платья, кофточки или блузки, измеренная профессионалом с точностью до полусантиметра, даст возможность безошибочно узнать о самой руке: манжет обычно кончается на запястье. О длине ладони и пальцев скажут перчатки: они сохранились. Останется приплюсовать.

Находка? Нет, неудача. В Москве десятки ателье (готовая — модная и удобная — одежда была тогда величайшей редкостью, шили ее обычно на заказ), и в каждом — тысячи клиентов, и архивы с ворохом устаревших квитанций интереса для вечности не представляют: их вскорости уничтожат.

Представьте себе, этот фанатик Маевский находит то ателье, где Лазарева шила пальто. Часами роется в папках — компьютеров тогда не было даже в воображении писателей-фантастов! И находит заказ на платье, которое она получила минувшей зимой.

Платье исчезло, а квитанция есть! И значит — есть искомая цифра! Можно встать на стол и увидеть, как высоко могла дотянуться эта загадочная самоубийца. Ведь твердо установлено, что под люстрой, когда обнаружили труп, стоял на обычном месте круглый обеденный стол. Значит, Лазарева, чтобы закрепить узел на крюке от люстры, взбиралась на этот стол: добраться до потолка иначе было нельзя.

Находят женщину, рост и длина рук которой в точности соответствуют лазаревским, просят ее взобраться на стол, подняться на цыпочки и вытянуть руки вверх.

Не получается. Не достает эта женщина — двойник Лазаревой — до крюка. Тогда на стол ставят стул, и женщина не без труда карабкается на это громоздкое сооружение.

Все равно не получается. Только подпрыгнув, она может кончиками пальцев дотронуться до крюка, но завязать на нем узел совершенно не в состоянии.

Хорошо: этой женщине не удается. А вдруг Лазарева была более расторопной? Вдруг она умела лучше прыгать? Вдруг ее ловкость и сноровка позволяли ей вязать узлы на лету? Надо проверить.

Проверяют. Не получается.

Вес Лазаревой превышал сто килограммов. Она не любила и не умела прыгать. Даже после самой непродолжительной ходьбы ее мучила одышка. Соседи рассказывают, что, вешая постиранное белье, она не могла встать даже на низенькую скамейку: закидывала его на веревку, потом расправляла палкой — это тоже давалось ей с огромным трудом.

Убедительно? Кажется, да.

Впрочем, мало ли какие были у нее привычки! Ведь то были привычки женщины, старавшейся себя не утомить, не повредить своему здоровью — женщины, думающей о жизни. А если она решила с жизнью порвать, придет ли ей в голову мысль об усталости, об одышке?

Допустим невероятное. Допустим, что Лазарева, прыгая на стуле, сумела завязать узел на крюке или, завязав его заранее, просто забросила на крюк, затем сунула голову в петлю и с петлей на шее бросилась вниз. Тогда стул должен остаться на столе. Или хотя бы упасть.

Всех соседей поочередно снова вызывают в прокуратуру. Каждый в отдельности подтверждает, что в тот трагический вечер все стулья стояли вокруг стола на своих обычных местах. Что рядом со столом упавшего стула не было. Что скатерть, покрывавшая стол, не была сдвинута. И что, наконец, в центре стола, как обычно, стояли стеклянная пепельница и ваза с живыми цветами.

Значит, на стул Лазарева не становилась. Значит, на стол она не становилась тоже. Значит, остается признать, что забраться под потолок Лазарева не могла.

Но одной этой улики мало. Сама по себе она еще ни о чем не говорит. Кроме того, бывают случайности. Бывают непредвиденные возможности — настолько простые, настолько элементарные, что даже обсуждать их кажется абсурдом.

Вообще всякое бывает.

Еще ничего не решено.

Поиски продолжаются...

За какую ниточку тянуть дальше? От чего отталкиваться? Прежде всего надо восстановить, вплоть до мельчайших деталей, тот вид, какой имела комната, когда Стулов позвал соседей на помощь.

Опять вызывают соседей. Они многое позабыли. Один припоминает какую-либо деталь, другой ее опровергает. Кому верить? Никому. Сомнительную улику нельзя брать на вооружение — это незаконно.

Есть, однако, улики, которые подтверждают все. И как раз они-то самые важные.

Все подтверждают, что Лазарева с петлей на шее полусидела на полу, занимая все пространство между шкафом и столом. Но — любопытная подробность: комната была освещена лишь настольной лампой, стоявшей на тумбочке в самом дальнем углу. Пройти к настольной лампе, чтобы ее включить, и не задеть при этом труп Лазаревой было попросту невозможно.

Кто же зажег эту лампу? И почему не горела большая люстра, выключатель которой у самой двери? Зажечь ее проще всего. Каждый, входя в неосвещенную комнату, сначала тянется к выключателю, а не пробирается в темноте через всю комнату к

настойной лампе. Впрочем, возможно, ее успела зажечь сама Лазарева? Но, судя по выводу экспертизы о времени смерти, она наступила засветло: в середине мая темнеет поздно.

Задать эти вопросы надо бы Стулову, но Маевский не хочет спешить. Для каких-либо выводов доказательств пока маловато. Есть сомнения — их все больше и больше. Но сомнения еще не улики.

Стулов далеко: работает завхозом в какой-то научной экспедиции. Пусть работает, время вступить с ним в прямой поединок еще не настало. Объяснения, которые дал он в милиции по горячим следам, говорят вместо него. Мало что говорят, и однако...

«На ваше предложение дать информацию о том, как я провел день... могу сообщить нижеследующее.

Весь день я, Стулов Василий Максимович, провел дома. Занимался починкой платяного шкафа, который ни разу не был в ремонте и пришел в ветхое состояние. Я так увлекся этой работой, что не заметил, как прошел день. Почти ничего не ел, только остатки вчерашнего супа с макаронами.

Лазарева вернулась с работы, принесла продукты для приготовления пищи и пирожки, она знала, что я люблю пирожки. Я не стал дожидаться, когда она сготовит ужин, съел пирожки, перебрался с ней несколькими словами, сейчас не помню, какими, и пошел в ванную мыться, так как вспотел и запачкался после работы со шкафом в течение целого дня.

По просьбе Лазаревой, уходя, я запер дверь комнаты на ключ, так как она не хотела, чтобы кто-то заходил и ее беспокоил. Она была очень усталой. Она попросила: «Запри меня, я никого не хочу видеть».

Помывшись, я постирал в ванной майку и, не заходя в комнату, вышел из дому, чтобы немного развлечься, так как я устал, целый день работая со шкафом, и имел намерение расслабиться и отдохнуть.

Сначала я зашел к знакомому по имени Автандил, проживает по адресу Бульварная улица, дом 9, квартира 27, мы немного посидели, выпили по стакану вина, после чего я пошел в Дом культуры смотреть фильм «Нахлебник».

Из Дома культуры я вернулся домой, так как устал и хотел спать, хотя Автандил звал зайти снова после кино. Я открыл ключом дверь комнаты и удивился, что темно, поскольку Лазарева обычно дожидалась моего прихода, не засыпала, да и было еще не очень поздно. И уходить куда-либо она не собиралась.

Я повернул выключатель, он находится слева от двери, и, к моему удивлению, увидел Лазареву. Она сидела на полу с петлей на шее...»

Но в комнате, когда сбежались поднятые криком Стулова соседи, горела не люстра, а настольная лампа — такую деталь забыть невозможно.

Значит, Стулов, не зажигая люстры, почему-то прошел в темноте к настольной лампе, споткнувшись о труп. Или каким-то образом его «обогнул», зная, какое препятствие встретится на его пути? Или сначала зажег люстру, а затем ее выключил?

Неужели не странно?

И зачем, уходя в ванную, запирать Лазареву на ключ?

Зачем тут же стирать майку, которая, кстати сказать, непонятным образом куда-то запропастилась?

Зачем сразу уходить из дома, даже не зайдя в комнату?

Есть много «почему» и «зачем», но все они тоже не улики. Сомнения, не больше. А этого мало. Нельзя даже предьявить обвинение. Прокурор не даст санкцию на арест. В деле есть тому подтверждение. На подготовленном Маевским проекте постановления о взятии Стулова под стражу — резолюция прокурора: «В санкции отказать».

Вызывают сослуживцев Лазаревой. Это продавцы и сотрудники одного из самых популярных в Москве цветочных магазинов. Милые, симпатичные люди. Они очень любили Лазареву. Они поражены ее гибелью. Они искренне хотят помочь следствию найти убийцу. Да, убийцу: они уверены, что Лазарева убита.

У них есть факты? К сожалению, нет. Но зато нет и сомнений. Они убеждены: следствие факты добудет и подтвердит то, что для них очевидно.

Пора Маевскому теперь пройти по следам Лазаревой в последний день ее жизни. Восстановить за минутой минуту, проверяя на прочность ту версию, что уже с несомненностью сложилась в его голове.

В девять утра Лазарева пришла на работу. В отличнейшем настроении. Много шутила, напевала песенку из последнего кинофильма, которая была тогда у всех на устах. В обеденный перерыв гуляла по бульвару, строила планы на лето. Была в синем шелковом платье, красивых бежевых туфлях. И в пальто? Да, в пальто: день был ветреный, сумрачный, собирался дождь. Конечно, в совершенно чистом пальто: Лазарева была на редкость чистоплотна, всегда следила за собой. В шесть вечера ушла с работы, пообещав одному сослуживцу принести на следующий день книгу.

А через два, от силы три, часа Лазаревой не стало...

Опять вызывают соседей. Им до смерти эти вызовы надоели, но они не ропщут: видят, с каким старанием работает следствие, и тоже очень хотят ему помочь. Соседи припоминают: Стулов весь день был дома, мастерил что-то в комнате, стучал молотком — в этой части их показания не расходятся с тем, что показывал сам Стулов.

Но — вот подробность, о которой он умолчал: еще днем зажег газовую колонку и согрел воду в ванной, а мыться, однако, не стал. Ничего, для него опасного, эта подробность, казалось, не содержала. Почему же он ее скрыл? Про суп с макаронами, не имевший к делу ни с какой стороны ни малейшего отношения, сообщил, а про воду, приготовленную заранее, предпочел позабыть.

Лазарева пришла домой около восьми вечера — это заметила одна из соседок, встретившая ее у подъезда: соседка спешила в кино, на сеанс, начинавшийся в половине девятого. Стулов был в это время дома. Потом он ушел — это заметили другие соседи. Помнят и время: что-то около девяти.

После спешившей в кино соседки Лазареву уже никто не видел живой. Кроме Стулова, конечно. А в одиннадцать вечера все видели ее труп.

Значит, Лазарева погибла между восемью и одиннадцатью. Когда она пришла домой, в комнате был только Стулов. Затем

он ушел, замкнув комнату на ключ. От комнаты имелось лишь два ключа: второй нашли в дамской сумочке, лежавшей на подоконнике.

Значит, никто посторонний в комнату не входил.

Значит, или Лазарева действительно повесилась, или ее убил Стулов.

Стулов — и никто другой.

Пусть так: Лазарева повесилась. Для этого она взобралась на стол, оттуда — на стул, завязала петлю, бросилась вниз. Но ближайшие соседи не слышали за стеной никакого шума. Впрочем, и это бывает, если, например, в квартире толстые стены и хорошая звукоизоляция.

Проверяют: звук от падения тяжелого предмета, громко сказанное слово — все это в другой комнате хорошо слышно. Даже скрип половицы...

Устанавливают: в день гибели Лазаревой в Доме культуры действительно собирались показывать фильм «Нахлебник», о чем было загодя повешено объявление. Однако сеанс не состоялся: зал срочно потребовался для собрания комсомольского актива.

Получают заключение биологической экспертизы. Она подтверждает: бурые пятна на пальто — это пятна крови, и кровь эта относится ко второй группе.

Разыскивают в архиве районной поликлиники давнишнюю историю болезни Лазаревой: ее кровь относится все к той же второй группе.

Находят еще одного свидетеля — мальчика из соседнего дома, который всегда смотрел у Лазаревой телевизионные передачи. Этот мальчик получил разрешение прийти в тот вечер «на телевизор» при условии, если утром успешно сдаст первый экзамен. Отлично ответив на экзамене, мальчик безуспешно весь вечер звонил тете Марусе по ее личному, а не общему телефону — на звонки никто не ответил. Однако соседи, живущие за стеной и безотлучно находившиеся в тот вечер дома, телефонных звонков не слышали.

Вызывают жильцов, занимающих теперь комнату Лазаревой. Они хорошо помнят, что в день переезда обратили внимание на оборванный шнур телефонного аппарата.

Вызывают монтера телефонного узла, который этот факт подтверждает.

Вызывают сотрудников отдела обслуживания телефонного узла, они сообщают, что им дважды звонил какой-то, упорно не желавший назваться, мужчина и, сообщая о смерти Лазаревой, просил в ее комнате снять аппарат.

Что тут скажешь? Улика сильнейшая! Соседи знали, что Лазарева возвратилась домой. Услышав звонки, на которые никто не отвечает, они могли бы слишком рано заподозрить неладное. Поэтому Стулов решил шнур оборвать. Впоследствии он, естественно, эту улику хотел уничтожить. Но аппарат снят не был: он прогадал.

Наступил момент, когда следствию нужен сам Стулов. Что-бы вести с ним бой, уже собрано достаточно доказательств. Остальные он, вольно или невольно, даст сам.

Стулова вызывают в Москву. Самодовольный, уверенный в себе человек усаживается в кресло. Он совершенно спокоен: в распоряжении следствия нет и не может быть прямых улик, главные косвенные он уничтожил, время на его стороне. Он внимательно слушает и неохотно отвечает. Недаром Лазарева называла его немногословным. И сейчас он тоже остается верен себе. Бойтся сболтнуть что-нибудь лишнее...

Прокурор дает, наконец, санкцию на его арест. Молодого юриста можно поздравить с победой. Но сам победитель еще не считает себя победителем. Конечно, бой с преступником — по крайней мере на первом этапе — он выиграл. Но он выиграл его по очкам. А ему хочется нокаута. Чистой победы. Ему хочется не оставить защите ни одной щелочки, ни одной лазейки. Ему хочется найти такую улику, которая одна стоила бы всех остальных.

И он находит ее. Он наносит последний удар, венчающий успех.

Давно замечено, что у моряков, пожарных, ткачей, рыбаков есть свои особые способы вязания узлов и петель. Даже связывая порвавшийся шнурок на ботинке или упаковывая сверток, моряк, пожарный или ткач сделают это каждый по-своему: независимо от их воли узел будет всегда профессиональным. Ру-

ки механически подчиняются автоматике, уже закрепленному навыку, стойкому стереотипу. Его может вытеснить лишь другой стереотип — после долгой и мучительной специальной тренировки.

Из биографии Стулова известно, что в молодости он долгое время служил матросом, плавал на торговых судах, работал в порту такелажником.

В прокуратуре, в кабинете следователя Маевского, в большом бумажном пакете, запечатанном пятью сургучными печатями, ждет своего часа петля из электрического шнура. Та самая петля, которую сняли с шеи Лазаревой. Единственное вещественное доказательство, которое пока еще не полностью пущено в дело. Пора!

Маевский, конечно, давно уже убежден, что Стулов — убийца. Если окажется, что узел на петле из электрического шнура является профессиональным, матросским, нужно ли доказательство вернее?

А если нет? Если окажется, что это самый обычный узел, без сложностей и украшений? Узел, похожий на миллионы других. Никак не выражающий самобытности автора. Что тогда? Ведь это не только лишит обвинение еще одной улики, но серьезно подорвет ценность всех остальных. И не только не укрепит избранную следствием версию, а породит новые сомнения.

Делать нечего — придется рискнуть. Это не только вопрос совести и профессиональной этики, но и прямого расчета: любой промашкой воспользуется защита, зачем подыгрывать ей?

Приглашают старейших, заслуженных моряков, износивших не одну тельняшку за годы своей службы на флоте, — теперь они не просто моряки, а эксперты. В присутствии понятых вскрывается запечатанный пакет, и, вооружившись лупами, эксперты приступают к изучению узла.

Их ответ категоричен: это профессиональный матросский узел, называется он «простой штык», широко распространен среди матросов Черноморья. Но есть одна заковыка: от классической формы «простого штыка» подопытный узел имеет небольшое отличие, весьма пустяшное искажение, которое, по мнению экспертов, не следует принимать в расчет.

Не следует? Как кому: для крепости узла при разгрузке пароходного трюма это, может быть, все равно. Но следствию «небольшие» и «пустяшные» искажения далеко не безразличны: каждая деталь полна значения, каждая мелочь говорит о многом. Уличает. Или, напротив, спасает.

Неугомонный Маевский идет к Стулову в тюрьму. Он понимает, что перед ним не дурак! Что тот яростно сражается за свою жизнь. Скрывать от него свой замысел совершенно бессмысленно. Он и не скрывает: или — или.

Или Стулов действительно убийца, и тогда годами укоренившаяся привычка выдаст его.

Или все улики — не больше, чем нагромождение случайностей, трагическая цепь следственных ошибок, чрезмерного увлечения одной-единственной версией, и тогда Стулов поможет эту цепь разорвать. Теперь его судьба в его же руках. Не метафорически, а буквально.

— Свяжите-ка, Стулов, несколько узлов, — говорит ему Маевский, протягивая захваченную с собой прочную капроновую тесьму.

— Ловите? — деловито осведомляется Стулов.

— Ловлю, — честно признается Маевский. — Постарайтесь связать как-нибудь по-другому, ведь вам ничего не стоит?

И отходит к окну.

За его спиной молча трудится Стулов. Он старается. Очень старается. Обострившийся слух следователя улавливает позади тяжелое прерывистое дыхание, угадывает паузы для размышлений, чувствует, как дрожат и покрываются потом его большие огрубелые руки. По тому, как долго работает над тесьмой бывший моряк, можно понять, каких усилий стоит ему побороть самого себя. Маевский никуда не торопится. Не подгоняет. Терпеливо ждет, уже понимая, что развязка близка.

— Готово! — говорит наконец Стулов. — Целых три узла. Сличайте, пожалуйста.

Сличают.

Придирчиво и внимательно сличают три экспериментальных узла с узлом на петле из электрического шнура. Абсолютное тождество! Тот же «простой штык»! И всюду — с одним и тем же искажением!

От себя самого никуда не спрячешься, даже если очень стараться.

Сомнений и вопросов у следствия больше нет. Свое слово оно сказало и дополнить его ничем не могло.

Теперь очередь — за судом.

Все, о чем написано выше, я прочитал в материалах дела. Мне осталось лишь выстроить хронологический ряд, реконструировать ход мыслей Маевского и перевести казенную протокольную запись в живую речь. Додумывать ничего не пришлось.

По совести говоря, оспорить то, что Маевский собрал, было вряд ли возможно. Даже такому магу, как Брауде. Он не скрывал своего восхищения работой следователя, забыв (истинный профессионал!), что тот победил адвоката еще до того, как ему придется вступить в поединок.

«Только слепец не замечает искусство противника», — оборвал он меня, когда я хотел слегка остудить его непомерный восторг. Впрочем, я и сам был увлечен несколько не меньше. Но эта увлеченность, притом справедливая, не оставляла нам возможности рассчитывать на успех: по большому счету, адвокату в предстоящем процессе было попросту нечего делать.

Мы явились к Стулову рано утром. В тюрьму, где он провел уже месяца три, вряд ли всерьез предаваясь иллюзиям: ведь со всем следственным производством его уже ознакомили, и он лично мог убедиться, сколь солидно оснащена позиция обвинения.

Он вошел в комнату, где мы его ждали, заспанный и сердитый.

— Я не виновен, — сказал он еще с порога. — Не виновен, так и знайте.

Потом мы сели за стол, разложили все наши выписки из дела и снова прошлись по уликам — большим и малым, серьезным и не совсем.

И когда Брауде, изрядно устав от этой мучительной читки, тоскливо выдохнул: «Безнадега», — Стулов спросил:

— А зачем мне было ее убивать?

Он задал вопрос, который и у нас вертелся на языке. Точный ответ на него — сам по себе доказательство. Просто так никто не убивает. Во всяком случае тот, кто в здравом уме и

твердой памяти. «Cui prodest?» (Кому выгодно?) — первое, чем озадачивали себя древнеримские юристы, приступая к раскрытию преступления. Кому это выгодно, тот, наверное, и преступник. Кто достиг или хотел таким путем чего-то достичь, тот, скорее всего, и виновен.

Правило старое, но не устаревшее. Даже советский закон — он тоже! — требовал уяснить мотив преступления: нет мотива — нет и важного звена в цепи улик. Строго говоря, нет и самого преступления: юридическая квалификация убийства зависит от его мотива. Из корысти — одно. Из мести — другое. Из ревности — третье. В драке, в обороне от напавших преступников — и далее, как говорится, везде... С неизменным уточнением: убил — ПОЧЕМУ? Никакого убийства «вообще», «просто так», «невесть зачем и ради чего» законом не было предусмотрено. Не предусмотрено и сейчас. Потому, вероятно, что такового попросту не бывает.

Итак, cui prodest? Кому же было выгодно — желательно? необходимо? — убить Лазареву?

Ответ неясен. Зато совершенно ясно, что если уж кому было невыгодно ее убивать, так это Стулову. Ему — прежде всего.

Он тотчас лишился жилья, притом дармового. Как временного жильца, не имевшего никакого права на площадь, его немедленно из квартиры изгнали и комнату Лазаревой опечатали.

Он тотчас лишился средств к существованию: лентяй, которого Лазарева полностью содержала, он вынужден был поступить на весьма скромно оплачиваемую работу, да притом еще далеко от Москвы.

Не существовало никакой другой женщины, ради которой он мог бы пойти на убийство. Впрочем, если бы и была, убийство не имело ни малейшего смысла: Лазареву и Стулова формально не связывало ничто.

Не было и корысти. Все вещи, кроме ковровой дорожки, оказались на месте. Все деньги Лазарева хранила в сберкассе, завещав к тому же свой вклад киевской племяннице. Да и отношения с Лазаревой сложились так, что получить деньги у живой ему было гораздо легче, чем у мертвой. И не надо было бы за это платить столь дорогую цену.

Зачем же Стулов убил Лазареву? Зачем он оглушил ее, закинул на шею петлю и подтянул к потолку ее безжизненное тело? Зачем была ему нужна эта заранее обреченная на провал затея, эта дьявольская игра, в которой проигрыш обеспечен, а выигрыш невозможен? Чего он достиг, этот хитрый, жестокий человек, подрубивший сук, на котором сидел? Погубивший не только Лазареву, но и себя самого?

Всю ночь мы сидим с Брауде в его заваленной книгами и папками квартире и спорим, спорим, спорим... Он вышагивает по комнате из угла в угол, размахивая левой рукой, и одну за другой выдвигает разные версии, а я их опровергаю. Не забрался ли убийца через окно — ведь квартира на цокольном этаже? Не замешаны ли соседи? Не напутал ли Маевский в своих расчетах? Потом мы меняемся местами, и все мои доводы он разбивает коротким и энергичным словом «чепуха». Иногда добавляя: «на постном масле».

Вдруг его прорывает:

— Надо же так проколоться! Сделать столько бездарных накладок!.. Про кино — не проверил. Скатерть с места не сдвинул. Стулья не опрокинул. Лампу зажег не ту. Оглушил, не дав сбросить пальто: разве тучная самоубийца полезет при полном параде на стол? Ей и без пальто туда не забраться... Приняв ванну, в комнату не вернулся — струсил, наверно. Видно, очень уж ему не терпелось. Просчитать все в деталях времени не было — иначе обдумал бы лучше и не оставил бы столько следов. Но — почему, почему?! Давай пройдемся еще раз.

Отчего не пройтись, что же, пройдемся, хотя уже ясно, что толку от новой «прогулки» не будет. Она заняла еще не один час. Все — впустую! И когда даже самые несуразные версии продуманы, изучены и отвергнуты, остается только одно: действительно, Стулов преступник. Только он, и никто другой.

Я спешу сказать это вслух и жду, что Брауде меня оборвет, бросит свое обычное: «Из тебя защитник, как из меня балерина». Но вопреки моим ожиданиям он задумчиво говорит:

— Похоже, что так.

Он не верит в «нет» своего подзащитного. Но он должен его защищать.

И он защищает. Он рассказывает суду о нашем ночном споре — рассказывает правдиво, искренне, задушевно. Словно он не в суде, а в кругу друзей, внимающих ему за бутылкой вина. Он делится своими сомнениями. Он недоумевает. Он говорит, что бессмысленные преступления бывают только в плохих детективных романах. Он утверждает, что никто не станет хладнокровно и обдуманно убивать человека себе во вред. Он просит суд при вынесении приговора учесть этот важный довод. Он требует продолжения следствия: пусть блистательный товарищ Маевский, мастерством которого он искренне восхищен, восполнит зияющий пробел в так талантливо им проведенном поиске.

Вечером мы возвращаемся. Снова — к нему, хотя лучше бы разойтись и соснуть: завтра опять на процесс — предстоит последнее слово Стулова. И приговор. Моросит занудный и мерзкий дождичек. Сырость забирается за воротник. Но, похоже, только я замечаю это. Брауде хлюпает по лужам, не разбирая дороги, расстегнув пальто нараспашку и не раскрывая зонта. Он возбужден, его мысли все еще там — в зале суда.

— Чего молчишь? — оглушает он вдруг неожиданным вопросом.

Я действительно молчу, но вовсе не потому, что боюсь вспугнуть мысли дорогого патрона. Меня мучает чувство незавершенности. Вопросительный знак — там, где должна стоять точка.

Да, неясностей много, но адвокат не судья. Все, что неясно, — на пользу его подзащитному. Вопросы, на которые все еще нет ответа, — недопустимая брешь обвинения. И значит, хлеб для защиты. Так чего же миндальничать? Надо требовать, а не просить! Так прямо бы и сказать: любой обвинительный приговор будет не просто ошибочен — незаконен. Разве не так?!

— Молодец! — спокойно реагирует Брауде на мой патетический монолог. — Теперь я вижу, что пятерку ты схлопотал не по благу. Давай, продолжай...

Я, конечно, не продолжаю: разве мне по зубам сразить его убийственный юмор?

— Судьи поняли, что вы Стулова не защищали. Просто исполняли формальный долг. Вас выдала интонация.

Никакого юмора больше нет. Улыбка исчезла. Он не зол, но серьезен.

— Пятерку тебе поставили зря: ты путаешь юриста с актером. Я обязан защищать — и я защищаю. Как могу. На всю железку. А играть роль враля, который делает вид, будто верит в то, во что не верит... Приходилось делать и это. Не по своей воле. По своей — не хочу.

Десять лет лишения свободы — таков приговор по делу Стулова, одному из последних дел, над которыми мы работали вместе с Ильей Давидовичем.

Я часто вспоминаю две тяжеленные папки, хранящие следы виртуозного искусства молодого следователя, который, кстати сказать, долго в прокуратуре не удержался, потому что был слишком талантлив, — вспоминаю нашу беседу в тюрьме, и ночной спор, и всю обстановку этого процесса, и прогулку под дождем — после него. Столь странных и увлекательных дел в моей практике было не так уж много. И если бы кто-то спросил, не кажется ли мне, что суд допустил здесь ошибку, я ответил бы не колеблясь: нет, не кажется. Но зачем Стулов убил Лазареву, понять так и не смог.

И вот спустя несколько лет довелось снова услышать знакомую фамилию. В коридоре московского городского суда спросила меня какая-то женщина:

— Не знаете, где здесь судят Стулова?

Стулова?! Неужели нашелся еще один преступник с такой редкой фамилией, по странной прихоти судьбы попавший чуть ли не в тот же зал, где судили того?

Только это был не однофамилец. Это был он сам, мой старый знакомый — загадочный Василий Максимович Стулов.

Он сильно сдал: ни наглой уверенности, ни сытого довольства не было в его отяжелевшем и смятом лице. Только беспкойно бегали налитые кровью глаза и так же, как встарь, нервически дергался его мясистый нос.

Стулов встретился со мной взглядом и, видимо, узнав, сразу же отвернулся.

Я простоял несколько минут в переполненном зале, хотя смысл происшедшего был мне ясен с первых же слов, которые я услышал.

Нет, он не совершил нового преступления. Его судили за старое, за очень давнее — настолько давнее, что, казалось бы, пора о нем давно позабыть.

Но о нем не забыли. Пятнадцать лет искали фашистского полиция, на совести которого была не одна жизнь. Этот поиск — тоже достойный сюжет для рассказа, но к тому делу я никакого касательства не имел, всех деталей не знаю. Да и дел таких в сороковые-пятидесятые годы было немало. От других, на нее похожих, история Стулова существенно отличалась одним. Обычно такие преступники находили способ сменить фамилию и под ней затеряться. Тут же все было наоборот: настоящая фамилия дважды преступника была действительно Стулов, а палачествовал он совсем под другой, уже тогда допуская, как видно, что придется скрываться и — рано ли, поздно ли — держать ответ.

Конечно, он знал, что за ним идут по пятам. Полагал, что в Москве его вряд ли станут искать: беглецы от правосудия предпочитают устроиться в глухомани и на этом горят — как раз в глухомани-то их и находят. Вряд ли не понимал, что может сорваться. Но долго — и к тому же искусно, как видим — ему удалось запутать следы.

И все-таки он сорвался. Неосторожно вырвавшееся слово заставило Лазареву вздрогнуть. Она ничего толком не поняла, но ей стало ясно, что Стулов скрывает страшную тайну.

Он безошибочно прочел ее мысли. И решил, что Лазаревой не жить...

Хорошо помню: и Маевский, и Брауде предполагали и это. Как сейчас вижу: заваленная бумагами комната, ночничок, тускло горящий в углу. Брауде стоит у окна, вытирает слезящиеся от усталости глаза и ворчит с обычной своей хрипотцой:

— Может, он ее со страха убрал? Может, она прознала о нем что-нибудь? Как ты думаешь?

Мне совершенно не хочется думать, я устал и чертовски хочу спать.

— Не может быть, — вяло говорю я, чтобы сказать хоть что-нибудь.

— Не может быть... — передразнивает Брауде. — Тоже мне Спиноза.

То, о чем смутно догадывались и следователь, и адвокат, подтвердилось. Тогда это были предположения, их нечем было обосновать. Теперь же другие люди, с неменьшим упорством распутавшие клубок другого преступления, доказали правоту талантливых своих коллег, отыскав последнее звено в железной цепи улик.

Загадки больше не было.

СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ

Забыл имя героини, но хорошо помню ее необычную фамилию: Таланкина-Крылова. Сухощавая, угловатая, с выпиравшими из-под туго натянутого платья ключицами дама лет пятидесяти, издали похожая на переростка, которому тесно в детских одеждах. Длинная коса через плечо и нечто похожее на гимназический передник еще больше подчеркивали ее «детскость». При близком рассмотрении, однако, все опрокидывалось навзничь: миловидное лицо представало зловещей маской из-за плохо подтянутых складок и кустарно заштуркаренных морщин, а стройный торс — обтянутым кожей скелетом. Симпатичный подросток моментально превращался в Бабу-Ягу.

У нее не было никакой определенной профессии, разве что такая: перманентно чья-то жена. Число ее браков — юридических и фактических (браков — не связей) — подбиралось чуть ли не к двум десяткам. Попутно она баловалась участием сначала в кордебалете каких-то третьестепенных трупп, потом в различных театральных и киномассовках, что давало ей основание именоваться актрисой.

И действительно — вызванная на процесс свидетелем, по ее просьбе, популярнейшая в те годы эстрадная певица Клавдия Ивановна Шульженко называла знакомую ей Таланкину «артисткой, которой не повезло», и отмечала ее «отзывчивость, скромность, даже девичью застенчивость». Пожалуй, в каком-то смысле та и была артисткой, хоть и не очень застенчивой, —

это видно из того, как сыграла она свою коронную роль, приведшую ее на скамью подсудимых.

«Жарким летним днем», как написали бы в каком-нибудь сентиментальном романе, ехала наша Таланкина на электричке, направляясь вроде бы на подмосковное кладбище, где была похоронена ее единственная, очень рано умершая дочь Злата. И в том же, битком набитом вагоне ехал морской офицер, красавец двадцати четырех лет, имея совсем иную — не печальную, а счастливую цель: на даче, в лесу возле озера, его ждал известный в стране адмирал, под чьим началом он несколько лет служил. Юная дочь адмирала была его невестой, а недели через две должна была стать и женой.

Никто не знает в точности, что именно произошло в те полчаса, которые капитан-лейтенант Виктор и актриса (пусть так!) Таланкина провели, очень тесно общаясь друг с другом, на «борту» электрички. Итогом явилось то, что вместо обеда у адмирала он оказался на детской могиле, где оставил записку, воткнув ее в холмик (коряво нацарапанная и полуистлевшая, она тоже попала потом в судебное дело): «Дорогая Златочка! Клянусь тебе всегда любить твою замечательную мать и быть ей верным до гроба. Виктор.»

Тем же вечером он приступил к исполнению этой клятвы, о чем в дневнике, который исправно вела Таланкина, была сделана подробная запись. Впоследствии дневник тоже приобщили к судебному делу в качестве вещественного доказательства. На правах помощника адвоката, защищавшего Таланкину, я имел возможность с ним ознакомиться. Это было первое, прочитанное мною, откровенно эротическое сочинение с довольно искусно выписанными натуралистическими подробностями — они свидетельствовали как минимум об одном: в порыве безумной страсти авторесса ни на минуту не теряла контроля над собой и дотошно фиксировала в памяти всю феерию их любви. У дневника был эпиграф — из Игоря Северянина: «Для изысканной женщины ночь — всегда новобрачная...» Тоже, между прочим, любопытный штришок: стихи Северянина — эмигранта и «декадента», кумира, как считалось, растленной буржуазии — давно уже не только не издавались, но и были изъяты почти из всех библиотек. Зато они

пребывали в личной коллекции артистки Таланкиной и усердно ею читались. Впоследствии я увидел один из растрепанных томиков приобщенным к судебному делу — он был весь ею исчеркан и снабжен пометками, выражавшими бурный восторг в определенных местах определенного содержания. К поэзии как таковой этот восторг отношения не имел. Двумя жирными чертами и четырьмя восклицательными знаками на полях была, к примеру, отмечена строчка из известного стихотворения «Это было у моря...». Строчка такая: «А потом отдавалась, отдавалась грозово». Поэт, как видно, распался ее воображение и придавал вполне заурядным порывам плоти какой-то особый, возвышенный смысл.

В деле (а может быть, в моей памяти?) не осталось никаких следов, которые помогли бы понять, как адмирал реагировал на внезапное исчезновение своего без пяти минут зятя. Где вообще служил капитан-лейтенант и хватился ли кто-нибудь, обнаружив его пропажу? Известно лишь, что ни родителей, ни просто близких людей в Москве у него не было, адмирал относился к нему как к сыну и готов был принять его в свою семью. Исчезновение зятя, который не состоялся, скорее всего воспринял как предательство, как подлость и вычеркнул его навсегда из своей головы. Впрочем, это не больше, чем домысел. Факт остается фактом: судя по всему, розыск офицера не велся.

Таланкина укрыла Виктора в какой-то развалюхе в Марьиной Роще — в отъединенной от соседней однокомнатной квартирке, практически без удобств, с наглухо задраенными окнами. Там они предавались любви, о чем она педантично делала ежедневные записи в своем дневнике. Уходя за продуктами, замыкала его на ключ.

Как коротал он долгие часы одиночества — при свете всегда горящего ночника? О чем думал, долгими неделями не видя солнца, которым в то лето наслаждалась Москва? Про это в дневнике Таланкиной нет ни единого слова. Зато есть много о том, какими, неведомыми ему дотоле, утехами забавляла она его, предварительно накормив калорийной едой. Много позже я понял: все ее экзотические приемы были заимствованы из «Кама-Сутры», тогда еще никому у нас не доступной. Никому, стало быть, кроме Таланкиной...

Через какое-то время его терпению пришел конец. Виктор потребовал воли — хотя бы для того, чтобы «немного подышать». Блистательный офицер таял на глазах. Уже не только ночами, но и днем его душил кашель. Ей показалось, что начинается туберкулез: она встревожилась не за него — за себя. Милостиво разрешила показаться врачам.

Это было, кстати, тогда совсем не так просто: у офицера не было московской прописки, даже в платных поликлиниках без документов не принимали. Но такого рода препятствия для Таланкиной не существовало. Как она преодолела их, я не знаю, да и для рассказа нашего эти подробности значения не имеют. Преодолела...

Следила исподтишка за его передвижением по городу и однажды обнаружила, что он заходит не только в поликлинику — еще в какой-то многоэтажный дом. Как и во всяком доме, там скорее всего проживали и молодые дамы. Ее фантазии хватило, чтобы додумать, кого бы он мог навещать и чем это может закончиться. К тому же его бурная страсть резко пошла на убыль: оба эти события она связала одно с другим. И приняла решение.

Впоследствии дотошный следователь, найдя при обыске читательский билет Таланкиной в главную государственную библиотеку, которую никто не называл иначе как «Ленинкой», и поразившись ее потребностью в знаниях (для чтения беллетристики никто в «Ленинку» не ходил), поработает там несколько дней — в отделе, где хранились листки с заказами на книги, и найдет то, что искал. О чем смутно догадывался — так будет точнее.

Круг интересов артистки в этот период оказался весьма специфичным: она углубилась в сочинения по фармацевтике, изучая все, что написано там о ядах. В двух местах на полях книг сохранились даже пометки: экспертиза установила, что они были сделаны ее рукой. К тому же (случается и такое!) именно эти книги, кроме нее, не заказывал многие годы вообще ни один читатель.

Легко догадаться о том, что было после. Труднее — о том, что было после этого «после». «Ты клятвопреступник! — восклицала она, когда Виктор, отравленный какой-то безумной

смесью, уже корчился в агонии, утратив способность даже кричать. — Ты обманул мою Златочку! Ты надругался над ее светлой памятью! Я имею теперь полное право тебя убить!» Никто не слышал этих слов — она сама записала их в своем дневнике. Записала и то, что случилось потом, когда, после адских мучений, Виктор уже погиб.

Она заранее готовилась и к этому. Самым обыкновенным топором Таланкина отрубила его голову и завела на патефоне предварительно купленную пластинку: танец Саломеи из оперы Рихарда Штрауса. Она исполняла его на каком-то просмотре при поступлении в балетную труппу. И была принята! С тех пор этот танец она считала — цитирую ее показания на следствии — своим «талисманом, который не только приносит счастье, но открывает все двери». Трудно понять, какие двери собиралась она открыть на этот раз. Но в том, что преступление ей удастся скрыть, — не сомневалась.

В ее руках был теперь не реквизит, не муляж — истинная голова истинной жертвы... Ночью она закопала ее под окном той развалюхи, где прошли их бурные дни и ночи. Обезглавленный труп вывезла за город, на какую-то свалку. И вскоре была арестована: как поиск привел именно к ней — это большого интереса не представляет. Могу лишь сказать, что сыщики — те, что занимались раскрытием уголовных преступлений, подлинных, а не мнимых, — были тогда в своем большинстве профессионалами высокой пробы, страх вполне реальных последствий повелевал им не расслабляться и все время показывать, что называется, товар лицом. Правда, и сами преступники были не столь искусными, как ныне, да и на подкуп, конечно, за ничтожнейшим исключением, рассчитывать не могли.

У Таланкиной не было никого, кто мог бы пригласить для нее адвоката. А он — по процедуре — ей полагался: в таких случаях его бесплатно предоставляла коллегия. Узнав про телефоннограмму из городского суда и — в общих чертах — о рассказанном выше сюжете, им загорелся самый знаменитый в те годы московский адвокат Илья Брауде, участник крупнейших судебных процессов, многие из которых не могли мино-

вать весьма и весьма селективную в таких случаях советскую прессу. Я много рассказываю о делах, проведенных с ним, оттого и представляю его заново в каждом рассказе.

Брауде потребовал, чтобы защита была поручена только ему. Все свои самые знаменитые дела он вел, так всегда получалось, совершенно бесплатно. Но они-то и приносили ему ту известность, которой неизменно — в куда более заурядных делах — сопутствуют деньги. Мне повезло: перед тем, как стать полноправным членом коллегии адвокатов, я проходил стажировку у Брауде и на этих правах был допущен к процессу.

Другого подобного процесса мне видеть не приходилось. Не столько по существу, сколько по атмосфере, царившей в зале. Председательствовала одна из старейшин советской юстиции, член Московского городского суда Чувилина, обвинял один из самых известных в то время прокуроров Николай Шанявский. Народу слетелось видимо-невидимо, за отсутствием мест многие расположились прямо на полу, на ступеньках, ведущих к судейскому столу, и даже просто рядом с Таланкиной — на скамье подсудимых, слишком просторной для этого дела, рассчитанной не на одного, а на нескольких обвиняемых. Непосвященный мог сразу и не разобрать, кто на этой скамье подсудимый, а кто просто зритель. Значительную часть этих зрителей составляли студенты медицинского института — их привела с собой профессор Фелинская, знаменитый в ту пору специалист по судебной психиатрии: она выступала в роли эксперта.

В своем гимназическом наряде, с косой через плечо, Таланкина чувствовала себя актрисой на сцене — кому-то томно улыбалась, кому-то посылала воздушные поцелуи. Я сидел рядом с Брауде, спиной к ней: оборачиваясь, видел ее — казалось, силком натянутую на череп — зловещую маску и запавшие голубые глаза с густо намазанными тушью ресницами.

В перерыве проникшиеся ко мне симпатией девочки-секретарши, хихикая, провели меня в какой-то подвальный чулан, где хранилось еще одно вещественное доказательство: оно фигурировало в материалах дела, но не выставлялось на показ в зале суда. Это был заспиртованный в банке пенис несчастного Виктора: до самого ареста Таланкиной он служил

главным украшением того закутка, где свершилось убийство и где она продолжала жить — весьма своеобразный дизайн в захламленном и мрачном логове.

На этом процессе Брауде чувствовал себя в своей стихии. Излюбленным методом его защиты были аргументированные ходатайства о признании подсудимого невменяемым. Он и диссертацию написал об этом — о том, как психическая болезнь освобождает совсем от ответственности или делает ее менее суровой.

Это много позже психушка стала пострашней и лагеря, и тюрьмы — в шестидесятые-восьмидесятые годы от карательной медицины старались избавиться все, кому ее навязывали спецслужбы. А в те, более ранние, времена психиатрическая клиника с полным к тому основанием считалась избавлением от куда большего зла. Гулаг, во всяком случае, не шел с ней ни в какое сравнение. Адвокат, которому удавалось так повернуть дело, чтобы его клиента поместили в психишку, считал себя победителем. И действительно был таковым.

В деле Таланкиной эта позиция напрашивалась сама собой. Но профессор Фелинская спутала все карты защиты. Очень яркая, эффектная, крупная, уверенная в своей неотразимости и своей компетентности, с несомненным ораторским даром, она убедительно — по крайней мере, на первый взгляд — доказывала, что в данном случае речь идет об имитации душевной болезни очень опасным для общества, предельно развращенным и извращенным во всех отношениях человеком.

Давая заключение, она обращалась не столько к суду, не столько к прокурору и адвокату, сколько к залу — к своим студентам, не сводившим с нее восхищенных глаз и покрывшим ее страстную речь бурными аплодисментами. В советском суде это было просто немыслимо! Нарочито бесстрастная Чувилина взвилась от возмущения. Особо восторженных пришлось выводить из зала. Увлечшись этим занятием, конвой на какое-то время оставил Таланкину одну, и она свободно обошла несколько приглянувшихся ей мужчин, обольстительно заглядывала в глаза, многозначительно и благодарно пожимала им руки. Потом ее возвратили на отведенное ей место — процесс продолжался.

Последовал еще один неожиданный поворот: получив слово для обвинительной речи, Шанявский произнес то, что никогда еще не звучало в зале суда и не было предусмотрено никаким законом. Он сказал, что не может позволить себе обвинять человека, которого он убежденно считает душевнобольным. Но и отказаться от обвинения при наличии экспертного заключения о вменяемости подсудимой не может тоже.

«Как поступить? — спрашивал он вслух и суд, и себя. Суд безмолствовал. Шанявский принял решение. — Мне не остается ничего другого, — сказал прокурор, — как отказаться от речи и от дальнейшего участия в процессе».

С этими словами, на глазах у обескураженных судей, Шанявский поднялся и, опираясь на палку (он сильно хромотал), проковылял к двери.

Вот тут-то и наступил для Брауде его звездный час. Оппонентом осталась одна Фелинская. Но в отличие от прокурора она — эксперт — не имела по закону права на ответную реплику. Единственное (оно же последнее) слово сохранялось за адвокатом. Он мог говорить все, что хотел, Фелинской довелось лишь молча слушать его и сардонически улыбаться.

Брауде ухватился за одно наиболее слабое место в речи Фелинской: она утверждала, что, подробно излагая в дневнике хрестоматийные симптомы своей мнимой душевной болезни, Таланкина, напротив, демонстрирует критическое к себе отношение, «взгляд со стороны», а это является признаком душевно здорового человека. «В том, что несведущим людям кажется свидетельством болезни, — восклицала Фелинская, — специалисты легко усматривают симуляцию». процитировав этот пассаж из ее выступления, Брауде впился в Фелинскую цепким взглядом и, хорошо зная, что ответить ему она все равно не сможет, стал шпынять ее риторическими вопросами.

— Значит, Достоевский не страдал эпилепсией? Он же детально воспроизвел все ее симптомы в «Идиоте». А у Мопассана не было раздвоенного сознания, не было мании преследования, он не страдал кошмаром галлюцинаций? Значит, он все это попросту симулировал, раз сумел написать «Орля» и с беспощадной точностью воспроизвести все призна-

ки своей болезни? Тогда, выходит, и у Есенина не было никакой белой горячки, если он точнее и лучше всякого психиатра воспроизвел ее симптомы в «Черном человеке»? Вы мне скажете: эвон, куда хватил! При чем тут Таланкина — рядом с Достоевским, Есениным и Мопассаном? Но у нас ведь не урок истории литературы, а — волей-неволей, нас вынудила к этому профессор Фелинская, — урок психиатрии. Для врача нет и не может быть писателей и балерин — есть только больные. И если больные имеют элементарный багаж знаний, если они еще не дошли до полного распада сознания, то они остаются способными описывать свои переживания. Одни — гениально, как это сделали названные мною классики. Другие — в меру своих ординарных способностей, как это сделала Таланкина. Ваша карта бита, профессор, как сказал один герой одной повести пера одного писателя.

Аплодировать было некому. Но (возможно, мне так показалось) непререкаемый авторитет Фелинской в глазах ее студентов чуть-чуть пошатнулся. Во всяком случае, Брауде заставил их о чем-то задуматься и подвергнуть критическому анализу то, что считалось бесспорным.

И только судьбу он не заставил задуматься ни о чем. На итог процесса блестящий его монолог (один из последних, кстати сказать, в его долголетней и очень успешной карьере) влияния не оказал.

Таланкину осудили на десять лет и отправили в какой-то уральский лагерь. Помнится, Брауде говорил мне, что получил от нее из лагеря одно сумбурное письмо, содержание которого осталось для меня не известным. Вскоре он умер — рухнул внезапно, едва перевалив семидесятилетний рубеж. На похоронах я увидел Чувилину — она принесла букет хризантем и, ни с кем не обмолвившись ни единым словом, ушла.

А еще через несколько месяцев к ней, в служебный ее кабинет, явилась Таланкина: все такая же Баба-Яга, но со здоровым румянцем на впалых щеках. Уральские эксперты признали ее душевнобольной, и, чтобы не затевать многосложный новый процесс, местная Фемида пошла по простейшему пути: тамошние судьи «сактировали» ее, то есть освободили от дальнейше-

го отбытия наказания по состоянию здоровья. Тогда это часто практиковалось «для разгрузки колоний»: эков все прибывало и прибывало, вместить их гулаговские резервации уже не могли, нужны были только здоровые, способные тянуть лямку рабского труда — даже в женских лагерях, а не только в мужских.


Счастливая Таланкина расцеловала Чувилину, долго благодарила за внимание к ней, уверяла, что в восторге от того, как прошел судебный процесс, кляла Фелинскую и всплакнула о Брауде. Она просила вернуть дорогие ее сердцу реликвии — дневник и заспиртованный пенис, — поскольку для правосудия они уже значения не имели.

Чувилина сразу же выразила готовность выполнить обе просьбы и, оставив ее в кабинете под присмотром своей секретарши, пошла за «вещдоками». На самом же деле — в соседнюю комнату, чтобы вызвать по телефону конвой. Взяла на себя смелость действовать незамедлительно, полагая, что уральский суд нарушил закон: ее приговор никем не отменен и, стало быть, оставаясь в силе, должен быть исполнен.

«Беглянку» вернули в лагерь — только в другой. Годы спустя, столкнувшись с Чувилиной в Мосгорсуде, я напомнил ей ту историю и спросил, каким было ее продолжение. Этого она не знала, зато объяснила, каким образом наша актриса оказалась временно на свободе. Она влюбила в себя и начальника лагеря, где отбывала наказание (по стыдливо-официальной советской терминологии — конечно, не лагеря, а «исправительно-трудового учреждения»), да еще и старшего по должности врача из медчасти. Несколько месяцев обучала их таинствам изощренной любви, о которых в своей глухомани те не имели ни малейшего представления.

Остальное было уже делом техники. Тем паче, что, поработавшие ее магнетизмом, два мужика воспылали ревностью друг к другу, но вовремя спохватились, трезво сообразив, что от этой колдуньи лучше избавиться как можно скорей. К тому же, плотно пройдя у нее курс обучения, каждый из них — без хлопот и угрозы тяжких последствий — мог найти себе и другие объекты для тех же утех.

Один ветеран адвокатуры рассказывал мне, что где-то в конце шестидесятых годов встретил редкую фамилию «Талан-



кина-Крылова» совсем в другом деле, где ее носительница выступала всего лишь свидетелем, но, судя по протоколу, доставлена была на процесс под конвоем. Срок наказания по делу, о котором я рассказал, к тому времени уже истек, — значит, она вляпалась снова, но в какое-то совершенно другое.

Удивляться не приходилось: речь шла о провинциальном подпольном вертепе, куда под разными предлогами завлекались малолетние обоего пола. Остаться в стороне от таких утех Таланкина, естественно, не могла. И ее шестьдесят, даже с хвостиком, лет не могли быть помехой: как вошла в роль гимназистки, так в ней и осталась.

В моей же судьбе она сыграла другую роль: как слышу — любую! — музыку Рихарда Штрауса, сразу возникает перед глазами ее зловещая маска. Маска Бабы-Яги. И поделать с этим я ничего не могу.

ПЕРВАЯ КОМАНДИРОВКА

Не помню уже, как попало ко мне дело Николая Кислякова. Кажется, один адвокат заболел, другой отказался. Была осень, дождь зарядил надолго, а ехать предстояло в крохотный городок, жить в доме приезжих, шлепать каждый день по грязи до суда и тюрьмы. И добро бы надежда была хоть какая — помочь, спасти! Тогда и с грязью смиришься, и с номером «люкс» о семь коек...

Может, и я бы нашел предлог уклониться, но простое любопытство заставило меня взять это дело. Никогда еще в таких кровавых процессах я не участвовал. Не помощником мастиных коллег — адвокатом: полноправным и полноценным. Надо же было когда-нибудь начинать!

И я взялся.

Взялся, хоть и понимал, что пользы от защиты не будет: непростительно жестоко свершенное преступление, и представить его иным не под силу вообще никому. Постепенно к этому привыкаешь, смиряешься с мыслью, что поможешь не каждому, и вины твоей в этом нет никакой. Ведь и врач вылечивает не всех — и под ножом хирурга умирают, и на больничной койке в окружении медицинских светил. Выходит, если мало надежд, то и лечить не стоит?

Кто-то сказал мне, что лет десять назад точно такое же дело вел московский адвокат Казначеев. И вроде бы даже с успехом. Вот я и решил ему позвонить, заручиться советом, прежде чем отправиться в путь.

С Сергеем Константиновичем Казначеевым мы почти не были знакомы. Впрочем, я-то его знал хорошо, а он меня вряд ли. И это немудрено: ведь я еще был новичок, а он — защитник с большим и, быть может, заслуженным именем. Адвокат-орденоносец: редкость в ту пору невероятная! Только — важное уточнение — орден дали ему не за профессиональные достижения, а за то, что в лад подыграл прокурору Вышинскому на последнем из трех Больших московских процессов. Так подыграл, что, защищая, топил своего подзащитного похлеще, чем обвинитель. Но в обычных уголовных делах он, кажется, был на высоте.

Результативность у адвоката в советское время была небольшой. Если честно сказать, то ничтожной. Приговор даже по самому заурядному уголовному делу чаще всего бывал предрешен, участие защиты фактически сводилось всего лишь к тому, чтобы процессу придать не слишком уж инквизиционный характер. На этом фоне успешный итог иных дел, которые вел Казначеев, казался из ряда вон выходящим. Таким он, конечно, и был.

За внешней сухостью его адвокатских речей ощущалась взволнованность неподдельная — убежденностью в своей правоте он заражал, случалось, даже твердокаменных судей. Еще большее впечатление производила железная логичность его построений, лишенных даже малейшей зауми: сколь бы сложной ни была материя, которой ему приходилось касаться, его речи, ходатайства, заявления воспринимались и судьями, и кивалами-заседателями настолько легко, что любой тугодум имел все основания считать себя семи пядей во лбу. И невольно с ним соглашался, сам, быть может, того не желая. Допросы свидетелей Казначеев вел уважительно, без любимых адвокатами подковырок, которые неизменно давали лишь обратный эффект. Так что, случалось, свидетели обвинения под его незаметным воздействием вдруг меняли свои показания, превращаясь на глазах изумленного прокурора в свидетелей защиты.

Даже подневольное участие в кровавом фарсе — процессе Бухарина и других, где Казначееву, как и двум другим его коллегам, пришлось быть не столько защитником, сколько вторым обвинителем, даже оно не подпортило его репутацию. Скорее наоборот. Все понимали: в больших верхах выбор пал

на него и на Коммодова с Брауде как раз потому, что и власти считались с их устоявшимся авторитетом. Роль декоративной ширмы могла быть поручена, естественно, адвокату с заслуженным именем, а не абы кому..

Позвонил Казначееву, назвался.

— Никак, — говорю, — не решу: братья ли мне за одно уголовное дело.

— Братся, — сказал Казначеев. — Обязательно братья!

— Вы, стало быть, знаете, о каком деле идет речь?

— Понятия не имею. Просто дел, за которые адвокату не следует братья, не существует.

Надо было сказать: «да, да, конечно», «ну, разумеется, само собой», потому что таких дел действительно не существует, и юристу, который не знает азбуки своей профессии, нечего делать в адвокатуре. Но что это за разговор, если только поддакивать?..

— Так ведь преступление-то ужасное.

— Тем более. — Казначеев заговорил со мной строго и даже, мне показалось, со все нарастающим раздражением. — Чем оно ужаснее, тем ваша роль важнее.

— И надежды нет никакой — все доказано, все...

— То есть как доказано? Кем? Когда? Ведь суд еще не состоялся. Как же можно говорить, что доказано хоть что-то? И почему это вы, именно вы, адвокат, уже вынесли приговор. Вы разве судья?

Я попробовал возразить, но он перебил меня, заговорил быстро и нервно:

— Наверно, убийство, не так ли?

— Да.

— Мечь? Корусть? Или из низменных побуждений?..

— Из очень низменных...

— Убита женщина?

— Ребенок...

— Кем?

— Отчимом.

— Убийца сознался?

— В том-то и дело! Полностью... Сначала отпирался, а потом сознался во всем.

— Вот видите: сначала не признавался.

— Что с того? Надеялся выкрутиться. А потом улики приперли, вот и сознался.

— Ну, это еще не факт! Мать ничего не знала?

— Напротив, была его соучастницей.

— Вот это да!.. Завидую вам: работка предстоит интересная...

Я напомнил: недавно ему попалась как раз такая работка, и он ее выполнил с честью. Но — нет: похожего дела у Казначеева не было, а если и было, то очень давно, и вовсе он не выиграл его — проиграл. Словом, точь-в-точь как в «том» анекдоте...

Мудрено ли?! Если оно было хоть чуть похоже на дело Николая Кислякова, то и правда — как его выиграть?

Тоне я так и сказал:

— Хорошо, я поеду. Но надежды нет никакой — имейте это в виду. Никакой, даже крошечной...

Ее лицо скривилось, она заплакала, заголосила, и это было так страшно, что в нашей консультации (так назывались тогда адвокатские конторы), притерпевшейся и к горю, и к слезам, поднялся переполох. Кое-как мы ее успокоили, она смолкла, но слезы все текли по смуглому, в рябинках и морщинах, лицу, постаревшему сразу на десять лет. Она и так-то была некрасива — скуластая, с приплюснутым носом, почти безбровая матрешка, в небрежно повязанном пестром платке. Тоненькая, стройная, она подчас казалась ребенком, которого сломила совсем недетская, не ко времени грянувшая беда.

Брату ее, Николаю, грозил расстрел...

Мы поехали вместе, в прокуренном вагоне, нетопленном и промозглом. Поезд был не то чтобы пригородный, но и не слишком дальний, людей набилось изрядно, хотя уже через час вагон стал пустеть. А мы с Тоней сидели в углу и, никого не замечая, вели свой разговор.

Она все повторяла: «Нет, нет, он ни в чем не виноват, никогда не поверю, что Колька убил», а я отвечал: «Вот суд поверит — и конец!»

Я был безжалостен. Тогда мне казалось, что нагую, суровую правду нужно говорить непременно в глаза. А Тоня плакала, не

стыдись людей, и твердила свое: «Неправда это, не верю, не верю...»

— Сколько ему? — спросил я.

— Двадцать два.

— А вам?

Тоня всхлипнула:

— Ровесники мы...

— Близнецы?

Она прикусила губу, запнулась. И снова заплакала.

— Не сестра я ему, а жена... Первая, понимаете? А Лизка — вторая. Ушел он к ней от меня. И вот — влип... А я постеснялась открыться, — вдруг скажете, что, мол, не мое теперь дело, чужая я, или — как бы это сказать — посторонняя...

Они жили неплохо, пока он не встретился с Лизой. А Лиза была городской знаменитостью — парикмахером мужского зала. Побриться у нее считал за честь даже председатель местного горкомхоза. Потому что Лиза слыла женщиной неслыханной красоты, и это было не так далеко от истины. Потом, когда я увидел ее — в суде, подурневшую, с запавшими глазами, перепачканную пунцовой помадой, еще резче подчеркивавшей неживую бледность одутловатого лица, — даже тогда я понял, что Тоне она не чета и что сох по ней, наверно, не один Кисляков.

Была она замужем за человеком солидным, в годах, инженером с зарплатой и положением. Он любил ее до беспамятства, сам обед готовил и мыл полы — сберегал ее красоту. Все ей завидовали, и она, смеясь, говорила, что тоже завидует себе самой.

Потом появился Кисляков, водитель автобуса, что ходит от завода до рынка, — и разом сломались обе семьи...

Инженер был гордым и сильным человеком: ушел, не сказав ни слова, уехал к матери в Подмоскowie, и никто не знал, как ему лихо, — а ему было очень лихо, потому что остался он не только без любимой, но еще и без сына.

Сыну шел четвертый год. Лиза сказала: «Генку не отдам — ему материнский уход нужен». И отец покорился. Да если бы и не покорился! Да если и стал бы судиться!... Ханжеская совет-

ская юстиция, ни с кем и ни с чем не считаясь, всегда была на стороне матери, лицемерно демонстрируя ничего ей не стоившим образом великую заботу о женщине. Гноила ее, как могла, но зато «защищала» от мужа...

Через несколько месяцев — телеграмма: «Ваш сын погиб. Приезжайте немедленно». И подпись: прокурор района.

Милицию вызвал сам Кисляков. Милицию и врача. «Скорее, сын умирает!» — крикнул он в телефонную трубку.

Сын не умирал — он уже умер. «Давно, — заметил доктор, — часа два назад».

Кисляков не спорил.

— Я вернулся домой, — рассказывал он, — слышу — тихо, никого вроде нет. А Генка один оставался, и дверь заперта, так что он убежать не мог. Я его на кухне нашел... Лежал лицом вниз, в крови, и не двигался. Но мне показалось — дышал. Я схватил его, перенес на кровать, стал искусственное дыхание делать, как в армии нас учили. Все впустую...

— А где мать ребенка? — спросили его.

Он спохватился:

— Верно, что ж это я?! Мать на работе, совсем забыл позвонить ей, растерялся... Надо Лизу вызвать. И отца...

— Какого отца? А вы кто же? — Следователь был не из местных, городских знаменитостей не знал.

— Я?.. Отец, да не совсем. Отчим...

Лиза прибежала, запыхавшись, в хрустяще-белом халате, кинулась к сыну, но кричала негромко, и слез почти не было, и озиралась испуганно, и повторяла зачем-то: «А что теперь будет?» Это не следователь заметил, не милиционер, не врач, а соседи, безмолвно стоявшие поодаль и подмечавшие, как водится в таких случаях, все до мельчайшей детали. Их наблюдения вошли потом в протокол. И стали уликой.

А отец, инженер Додонов Дмитрий Архипович, об этих деталях не знал. Но и не зная, был убежден: Кисляков убил, больше некому. Один? Едва ли... С женой!

Нет, не месть говорила в нем, не злоба. Генку Кисляков не любил и этого никогда не скрывал. Даже Лиза сказала как-то

Додонову, когда приезжал навещать сына:

— Коля советует парня тебе отдать. А я все равно не отдам. Не могу без него, понял?

Тогда ему казалось, что это и правда любовь говорит в ней, материнская любовь к сыну. Теперь он думал иначе: что бы значило это признание? Для чего оно? Может быть, для того, чтобы отвести от себя подозрения, если что-то случится? Выходит, знала, что может случиться. Или догадывалась хотя бы...

Он написал заявление, размножил его и отправил — не в один адрес, а в несколько. «Требую расстрелять взбесившихся извергов, убивших моего ребенка: родную мать и ее мужа» — так оно начиналась. Неземная любовь к бывшей жене обернулась жаждой ее гибели. В этом тоже не было никакой новизны — страсть наизнанку не раз описана в литературе, да и пословицы про один только шаг от любви до ненависти существуют на всех языках.

В прокуратуре и без того склонялись к этой же версии, потому что заключение эксперта почти исключало другую. На горле и шее ребенка эксперт нашел много царапин, по форме напоминающих серпик лунного месяца, — следы от ногтей... И — что еще важнее — такие повреждения в легких, которые всегда остаются, если горло сдавить руками.

Кому же еще, если не Кислякову, Гена мог встать поперек дороги? Кто мог неведомо как проникнуть в дом и убить ребенка, которому не было четырех лет? Да и зачем? Все вещи лежали нетронутыми, следов чужого присутствия не было никаких. На лице и голове много ушибов и ссадин — видно, мальчик пытался вырваться, борясь за свою жизнь.

И однако решительно ничего, что говорило бы о борьбе, ни в кухне, ни в комнатах найти не смогли, только стул с обломанной ножкой. Был он сломан давным-давно, это все подтвердили — знакомые и соседи. Даже Додонов, и он подтвердил. Зато на руках Кислякова были царапины, а костюм его, перепачканный кровью, говорил сам за себя.

Ну, а вдруг все так ловко подстроено, чтобы поиск убийцы направить по ложному следу? Если ребенка убили из мести? Сделали жертвой, чтобы свести с кем-то счеты? С матерью, например. Или с Кисляковым?

С матерью — чтобы лишить ее сына.

С Кисляковым — потому что подозрение, конечно же, пало бы на него. В первую очередь на него.

Следствие думало и об этом. И Додонова подозревало оно, и Тоню. Да, и Тоню...

Что поделаться? Для юриста нет людей заведомо честных. И заведомо нечестных нет тоже. Подозревают любого, к кому идет хоть какая-то нить. Лишь бы только подозрение само по себе не превратилось в улику. В улику без доказательств.

Так бывает.

Увы, так бывает.

В этом деле было не так.

Ничто не подтверждало версию, что к убийству причастна Тоня. А Додонов — это установили совершенно точно — в час, когда погиб его сын, был в Москве, в двухстах километрах отсюда, участвовал в совещании, которое проводил главк.

Стало быть, Кисляков. Больше некому. Что с того, что сначала он отпирался? Потом-то сознался. Рассказал, как все это было.

Ему не хотелось убивать Генку — ведь не изверг же он, как думает Додонов. Просто очень уж сильно похож был Гена на своего отца, так похож, что тот словно бы жил вместе с ними. Сколько же можно терпеть эту пытку? Да и вообще — зачем ему пасынок? Сына хотел он — родного, своего. Сотни раз говорил Лизе: «Отдай Генку отцу, так будет лучше для всех. А ты родишь другого...» Уперлась, и все! И вот — довела...

С нормальной логикой человеческих поступков эта схема вязалась не слишком. Даже, пожалуй, совсем не вязалась: в жизни одно, на бумаге другое. Но бумага терпит еще не такое!.. Убить ребенка, потому что тот похож на отца?! Сюжет для античной трагедии, но не для наших реалий. Впрочем, чем меньше выглядит правдой, тем ближе к истине. Этот кажущийся парадокс наглядней всего проявляет себя в суде. БЫВАЕТ то, чего по всем разумным понятиям НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ.

Так что все возможно. Даже то, что совсем невозможно. И все-таки есть вопрос, который пока не имеет ответа. Он остается, к какой бы версии мы ни склонились: почему Кисляков не ударил палец о палец, чтобы хоть как-то отвести подозрения от себя?

Может быть, в этом вопросе как раз есть та спасительная соломинка, за которую хватается утопающий? Может быть, он-то и даст защите хоть что-то похожее на позицию, которую не стыдно отстаивать? Значит, не такой уж он холодный, безжалостный циник, этот убийца, а жертва страстей, необузданных, сильных порывов, значит, не расчет руководил им в роковую минуту, а чувство, с которым не мог совладать. Значит, нет в его действиях заранее обдуманного намерения, тщательной подготовки, а есть внезапная реакция на какой-то конфликт, возникший между ним и ребенком.

Конечно, этого слишком мало для оправдания, даже если принять мою версию. Но все-таки можно просить о снисхождении. О замене одной статьи Уголовного кодекса, на другую — помягче. Иначе — язык не повернется...

С этой мыслью я и пришел к нему в тюрьму, чтобы поделиться планом защиты. Тоня показывала мне его фотографии, я хорошо их запомнил. Но человека, который сидел передо мной, было трудно узнать. Он зарос белесой щетиной, под глазами набухли синие мешки. Левое веко дергалось, а руки нервно ковырялись в дыре на прохудившейся куртке.

Он слушал долго, не перебивая, потом вдруг улыбнулся:

— А я, между прочим, не виноват. Вы там как хотите, а я Генку не убивал. Так в суде и скажу.

— Но ведь вы же признались?! — удивился я, вспомнив свой разговор с Казначеевым.

— Ну и что? Следователь сказал: «Признавайтесь, так лучше будет. Этим вы облегчите свою участь. Все равно все доказано, и вам не отвертеться». Я подумал и — признался. Оно и верно, факты против меня. Да и раз посадили, все равно засудят, разве не так? Пишите, говорю, — я убил. А потом подумал еще раз — времени-то у меня здесь хватает. Зачем, думаю, зря грех на душу брать? Если под расстрел попаду, буду хоть знать, что сам я к этому руки не приложил. А не расстреляют — так еще поборемся.

— Хорошо, пусть не вы, но кто же тогда убил Гену?

— Спросите о чем-нибудь полегче, — развел руками Кисляков.

Я сижу в квартире Кисляковых, опустевшей и неудобной, где хозяйничает мать Николая — она приехала издалека. А То-

ня, робея, приводит ко мне все новых и новых соседей в надежде, что эти беседы помогут хоть что-то понять.

Ключ от входной двери был один, его оставляли под ковриком на крыльце, и об этом знал чуть ли не весь дом. Когда взрослые уходили, они запирали Гену, чтобы не убежал на улицу, но войти в квартиру практически мог любой.

Не здесь ли таится разгадка? Если знать, когда взрослых нет дома, и найти ключ, можно спокойно зайти в квартиру. Это мог сделать человек, к семье достаточно близкий, — тот, кто часто бывает в доме. Потому хотя бы, что иначе привлек бы внимание соседей. Да и Гена, испугавшись чужого, мог поднять крик.

Конечно, это был (если был!) человек близкий, кровно чем-то задетый, чужой не стал бы убивать ребенка, разве что тот оказался невольным свидетелем тяжкого преступления. Но — какого? Чему мог быть свидетелем совсем еще малый ребенок в тот утренний час, когда мать ушла на работу, а отчим в пивную: он работал после обеда и спешил выпить пораньше, чтобы успел пройти хмель.

Но чья же, чья это месть, чья обида, обернувшаяся чудовищным зверством? Мы перебрали всех завсегдатаев этого дома, и, когда дошли до Клавдии, Тоня вдруг прикусила губу. Клавдия тоже была парикмахершей, работала вместе с Лизой, только в другую смену. Раньше она запросто бывала у Кисляковых — закадычная подруга, веселая, разбитная. А потом бывать перестала. Никто не знал — почему. Вроде старалась она отбить Кислякова, но тот посмеялся над ней, а Лиза прогнала. И Клавдия сказала, уходя: «Помни, даром тебе, Лизка, это не пройдет, наплачешься еще, и то — скоро».

— Ерунда! — обрезал Кисляков, когда я высказал ему свое предположение. — Не так все было. Просто она меня в кино позвала, а Лиза говорит: «Не стыдно тебе, Клавдия, при жене ему на шею вешаться?» Та посмеялась и ушла. Чтобы из-за этого дитя убивать?! Да вы что?!

И Тоня сказала, подумав:

— Нет, не может этого быть. Не такая она девчонка...

Это был не довод, конечно: «не такая». Но ссора — тоже еще не улика.

Наверно, все же это сам Кисляков. Некому больше. И незачем. Ведь и Лиза призналась, не он один. Хоть и не сразу, а все же призналась.

«Раз Николай открыл правду, то и мне ничего другого не остается, — написала она прокурору. — Вместе мы задумали это дело, а он исполнил. Боялась я, как бы он не бросил меня из-за сына. Больше ничего не скажу».

Верно, ничего не сказала. Есть несколько актов: «Отвечать на вопросы отказывается». Тоже, между прочим, понятно: молчать легче.

И снова — разговоры с соседями... Снова вспоминают они то страшное утро — за минутой минуту. Как ждали Лизу, и как она прибежала, и как себя вела.

— Странно, — говорит одна женщина. — Очень странно. Вошла, на Геночку даже не посмотрела — сразу на Николая. Долго смотрела, губы все шевелились. И ни разу не вскрикнула.

— Да, странно вела себя, — подтверждает другая, сухонькой ладошкой разрубая воздух. — Но никуда она не смотрела, а закрыла глаза руками, стала и стоит: «Колька, — кричит, — что же теперь будет?» Когда такое горе, на людях стараются быть, а она нас выпроваживает. Не наше, мол, дело...

— Это не она выпроваживала, а милиция, — вмешалась третья. — Лейтенант сказал: «Посторонних прошу удалиться». А Лизка еще спросила: «Я тоже посторонняя?» Родного сына убили, акт составляют, а она себя посторонней считает. Намекает, значит, что она тут ни при чем...

И я вспомнил наглядный урок, который дал нам в студенческие мои годы профессор Иван Николаевич Якимов, повторив по-своему известный эксперимент Анатолия Федоровича Кони. «Сейчас произойдет одно важное событие, — сказал он как-то на лекции. — Смотрите и запоминайте». «Важное событие» вошло в зал в образе тети Маши, нашей уборщицы, — она, как обычно, принесла профессору чай. Потом каждый из нас, не общаясь друг с другом, написал все, что он запомнил: как вошла, как была одета, что сделала сначала и что потом, и как встретил ее Якимов, и как проводил, сразу ли сделал глоток или чуть погодя, и который был час. Во всех сочинениях совпало только одно: тетя Маша принесла чай...

Если шла борьба, если ребенок вырывался и кричал, то должен же был хоть кто-нибудь слышать шум. Правда, силы были неравны: взрослый мужчина и ребенок, не достигший еще четырех лет. Но ссадин и синяков было так много, что без борьбы никак не обошлось. Откуда же иначе им взяться, ссадинам и синякам? Значит, ребенок какое-то время бился за жизнь, притом вряд ли — безмолвно. Неужели убийца не мог справиться со своей беспомощной жертвой как-то иначе, не подвергая себя слишком уж очевидному риску?

Я ушел к соседям, чтобы проверить, слышно ли там что-нибудь, если у Кисляковых шум. Все было слышно, хотя Тоня, по-моему, перестаралась: слишком уж яростно колотила она о стены и мебель, слишком натурально билась в кухне об пол — в том самом месте, где Гену нашли мертвым. Но, вернувшись, я застал ее не плачущей, а счастливой.

— Убедились? — торжествовала она. — Все слышно!

Да, все было слышно, однако само по себе это не говорило еще ни о чем: соседи могли слышать шум, но значения ему не придать.

В мой «отель», где я жил эти дни, она примчалась на следующее утро чуть свет. Я встретил ее упреком:

— Тоня, нельзя так... По городу уже слух пустили, что у вас с приезжим адвокатом роман.

— Знаю. Плевать! — отмахнулась она. — Вот, посмотрите...

Сорвав с себя платок, Тоня обнажила лицо и шею. Вся она была в ссадинах, в плохо запекшихся ранках.

— Что же это вы вчера с собою наделали?! — воскликнул я. — Отправляйтесь живо в больницу.

— Зачем? — усмехнулась она. — И так заживет. Присмотритесь-ка лучше к ранкам. Не узнаете?

Уже через десять минут мы были снова у Кисляковых. Ну да, конечно, вот он, трухлявый от времени, ржавый лист железа, прибитый к полу у печки. Его загнуты вверх рваные края похожи на кружево. Это о них вчера поранилась Тоня. Следы порезов напоминают серпики лунного месяца, совсем как на лице погибшего мальчика.

Лист прибит у печки, а слева от него водопроводная раковина...

— Узнайте, пожалуйста, у вашей подопечной, — говорю я местному адвокату, который защищает Лизу, — оставляла ли она Гене воды, когда из дома уходили взрослые? И уверена ли она по-прежнему в своей вине?

Через несколько часов — ответ: воды не оставляли, Гена сам взбирался на стул и пил из крана. А насчет вины?.. Когда узнала, что Кисляков от признания отказался, — заплакала навзрыд: «Как гора с плеч упала... Я никогда не верила, что он убил. Подозревала, но не верила. И на себя с отчаянья наговорила: сына нет, одного мужа бросила, другой — убийца, расстреляют его. Как мне жить теперь? И зачем? Вот и создалась в том, чего не было... А раз Николай ни при чем, я-то — тем более...»

Неожиданно заиграла одна фраза из судебно-медицинского акта, которая до сих пор казалась не имеющей отношения к делу: «в желудке Геннадия Додонова обнаружено значительное количество воды». Значит, перед самой гибелью он напился. А пил он из крана. Для этого надо было взобраться на стул. У стула была отломана ножка, но им продолжали пользоваться, слегка подклеив ножку столярным клеем. Другого стула в кухне не было вообще.

Ножка подломилась, и Гена упал. Обо что же он ударился? О косяк плиты? Такой удар мог быть смертельным. И верно, на правой части черепа обнаружен след от удара, но его сочли полученным после смерти, когда Кисляков перетаскивал труп. А если — до? И эти ранки — они ведь не только на шее, но и на лице — на щеке, на носу, даже на ухе. Разве так душат?.. А вот если ребенок упал на рваный металлический лист, происхождение ранок становится объяснимым: они все на одной стороне лица, а на другой их нет совсем.

Все верно, только где же тот стул, чтобы это проверить? Мать Кислякова успела его сжечь. Откуда ей знать, что сломанный стул может спасти ее сына? И осталось незыблемым заключение экспертизы о повреждениях в легких. Повреждениях, которые бывают, как сказано там, лишь если «смерть последовала от удушения».

Этот довод один стоит всех остальных, но опровергать его мы не можем — ведь мы не врачи. И назначить новую экспертизу мы тоже не вправе — теперь это дело суда. Только суда.

А суд не хочет ее назначать. Ему все ясно и так. Слишком много улик. И слишком они весомы. И ведь было же признание самих обвиняемых, от которого они отказались «под влиянием внепроцессуального давления». За этой витиеватой, глубокомысленной и малограмотной формулой скрывается нечто вполне очевидное: отказаться от признания своей вины, полагает суд, дал совет Кислякову его адвокат, то бишь я. А Лиза просто «пошла на поводу другого подсудимого» — так с очаровательной категоричностью и сказано в приговоре. Расстрельном — для Кислякова. Тюремном (десять лет!) — для Лизы.

Хотел было написать: сегодня и представить себе невозможно, что следователь, как инквизитор, вынуждает кого-либо признаваться в том, чего тот не совершал. Вынуждает грубо и нагло. Не обязательно пытками, не непременно побоями — «просто» угрозами и шантажом. Увы, представить очень даже возможно, хотя совсем недавно еще казалось, что эта кошмарная практика навеки осталась в советском прошлом. Не осталась. И все-таки тогда было страшнее. И безнадежней. Один на один со следователем, лишенный всякой связи с внешним миром, хорошо сознающий, что ему веры нет и не будет, а следователь всегда прав, даже когда он не прав, что любое заявление о том, как на него давили, будет названо клеветой на советское правосудие — вот в каком положении оказывался тогда, совсем в недавние времена, заподозренный и арестованный.

Адвоката он видел впервые лишь после того, как следствие объявлялось законченным и когда помешать шантажу было уже невозможно. Сейчас все-таки по-другому: «Ни на один вопрос не отвечу, пока рядом со мной не будет моего адвоката» — так вправе теперь заявить каждый задержанный, каждый, кого полагают причастным к совершению преступления. Отказать ему невозможно — таков закон! Значит, уже не скажешь с металлом в голосе: «Предалагаю признать свою вину, иначе вам будет хуже». Пусть только скажет такое в присутствии адвоката — еще неизвестно, кому тогда будет хуже...

Кислякова подводили под пулю не в наши дни — почти за полвека до них. Поэтому хуже могло быть только ему одному.

И — стало! В приговоре так и написано: «Суд не находит смягчающих вину обстоятельств, поскольку подсудимый вместо чистосердечного признания и раскаяния за содеянное пытался ввести суд в заблуждение, а также и опорочить следствие клеветническим заявлением о будто бы применявшихся к нему незаконных методах, в подтверждение чего он не привел никаких доказательств».

Все, чем грозил ему следователь, домогаясь единственно желанного, единственно приемлемого для него ответа на вопрос о своей вине, — все это сбылось. Получалось, что адвокат не помог Кислякову, а навредил.

Прошел не один месяц, и вот, наконец, Верховный суд отменил приговор, вернув дело в прокуратуру, чтобы провести новое следствие.

Это могло, наверно, случиться и раньше, если бы не Додонов: он писал, требовал, угрожал. Был он и у меня — симпатичный, скромный такой, с тихим голосом, придавленный горем, которое на него свалилось.

— Что это вы, — сказал он с укором, — о гуманизме рассуждаете, о совести, а выгораживаете убийц?

— Не убийц, а истину, — возразил я. — Не выгораживаю, а ищу. А что, по-вашему, должен делать защитник?

— Все слова, слова, слова... — Он грустно покачал головой. — Ну, хоть маленькое-то сомнение у вас есть? Хоть на минутку вы можете допустить, что эти звери — убийцы?

Я уже не мог допустить это даже и на минутку, но осторожность взяла верх.

— Сомнение остается всегда. — Я, кажется, тоже заговорил приевшимся юридическим сленгом. — Оно верный путь к отысканию истины.

— И ваша совесть будет чиста, если люди, в чьей невиновности вы убеждены не до конца, останутся на свободе?

— Ну, а ваша будет чиста, если люди, чья виновность не доказана абсолютно, окажутся за решеткой? А один из них даже расстрелян?

Кажется, он задумался. Неужели эта простейшая мысль к нему раньше не приходила?

— Но ведь должен же кто-то ответить за смерть моего мальчика!

В его голосе звучали слезы, их искренность сомнения не вызывала. Чем мог я его утешить? Как быть в трагической ситуации, где каждый по-своему прав?..

— За несчастный случай кто может ответить?

Новая экспертиза подтвердила наши догадки. Оказалось, те изменения в легких, о которых шла речь, бывают и при повреждении костей черепа и вещества мозга. Замкнулось последнее звено в цепи рассуждений, которые имели целью только одно: доказать, что вина Кисляковых не доказана и что, значит, осудить их нельзя.

Когда до их освобождения оставались считанные недели, пришла ко мне Тоня, которая за эти месяцы стала частым гостем у нас в консультации. Я смотрел на Тоню, и так мне стало обидно за то, что ее ждет!

— Слушайте, Тоня, — напрямую сказал я, сам удивляясь своей жестокости, — а ведь Николай к вам все равно не вернется.

Я боялся ранить ее, но хотелось расставить все на свои места, чтобы она не жила напрасной надеждой.

— Знаю, — спокойно сказала Тоня. — Это дело решенное. Окончательно. Да и что теперь говорить?! Выхожу замуж. Сыграем свадьбу и уедем. Насовсем. Жить рядом с Колькой не будем. И дружить домами не будем тоже.

— Счастливый путь, — сказал я. — Счастливый вам путь, коллега. Спасибо за помощь. Без вас я бы, наверно, не справился. Поступайте на юридический, такие, как вы, юстиции пригодятся. Поступайте, правда, я не смеюсь.

Я-то не смеялся, а вот она улыбнулась:

— Что вы! Куда уж теперь? Поздно! Буду растить детей.

Поразительным образом адвокатская судьба подарила мне еще один — чуть не сказал: похожий — сюжет. Но схожесть была не в сюжете, это станет ясно с первых же строк, а в расстановке фигур на шахматной доске. Действующие лица, не говоря уже об их отношениях друг с другом, чем-то напомнили мне тех, что стали героями рассказа «Первая командировка», и сначала, еще не разобравшись в событиях, завершившихся обвинительным приговором, я даже подумал, что в этой схожести есть нечто мистическое. Но мистического не было ничего, абсолютно, решительно ничего — даже в том случае, если бы то, что я принял за схожесть, оказалось не мнимым, а подлинным. Только люди, не понаслышке, а изнутри знакомые с тем, что когда-то, по-старомодному, называли судебными драмами, знают, насколько часто повторяются в совершенно разных, реальных, а не сочиненных, сюжетах какие-то фабульные линии. Думаю — оттого, что судебная драма всегда замешана на сильных чувствах, а чувства эти, при всей неповторимой их индивидуальности, по природе своей одни и те же. Одни и те же движут людьми и в критические минуты толкают их на фатальные поступки.

Впрочем, эти общие и весьма тривиальные рассуждения не имеют никакого отношения к той истории, о которой я сейчас расскажу. Они больше подошли бы для вводки к совсем другой и тоже по-своему уникальной истории, которая нашла свое место в этой же книге. И читатель поймет, какой. Но на-

писалось почему-то здесь. Раз написалось, пусть здесь и останется.

Встречу с Ниной Дочкиной нельзя было отложить ни на один день: приговор только что вынесен, для его обжалования оставались считанные дни, другим делам и встречам пришлось потесниться. И отказаться от встречи было нельзя: помочь медсестре просил ее пациент — мой добрый приятель, известный художник. Он обзавелся незадолго до этого развалюхой в окрестностях Звенигорода и проводил там безвыездно, рисуя и ваяя, почти целый год. После сильной травмы руки и ноги (не заметил в темноте бетонного барьерчика, споткнулся и грохнулся) она его просто вернула к жизни. Ладно — нога, но рука!.. Правая к тому же... Он не мог ею двигать — надо ли говорить, чем грозило это художнику?

— Назначили процедуры, какие-то ванночки, мази, — рассказывал он. — Нина выполняла в точности все предписания доктора, но не скрывала, что относится к ним скептически. Бралась снять проблему не предписанным мне массажем. За смешные какие-то деньги. Я сразу поверил ей. И ведь сняла! У нее руки невероятной силы. И легкости в то же время. Уже через месяц я вообще забыл о своих болячках. Помогите ей, пожалуйста, она очень хороший человек. Душевный, отзывчивый... Может еще пригодиться, хотя никаких травм, я, конечно, тебе не желаю.

Трудно было поверить в невероятную силу тех тонких и гибких рук с длинными пальцами, которыми она в адвокатском моем закутке перебирала лежавшие на коленях бумаги. Я так в них уставился, вдохновленный восторгами моего друга-художника, что получалось, как видно, будто я разглядываю ее колени. Смутилась она, смутился я, но это не испортило нашей беседы. Сложность была в другом.

— Понимаете, Нина, — сразу предупредил я, не дожидаясь, когда все документы лягут на мой стол, — у адвокатов есть правило, нигде не записанное, но непреложное. Корпоративная солидарность, как у врачей. Если вы почему-либо не довольны своим адвокатом и хотите его сменить, то выбранный вами сменщик, прежде чем дать согласие, должен

предупредить коллегу. Как бы заручиться и его согласием. Переманивать клиентов считается нарушением профессиональной этики.

— Считайте, — усмехнулась она, — что первого адвоката, которым почему-то я недовольна, вы уже предупредили и согласие его получили. — Поняла, естественно, что я ничего не понял. И сразу же уточнила, чтобы не играть в загадки. — Защитником брата на суде была я. Провалилась! И только тогда осознала, что нужен специалист. Поэтому я у вас.

Ничего подобного не только в моей адвокатской, но и вообще во всей нашей судебной практике, по-моему, не было. Закон разрешал уже родственникам подсудимых выступать их представителями в суде, но я ни разу не слышал, чтобы кто-то воспользовался таким правом. Представитель это не адвокат, его процессуальные права куда скромнее, но фактически он все равно играет во время процесса роль защитника. По идее — не вместо адвоката, а вместе с ним. Но Нина, как оказалось, хотела справиться в одиночку. И не преуспела.

Ее брат — не мнимый, как у Тони из «Первой командировки», а подлинный — был осужден на десять лет за убийство из хулиганских побуждений. Такой была формулировка обвинительного заключения, с которой его предали суду, такая же осталась и в приговоре. Не знаю, найдется ли хоть один человек, способный внятно объяснить, что такое хулиганские побуждения. Но Нина в туманные дебри юридической казуистики вообще не вторгалась и оспаривала вовсе не формулировку. Она просто была уверена, что произошла роковая ошибка и что к гибели Гошки Луганского, кумира звенигородских ребят, футболиста, шахматиста и вечного хохмача на вечерах самодеятельности в городском доме культуры, ее брат не причастен. Похоже, по крайней мере при первой прикидке, имела для этого какие-то основания.

Вот как все это было.

В конце декабря — как раз после метели, установилась мягкая, солнечная погода — приехали из Москвы на лыжную прогулку в подмосковный Звенигород несколько Гошкиных знакомых. Всем, как и ему, по семнадцать, по восемнадцать, и

все, как и он, учились уже на первом курсе разных институтов столицы. И Петя Дочкин, их сверстник, тоже учился в Москве и на выходные — последние выходные в году, перед началом первых в его жизни институтских экзаменов — приехал тоже. В отличие от Гошки он не был старожилом этого прелестного старинного городка, а появился здесь двумя годами раньше, прибыв из бесконечно далекой сибирской Читы.

В Чите жили родители и вообще вся семья. Первой откололась Нина — отправилась в Москву поступать в медицинский. Проходного балла не получила, но в отчаяние не пришла, потому что, покидая Читу, дала себе зарок: ни шагу назад! Сгодился и техникум, тем более медицинский, — закончила с одними пятерками. Окажись она врачом, могли бы заслать в другую дыру, ничуть не лучше читинской. Зато для медсестер проблем не было никаких: профессия дефицитная, все нарахват. Так и получила она направление в звенигородскую больницу, ту самую, где пользовал страждущих еще доктор Чехов. Сняла флигелек с отдельным входом в одном из крепких бревенчатых домиков, тоже, наверно, помнивших Чехова, и вызвала из Читы брата, которому пошел уже шестнадцатый год. Петя Дочкин рванул по вызову сразу — до того, как видно, ему обрыдла Чита. Родители не противились: Катя, тринадцати лет, и девятилетний Слава все равно оставались при них. И еще оставалась надежда: старшая дочь, так ловко устроившись, перетащит когда-нибудь всю семью тоже в Москву или в ближнее Подмосковье.

Петю приняли в здешнюю школу, хотя, как рассказывала мне Нина, пришлось изрядно помучиться: ясное дело — прописка!.. Но Нина помогала выхаживать двух тяжелых больных — мать и тещу начальника местной милиции. Так что ее мучения длились не так уж и долго и были не столь уж и тяжелыми. Большим прилежанием Петя не отличался, но и к двоечникам не относился. Получив аттестат, поступил — не то что сестра — с первого же захода в считавшийся «трудным» геолого-разведочный институт. И место получил в общежитии без всяких хлопот. Никаких общежитий, отрезала Нина, ведь там можно набраться вредных привычек. К «нынешней молодежи» она относилась враждебно, себя саму к ней не причисляя: ког-

да семнадцатилетний Петя поступил в институт, ей было уже двадцать три. «Старушка», не без кокетства уточнила она.

«Старушка» сняла в Москве брату Пете крохотную комнатушку поблизости от института. Воспитательная эта мера сильно ударила по бюджету, но на что не пойдешь ради любимого брата? Тогда и стала она подрабатывать, освоив массаж, который в моду еще не вошел. Притом не только лечебный, но и оздоровительный. По правде сказать, я как-то не отличал один от другого, и Нина — не сразу, потом, когда мы уже стали болтать и на отвлеченные темы, разъяснила: лечебный это медицинская процедура в связи с каким-либо заболеванием или чрезмерным напряжением мышц, как у спортсменов, к примеру, а оздоровительный, тот просто для поддержания формы, для хорошего настроения и возвращения сил. И еще для профилактики. Профилактики чего — не уточнила, да я и не спрашивал.

Петя отличался добрым нравом, трудолюбием и послушанием — так Нина отзывалась о нем, и в деле не нашлось ничего, что поставило бы под сомнение ее аттестацию. Брат всегда был под контролем. До такой степени под контролем, что время от времени, не довольствуясь его приездами в Звенигород на выходные, она сама отправлялась в Москву — вечерами, после работы — его навестить. И утром, чуть свет, тащилась обратно, чтобы поспеть к началу рабочего дня: обходы врачей проходили всегда спозаранок. Столь плотная опека мне показалась чрезмерной, но Нина все разъяснила:

— Опасный возраст... Легкая восприимчивость к дурному влиянию... Надо учитывать? Надо! Своя, отдельная комната — могут появиться девочки? Могут!

— Что же тут страшного? — усмехнулся я. — Ведь уже не ребенок.

— Ребенки как раз от этого и появляются, — грубовато сострила она, — а то вы не знаете нынешних девочек! Я же ему и как мать, должна следить даже за этим. Когда вызывала сюда, дала обязательство быть за ним надзирателем. Глаз не спускать... Мои старики по этой части ужас какие строгие, воспитаны в исконных сибирских нравах.

Вернемся все-таки к делу.

Две компании оказались в Звенигороде с одной и той же целью: покататься на лыжах и провести с приятностью последние в году выходные. Уик-энд, как теперь говорят во всем мире на нынешнем эсперанто. С Петей приехали два его сокурсника — те только на прогулку, вечерней электричкой им предстояло вернуться домой. С Гошкой тоже его сокурсники — им был обеспечен ночлег в просторном доме его родителей.

После прогулки и традиционного посещения жемчужин древнего городка — собора и монастыря (собор был действующим, а монастырь давным-давно превратился в дом отдыха, сначала имени Рыкова, потом кого-то еще) — все расположились невдалеке друг от друга на высоком берегу замерзшей реки, разожгли костры (у каждой компании свой), извлекли из рюкзаков привезенную закуску и приступили к отнюдь не буйному, отнюдь не обильному возлиянию.

И, как водится, началось потихоньку сближение — от нашего костра вашему костру. Водка из горлышка, кусок колбасы, снова водка... Сближение, братание и обмен всевозможными репликами, в которых не было — во всяком случае, так казалось — никакого реального содержания. Просто треп, балагурство, задиристые подначки на далекой от нормы лексике. Подначки, подогретые кайфом без тормозов и — не слишком обильной, скажу это снова, — дозой спиртного.

Невозможно было понять, что развязало драку. И кто ее развязал. Сначала в протоколах мелькал такой привычный мотивчик: «Звенигородские напали на приезжих московских», в других показаниях было точно наоборот: «Московские привязались к звенигородским». Но эта примитивная схема держалась недолго: в двух, сцепившихся между собою, компаниях и туземцы, и варяги отметились в равных пропорциях, поскольку к кострам, по мере того как те разгорались, подтянулись и местные: Гошкины почитатели и бывшие Петькины однокурсники. Бились всерьез, не понарошке.

Трудно понять, почему главной мишенью стал Гошка Луганский: удары, пока еще неизвестно чьи, обрушились в основном на него, и он сам дрался с особым азартом — он, а не друзья, которых зазвал из Москвы к себе в гости. Окончилась

драка плачевно: Луганский рухнул. Прибывшая довольно быстро милиция вызвала «скорую», которая могла бы и не спешить: на ее долю выпало лишь констатировать смерть.

Задержали, естественно, всех. Иных потом отпустили, правда, совсем ненадолго, — под подписку о невыезде. Иных, но не Петьку: все, как один, участники потасовки заявили на первом же допросе, что смертельный удар Луганскому нанес именно он. Правда, оба его приятеля — те, что приехали с ним покататься на лыжах, — были менее категоричны: «Вроде бы он, но как разобрать, дрались все». Следствие посчитало, что их показания подтверждают свидетельства «большинства», а уклончивость вместо твердости расценило как склонность хоть чем-то помочь загремевшему другу.

— Клевета! — отрезала Нина, когда мы стали обсуждать возможность обжаловать приговор. Она увидела, что материалы, ею принесенные, меня не вдохновили, и спешила непрекращаемой категоричностью развеять мои сомнения.

— Из кожи вылезли вон, чтобы спасти Федюкова. Это он убил Луганского. Наверно, сам того не желая, но все-таки он. Протоколы прочли? «Ударил парень в клетчатой куртке...» У Федюкова куртка в клетку, и он тоже носит такую же шапку, как Петя. И даже внешне на Петю похож. Но Петя — кто? Чужой! Петушок, как его здесь прозвали. С местными не ужился, близких друзей не приобрел. А Федюков свой, да и не просто свой — он приятель Луганского. Выпили, поругались, была «куча-мала», все сцепились в одном клубке, не разобрать, кто кого бьет. Если выбирать одного, то самым подходящим оказался Петя. И для ребят, и для тутошних прокуроров. А милицкий начальник, единственный мой знакомый, который мог бы помочь разобраться по-честному, перебрался работать в Смоленск, с повышением. Такая вот я невезучая...

«Выбирать одного» — в этом Нина как раз не ошиблась. Экспертиза установила, что упасть в ходе драки, стукнуться головой о землю и погибнуть от этого Луганский мог после любого удара. Да и любой бы мог — кто от этого застрахован? Но безусловно смертельным был удар по самой голове — тот, который приписан Дочкину. Все остальные удары смертельными

не были хотя бы уже потому, что после любого из них драка все еще продолжалась, и Гошка Луганский, как подтвердили свидетели, продолжал махать кулаками. Не в переносном — в буквальном смысле. Расквасил нос одному, подсек другого. А вот свое авторство на однозначно смертельный удар Дочкин напрочь отверг. И его представитель, то бишь сестра, естественно, тоже. Отвергли по причине, не показавшейся серьезной ни следствию, ни суду.

Любому опознанию того, кто заподозрен в совершении преступления, сопутствует вопрос, который следователь непременно задаст: почему опознан вами именно этот, а не кто-то другой? Так и на этот раз записано в протоколе: «Почему вы считаете, что удар по голове Луганского нанес Дочкин?» Те, кто и раньше знал Петю в лицо, ответили просто: видели своими глазами, ошибиться не могли, потому что хорошо с Петушком знакомы, даже учились вместе в одной школе. Те же, кто впервые увидел его у костра, объяснили, чем он им запомнился: «Парень, который ударил Луганского, был одет в клетчатую куртку, а на голове была спортивная шапочка «Петушок» коричневого цвета». Один из участников драки выразился еще энергичней: «Петушок здорово срубил этого парня. С виду не очень, а врзал, как боксер».

По очевидному упущению, в протоколе задержания никак не отмечено, какая одежда была на каждом из участников драки. Неопытный дознаватель просто не придал этим деталям никакого значения, сосредоточившись на описании самого побоища. Одежду Пете, перед отправкой его в КПЗ, разрешили сменить: легкую куртку на теплое пальто, которое принесла Нина. И тоже без всякого описания — что он с себя снял, во что переоделся. Никому не пришло в голову, что на этой подробности и попробует «адвокат» Дочкина строить свою защиту.

«Не было у брата никакой клетчатой куртки, — утверждала она. — И «Петушка» не было тоже». «Был, был «Петушок», — твердили свидетели, даже те, кто не собирался его топить: сидеть за очевидное лжесвидетельство никому не хотелось. Десятки листов уголовного дела составляют допросы, где выясняется только одно: имелись ли вообще в Петинном

гардеробе злосчастная куртка и «Петушок». Исход этих опросов был для Нины печальным, но она никак не хотела смириться со своим поражением.

— Их задача свалить все на Петю. Следователь сам звенигородский, и Федюков звенигородский, и все, кто замешан, тоже звенигородские. Общий сговор, и я просто не знаю, как с этим бороться. Надежда только на вас.

Надежда напрасная — это я понял сразу. И шел доморощенный адвокат по ложному пути, упрямо толкая идти по нему и меня. Между тем — так, во всяком случае, мне показалось — был и другой путь, особенно ничего не суливший, но все-таки позволявший подойти к делу с иной стороны. Как завязалась эта дурацкая драка, с чего вдруг мирное и вполне дружелюбное водкопитие ни с того ни с сего вдруг превратилось в кулачный бой? Никаких счетов друг к другу у них вроде бы не было. Или были?

Следователь не стал копаться в истоках, его вполне устраивал результат: есть труп — значит, есть и убийца, значит, есть кого обвинять и судить. Все остальное лишь отвлекает от дела. Не все ли равно, с чего началось, важно — чем кончилось. То самое «убийство из хулиганских побуждений» — иначе сказать, «беспричинное», ни с того ни с сего. Дивная формулировка, которая есть только в нашем законе. Формулировка, избавляющая от необходимости разобраться в реалиях происшествия и понять истоки того, что свершилось. Упрощающая работу недалеких людей. Да бывает ли в жизни хоть что-нибудь беспричинно?!

Нина совсем не была в восторге от моей идеи вести поиск на этом пути.

— Зачем это вам? — с каким-то испугом спросила она. Возможно, я не так ее понял, возможно, спросила и без испуга, но с тревогой бесспорно, это я сразу почувствовал. — Что даст? Убил не Петя — вот позиция, от которой нельзя отступать. А с чего началось, не все ли равно? С чего бы ни началось, убил-то не он, вот что самое главное. Разве не ясно?

Пришлось осадить:

— Свои адвокатские возможности вы уже показали. Теперь дайте мне показать свои.

Она сникла, помрачнела. Помолчав, произнесла две фразы, которым значения я не придал и которые отыгались — опять-таки для меня — только потом. Много позже.

— У нас в больнице есть один замечательный врач, который лечит с таким усердием, что больные потом умирают. Он очень старается, а они умирают.

— Вы отказываетесь от моих услуг? — напрямиком, не выбирая обтекаемых слов, спросил я.

— Делайте, что хотите, — растеряв вдруг куда-то свою запальчивость, отозвалась она.

Мне дали свидание с Петушком — у него я пытался выведать, как же все-таки и почему началась эта «беспричинная» драка. И он тоже не был в восторге от моих дотошных вопросов. Я отыскал в показаниях одного из драчунов защепку, хоть и невнятную, она дала мне возможность приступить к разговору: «Луганский стал приставать к ребятам...» Выходит, все же Луганский! Но что это значит: «стал приставать»? По какому хотя бы поводу, если не было никакой причины?

— Да просто так! Ну, как пристают? Вы разве не знаете?

— Знаю: по-разному, — мягко сказал я, не желая вступать с ним в полемику. — Оттого и стараюсь понять, не как пристают вообще, а как и кто приставал в твоём случае. Как это все началось?

— Как началось? А как начинается? Один что-то тьякнул, другой ему в тон, потом третий, четвертый... Слово за слово, и вот уже кулаки... Хорошо еще, что за ножи не взялись, их и у нас, и у них было достаточно.

— Нет, но все же... Кто и как тьякнул первым? Кто был вторым и что конкретно второго задело? Можешь припомнить?..

Я поймал его взгляд: недоверчивый, подозрительный. И мутный какой-то, словно не в фокусе. Себе на уме. То ли ищет подвоха, то ли действительно не понимает, зачем мне все это нужно.

— Объясните, что вам даст, если я вдруг вспомню, кто первый, кто второй. Когда все выражаются... Как бы это сказать?

Я помог ему:

— Нецензурно...

— Вот, вот — нецензурно. Это же не записывают. И в суде не повторяют.

Пришлось усмехнуться:

— Ничего, я к мату привык. Ты вспомни те слова, что цензурные. Главное суть вспомни — понял? А нецензурные я уж как-нибудь сам подставлю.

— Зачем?! — не унимался он. — Что это даст?

Неужели они сговорились: он и сестра? И почему так уведят меня от дорожки, которая все более кажется мне перспективной? Чем настойчивее уведят, тем меньше мне хочется «увестись». И, что самое странное, ведь мой интерес вызван только желанием реально ему помочь, а сопротивляются — и Нина, и он — так, словно я хочу навредить.

— Ну, какой же ты хулиган? — пытался я ему втолковать. — И ты, и твои приятели, и даже те ребята, которые были не с вами. Мирно сидели, мирно пили-ели, делились припасами, даже на расстоянии, и вдруг, словно оса укусила... В чем дело? Если ты вспомнишь, с чего все началось, можно будет понять, кто заводила, кто кому встал поперек, тогда легче найти действительно виновного. Тебе это ничем не грозит, может только помочь. Ведь между тобой и Луганским не было никакой вражды. Или, может быть, я не прав?

— Ничего не помню! — таким был категоричный ответ Петушка на мой монолог.

Сказал, как отрезал. Сразу видно: норов, как у сестры.

Ничего другого не оставалось — лишь следовать линии, избранной Ниной. Жевать-пережевывать все ту же обрыдлую тягомотину, на которой зациклилась Нина, — про куртку и шапку, твердить, стыдясь самого себя за слова, в которые ни сколько не веришь, что все свидетели почему-то пристрастны и озабочены лишь одним: как бы им засадить Петушка, выгораживая таким путем Федюкова.

Позвонил другу-художнику, поворчал, что втянул он меня в безнадежное дело. Так и сказал: безнадежное. Ни малейших шансов на успех у моей жалобы нет. «Ты всегда канючишь, что

безнадежное, — укорил он меня, — а потом хоть что-нибудь все равно получается». И напоследок утешил тем, что известно давным-давно и без таких утешителей: лечить полагается даже совсем безнадежных больных. Но ждал-то он, думаю, вовсе не этого: не стал бы иначе ко мне обращаться.

Все вышло так, как я и предвидел. В областном суде жалобу с треском отвергли. В том смысле «с треском», что всадили в определение такие слова, коими вся моя аргументация (моя ли?!) объявлялась надуманной, абсурдной, произвольной, бездоказательной и какой-то еще — гораздо похуже.

Пожалуй, в этом не было слишком большой натяжки. Выступая в поддержку жалобы, я и сам чувствовал, что несу околесицу. Куда было бы лучше, а глядишь, и успешнее, если бы бил просто на жалость. Эта банальность, для которой не нужно большого ума, иногда вышибала слезу даже у наших непробиваемых судей: жесткий спор с обвинением их всегда раздражал, зато хныканье принималось как норма. Разбираться в сложности доказательств, в оценке улик, в юридической квалификации всегда слишком обременительно, а вот послушать златоуста, взывающего к чувствам добрым и к милосердию — это пожалуйста, ничьи извилины не колышет. Мне всегда была противна такая тактика, если в деле было хоть что-то, позволявшее оспорить участие в преступлении или вину моего подопечного. Если же не было ничего, что тогда делать?..

Почему бы не вымолить снисхождение? Ведь Пете в день убийства не хватало семи дней до восемнадцати. Правда, только семи... Да хоть бы и одного! Суд на то и суд, чтобы уважать так называемую формальность: нет восемнадцати, значит — юридически — несовершеннолетний. Впрочем, и на этот мой, не высказанный к тому же, довод был бы, наверно, у судей готовый ответ: возраст уже учтен в приговоре, случись то же самое восемью днями позже, впаяли бы не десять, а все пятнадцать.

Нина зла на меня не имела. Призналась, что в успех не очень-то верила, но утопающий — не правда ли? — хватается за соломинку. И что, быть может, не все потеряно окончательно:

ведь надежда умирает последней. Так и сказала, показывая начитанность, которая в моих глазах (просекла и это!) значила многое.

— Стену лбом не прошибешь, — словно вслух рассуждая, философствовала она. — Это все знают, а как дойдет до тебя самого, все равно начинаешь биться. Все тем же лбом... Как вы думаете, могут ему хоть немного скостить? Мальчик еще, а жизнь уже под откос.

Конечно, такую возможность полностью исключить было нельзя. Так что, ее утешая, я не слишком фальшивил. Время от времени мы перезванивались, иногда Нина заходила ко мне в консультацию: «ни для чего, просто так, зарядиться надеждой», — объясняла она свой визит. За то время, что прошло после первой встречи, она осунулась, у глаз появились морщинки, речь стала более нервной и руки уже не казались тонкими и изящными — вот теперь я тоже готов был увидеть в них силу, про которую мне говорил мой друг-художник. Кстати, однажды он мне позвонил лишь для того, чтобы рассказать, как медсестра ему благодарна: ведь это он свел ее с таким замечательным адвокатом! Благодарить меня было не за что, ничем замечательным, да и просто успешным, по этому делу я себя не проявил, это все понимали, но он уверял, что Нина не лжет.

— Она вообще никогда не лжет, — настаивал мой восторженный друг, — это светлый, добрый человек. Очень несчастный. И у нее золотые руки. Хочешь, она станет твоей массажисткой? Помолодеешь на десять лет.

Я посмеялся, вспомнив, как Нина просвещала меня насчет разных видов массажа, сказал, что с клиентами в неформальные отношения не вступаю, что в профилактике пока не нуждаюсь, так ей, значит, и передай. Хотя, по правде, очень нуждался: от бесконечных сидений за пишущей машинкой после напряженного рабочего дня адски ныла спина, руки слушались плохо, шея стала едва ли не деревянной, словом, массаж не помешал бы. Но Нина?! Этого еще не хватало...

В какой-то очередной свой приход она принесла мне кучу Петиных писем из колонии (отбывал он свой срок в Пермской области), просила убедиться, как парень страдает, — быть может, это подвигнет меня удвоить, утроить усилия, чтобы

вырвать его из тех ужасных условий, вернуть семье, дать возможность начать сызнова порушенную жизнь. Ни в каком допинге для своих профессиональных шагов я не нуждался, много слезливых просьб наотправлял уже и так в разные адреса и нигде не встретил сочувствия.

Письма, однако же, взял и прочел их, признаюсь в этом честно, на одном дыхании. Увы, они были без дат, и я кое-как, по содержанию — скорее всего, с ошибками, — выстроил их в какой-то ряд, хотя принципиального значения правильная последовательность все равно не имела. Опускаю скупые описания лагерной жизни — привожу только избранные места. Те, которые и в самом деле заслуживают внимания. Грамматика автора и его орфография оставлены без изменений.

«Родненькая моя Ниночка!!! /.../ Как тебе живется без меня? Мне без тебя просто никак нельзя. Я верю, что у нас все будет хорошо и что мы будем вместе. И даже скоро!!! А если не скоро? Об этом не хочется думать. Но все равно вся жизнь впереди. /.../ Крепко-крепко-крепко и даже еще крепче целую тебя».

«/.../ Пришли свои фотографии и наши где мы вместе. Отбери такие чтобы не отобрали ведь здесь все письма проверяются в обязательном порядке и следят строго. Ну ты сама понимаешь и разберешься. /.../ Я тебя очень люблю!!!» (Слово «люблю» подчеркнуто трижды.)

«Любимая моя сестренка!!! Я сегодня пол дня прыгал от радости когда мне сообщили, что нам дают личное свидание и что ты приедешь одна. Личное по правилам дают женам и родителям а братьям и сестрам только если они приезжают с ними т.е. всем скопом. А наш начальник у него ко мне хорошее отношение, я ему объяснил ситуацию как далеко отсюда Чита и денег на поездку у родителей нет, он все понял и разрешил.

Если бы ты знала как мне тебя нехватает!!! Как я тебя жду. Как мне плохо без тебя. Как мне хочется быть с тобой. Ты спрашиваешь, что мне привезти. Привези теплое белье, носки, кофе, грибы (если достанешь), что-нибудь из восточных сладостей с орехами которыми ты меня кормила по ночам (помнишь или забыла???), лимонаду хоть пару бутылок,

московского, настоящего, жевачки, что-нибудь печеное. Но главное себя привези такую какую я помню и люблю. Я тебя очень и очень люблю. А ты меня? Только скажи правду. /.../».

«/.../ Два дня пролетели как две минуты. И вернуло меня к тому нашему счастью которое мы не ценили. Не знаю как ты, а я только вот когда ты уехала понял, что не ценил потому, что был глупый и ничего не понимал про жизнь. /.../ Теперь надо ждать целый год, чтобы опять увидеть тебя и обнять как всегда. Нет не как всегда, а как когда-то... Напиши только честно ты понимаешь, что я сейчас переживаю??? Просыпаюсь вдруг посреди ночи протягиваю руку, а тебя нет. Хотя вообще то сплю здесь как убитый. А почему? Вкалываешь вкалываешь весь день заваливаешься и нет причин чтобы не спать. /.../ Крепко-крепко-крепко целую. Я тебя очень-очень люблю. А ты? Надеюсь тоже. /.../»

«/.../ Приближается положенное кратко срочное свидание. Дают часа два или три, я даже неспрашивал сколько, дают поразному кто сколько заслужил. Но не больше чем три часа. Ты приедешь? Это свидание просто чтобы подразнить. /.../ Все равно мне так хочется хотя бы посмотреть на тебя. Все вспомнить и по глазам твоим понять, что и ты помнишь. И тоже веришь, что все будет хорошо.»

«/.../ Сестренка! /.../ Тебе еще не надоело ждать? Время идет. Ты же сама говорила. Помнишь, что ты говорила? /.../»

«Вот уже и третье день рождение вдали от родного дома /.../ Ниночка дорогая моя, ты просто должна мне все время писать, что любишь меня иначе мне даже не очень а совсем плохо. Ты всегда говорила мне это когда мы были вместе, а теперь мне это еще важнее. Просто намного важнее!!!»

«В твой День Рождение желаю тебе и мне тоже больше выдержки и терпения. Не унывай все невзгоды пройдут и мы снова будем вместе. И навсегда! Ведь правда??? /.../ Крепко-крепко целую тебя мою Ниночку».

(В связку писем, переданных мне Ниной, затесалось, между прочим, и коротенькое письмишко Петушка другой сестре, Кате, — вероятно, присланное ею Нине для ознакомления. Там такие строки: «Поздравляю с день рождение и желаю тебе больших успехов в учебе. Брат Петя».)

«/.../ Приближается хотя и не скоро еще очередное личное свидание. Старики пишут, что готовятся, собирают деньги и приедут всей семьей. Я им написал уже два письма чтобы не тратились и не мучили себя трудной дорогой. Но мать пишет чтобы я не писал таких глупостей, что они все равно приедут. Значит мы на все эти несчастные-разнесчастные два дня окажемся все вместе и никакое отдельное личное нам с тобой уже не дадут. Я ничего не могу с ними поделаться, может быть ты сумеешь им внушить? Ты ведь так хорошо умеешь внушать!!! Попробуй сестренка, Ниночка моя дорогая /.../»

Комментировать эти письма, которые, не скрою, меня огорили, конечно, не нужно. Все очевидно, все дико, все горько... Лишь одно я понять так и не смог: зачем Нина мне их дала, эти письма? Ни о чем подобном я ее не просил. Не было ни малейшей причины, чтобы сделать меня читателем этой интимной лирики. Содержание писем никак не могло повлиять на неведомых судей в верхах, если бы вдруг я вздумал использовать в жалобах избранные места из пылких любовных признаний. И, естественно, даже в страшном сне не могло мне привидеться, что я стану их где-то цитировать. Зачем же тогда?..

Вдруг меня осенило. Ведь это она ненавязчивым образом (нет, скорее навязчивым) дает мне понять, как был я нелеп в своем стремлении отыскать истоки побоища. Нелеп и даже опасен. Как мог оказаться в роли того врача, который с усердием лечит, а больные мрут от этих чрезмерных усердий. Докопайся я тогда до «мотива», может быть, догадался бы, что оказавшийся смертельным удар был точно осознанным и что нанес его именно Петя, а не кто-то другой. В отместку за оскорбление: «Луганский стал задирается»... Кого же он задирает? Незнакомых ребят, приехавших из Москвы покататься на лыжах? С чего бы?

Один из них, Витя Горный, обронил на следствии фразу, которую следователь и судья вообще не взяли в расчет. И я не взял тоже, ибо она повисла в воздухе, неведомо кем произнесенная и неведомо к кому обращенная. Придется ее привести такой, какой она записана в протоколе, без стыдливой цензуры: «Не знаю, кто точно, я их по именам никого не знал,

кроме Пети, но кто-то с другого костра кричал: «Чего ты тут мерзнешь? Лети к своей проблядушке, пусть согреет». Вообще все местные чего-то орало, а мы, московские, не понимали, про что орут». Ясно, что такая конкретика («иди к своей...») не могла быть адресована приехавшим из Москвы незнакомым ребятам, за ней скрывалось нечто такое, что известно только тем, кто в нее посвящен.

Если версия эта верна, то и правда — удар Петушка, вступившего за непорочность любимой сестры, выглядел бы как месть (какие там хулиганские побуждения!) и лишил бы защиту вообще какой-либо пристойной позиции. Даже не о чем было бы спорить... Но эта опасность мне вряд ли грозила: зная истину, я бы все повернул по-другому. Была (и осталась) в законе иная формулировка: убийство, вызванное тяжким оскорблением со стороны потерпевшего. Наказание за него предусмотрено более мягкое. Намного более мягкое. Только вот ведь какой вопрос: признал ли бы суд крик Луганского — кстати, надо было еще доказать, что точно Луганского, а не кого-то другого, — признал ли бы он этот крик оскорблением? Тем более — тяжким? Пришлось бы раскрыть тайну, которая, как теперь очевидно, тайной была не для всех, но оставалась — брезгливости ради — темой запретной. Молчаливый такой уговор: об ЭТОМ ни слова...

— Скажите, Нина, — спросил я, возвращая ей письма, — скажите... — Я все никак не мог выдать из себя произносимые вслух слова, хотя терять уже было нечего, а разыгрывать глупый спектакль просто нелепо. — Зачем вы дали мне на прочтение то, о чем я, наверно, знать был не должен? А вы, как я понимаю, захотели, чтобы я непременно узнал. Зачем? К делу это отношения уже не имеет. Тогда зачем? Вас гнетет эта тайна, и вы хотите сбросить с себя ее груз? Я вас правильно понял?

Мы долго, не мигая, молча смотрели в глаза друг другу, и, кажется, я не выдержал первым. Отвел взгляд, мучительно думая, как мне теперь продолжать разговор. О чем? И к чему? Адвокатскую свою обязанность я исполнил, роль духовника была не по мне. Тем более в ситуации столь порочной и столь греховной.

Когда я снова взглянул на Нину, она платком вытирала щеки, по которым продолжали катиться крупные, с горошину, слезы. Она положила в сумку Петины письма, тщательно стерла черные дорожки от слез на безжизненно белом, подурневшем лице и ушла, не протрившись.

И тут вдруг вышел указ, который мог существенно изменить положение Пети. Молодых, здоровых и отбывших часть срока мужчин можно было из колоний отправить на «химию»: так называли те предприятия, каким-то образом связанные именно с химией, куда, за отсутствием добровольной рабочей силы, родная партия и родное правительство собрались спровадить полчища экзков. Это считалось мерой гуманной, да что там гуманной — высоким доверием родины, которое надо еще заслужить. Ведь на «химии» нет конвоя, жить можно с семьей, и трудом — не только «честным», но еще и «особо производительным» — заслужить досрочное освобождение.

Установлен был не то чтобы сложный, но достаточно громоздкий порядок перевода на «химию» (с легкой руки партагитаторов, ею тогда прожужжали все уши). И мне подумалось, что для Пети «химия», хоть и не сахар, но все же какой-никакой временный выход: он избавится от несвободы и сможет вновь обрести... Я не знаю, что бы он мог обрести, но соединиться с Ниной мог безусловно...

В звенигородской больнице, куда я позвонил, мне ответили, что медсестра Дочкина уволилась и что адрес ее неизвестен. Райотдел милиции сообщил по моему запросу, что с квартиры она съехала тоже и в Звенигороде больше не проживает. Оставалась последняя связь — мой друг-художник, чья любовь к массажу, возможно, еще не прошла. И она, действительно, не прошла! Нина Дочкина, рассказал мне он, бросила якорь в другом городе Подмосковья, который тогда еще назывался Ногинском, а теперь, наверно, снова стал Богородском, каким исстари был. Художник сам до нее дозвонился и сказал, что у меня есть для нее важное сообщение.

Она позвонила.

Вежливо, с несвойственной ей до сих пор церемонностью, поблагодарила за ценную информацию, не вложив, по-моему,

в свою благодарность никакого сарказма. Сказала, что «должна хорошенько во всем разобраться» и что мне беспокоиться ни о чем не нужно.

— Мы с Петей справимся сами, — разъяснила она, давая четко понять, что моя миссия исчерпана. Окончательно и бесповоротно. И что мое беспокойство ей нежелательно. — Не уверена, что смогу поехать к нему: у меня здесь еще больше работы, чем было раньше, в Звенигороде. И потом...

Она замолчала. Мне показалось, что Нина борется с потребностью что-то сказать. Пауза затянулась. Разговор она заканчивала через телефонистку, время истекло, Нина попросила продлить. Продлили.

Наконец, решила.

— Я выписала из Читы Славу, младшего брата. Он здесь, со мной. И с ним много забот.

Славу... Я прикинул в уме: шесть лет назад ему было девять, теперь, стало быть, уже сравнялось пятнадцать. Ну, может быть, с хвостиком, но небольшим. В самый раз..

Тот же самый друг-художник много раньше подбросил мне еще одно дельце, юридически не представлявшее интереса, но зато настолько забавное, что стоит о нем рассказать. Это скорее не история с закрученной интригой, а просто байка, тем замечательная, что создана не фантазией острослова, а самым дерзким из всех драматургов — судьбой, которая чужда усредненному «правдоподобию», то есть, проще говоря, сочинительству. Конечно, сочинительство бывает и очень ловким, но в пригнанности всех фабульных линий всегда видна тщательная продуманность, авторская воля, которая определяет и направляет заранее просчитанные поступки действующих лиц, тогда как в правде реального факта, напротив, всегда выпирают углы и явственно проступает порой какая-то нелогичность. Потому что у жизни своя логика, а у сочинительства совсем другая.

Именно к этому делу относится реплика друга-художника из рассказа о Петушке: «Ты всегда канючишь, что безнадежно, а потом хоть что-нибудь получается». К делу, от которого у меня не осталось вообще никаких бумаг — все было отправлено по инстанциям, а остаток возвращен виновнику торжества (в том-то и соль, что — торжества!), когда в наших с ним деловых отношениях была поставлена последняя точка. Я даже фамилию его не запомнил, ибо истории той почти полвека, но сохранилась одна открытка, которую мой подопечный на радостях отправил вовсе не мне, а нашему общему — увы, уже

покойному — другу. Под восторженным текстом подпись, так что без напряжения памяти я могу восстановить хотя бы его имя: Илья. Открытке тоже найдется место — под занавес короткой этой истории.

«Хоть что-нибудь получается...» Что тогда получилось, тоже станет ясно в конце. Дело это касалось коллеги моего друга-художника — гравера из Молдавии, с которым они там и встретились, в каком-то винном погребке, хорошенько наклюкались и объяснились друг другу в любви. И, как водится, когда грянул гром, молдавский гравер вспомнил про своего столичного друга, а тот — в ту пору еще стопроцентно московский, а не звенигордский ваятель, — естественно, про меня.

Если точнее, цепочка протянулась ко мне, когда гром не грянул, а уже отгремел, и молния, соответственно, тоже успела ударить куда надо — прямо в темячко горемыки. Теперь предстояло его выводить из агонии, если не из клинической смерти. Мне часто, увы, доставалась эта незавидная роль: реанимировать умирающих. Оттого и удач было меньше, чем могло бы, наверное, быть. Почему-то расчет на подручные средства, надежда на чудо, которое без особых усилий спасет от напасти, владеют умами многих людей, попавших в беду. Скорее, впрочем, владели: сейчас время заставило быть прагматичнее, избавило от иллюзий и приучило принимать меры не после, а до. То есть не тогда, когда приговор уже вынесен, а когда еще можно хоть как-то на него повлиять.

Скажу, однако, справедливости ради, что в деле Ильи, даже если бы общий наш друг вспомнил обо мне своевременно, я вряд ли бы смог хоть в чем-то помочь. Не то что воров, но и убийц было легче в те годы вытаскивать, чем таких негодяев, которые — ни много, ни мало — возомнили себя монетным двором! А именно этим и отличился Илья, безвестный гравер и художник из молдавской провинции...

После развода остался он без жилья, покинул родной Кишинев и устроился в каком-то неприметном селе или, скорее, в маленьком городе. Заказов почти никаких не имел, пробавлялся случайными заработками не по своей прямой специальности: устраивал районные выставки, украшал павильоны,

малевал для помпезных досок почета портреты передовых виноделов и скотоводов. Новой семьей не обзавелся, жилья своего не имел, снимал, хоть и за бесценок, чужие углы. И ни о чем другом не мечтал — только бы накопить на свой, пусть даже крохотный, но личный домишко. Купить почему-то было дешевле и проще, чем поставить дом самому. Но и на то, что дешевле, тоже не было денег.

Безумная мысль пришла в голову не сразу, и все же пришла. Уж сам-то знал, какой он умелец и на что способна его рука. Середина пятидесятых: страна еще только-только начала раправлять плечи, освободившись от сталинских кандалов, в обращении были все еще дореформенные, большого размера, бумажные деньги, то есть те, у которых Хрущев в шестьдесят первом уберет лишний ноль и сильно сократит их размеры, подняв тем самым цены на неслыханную высоту. (До сих пор помню свое удивление: за пучок укропа, который накануне реформы стоил десять копеек, в первый же день ее действия с меня запросили не одну копейку, как вроде бы полагалось, а те же десять.) Тогда цены еще не кусались, и для исполнения своей мечты Илье было нужно не так уж и много.

Он работал, не торопясь, с присущим ему старанием, сделал эскизы всех крупных купюр, шлифовал каждый мельчайший штришок, клишировал, ретушировал, снова клишировал и пришел, наконец, к выводу, что лучше всего получаются сторублевки, то есть будущие «красненькие» — десятки. Тогда и была отлита им форма и запущен в сарае кустарный печатный станок.

Илья действовал осторожно и за быстрым результатом не гнался. Когда увидел, что дело наладилось, не впал в эйфорию, а, напротив, дал себе передышку, потом другую — боялся спугнуть удачу. Механизм, который он разработал, был прост и надежен — до того момента надежен, пока его не разгадали и не приняли надлежащих мер. Но лопухов у нас было навалом, ни о какой разгадке речь пока что не шла, а меры, которые приняли на бумаге, так на ней и остались: в круг подозреваемых Илья не попадал.

Он уезжал достаточно далеко, непременно за пределы Молдавии. На Одессщину, Львовщину, в Буковину — под Чернов-

цы, — и в маленькой лавке, а то и просто на рынке, сбывал свою сторублевку, покупая разную мелюзгу. Что-нибудь вроде зубной щетки, катушки ниток, набора карандашей. Или стакан разливного вина. Смущенно извинялся: нет ни одной мелкой купюры, пуст кошелек, а «предмет» нужен до крайности. Иногда и просто просил разменять. И почти всегда — безотказно. Лучше всего получалось не в магазинах. Частники — иначе сказать, простые советские пейзажи — охотно откликались обычно на подобные просьбы. Они приохотились складывать большие купюры в чулки и кубышки: так их было легче хранить. Спрятанная в чулок, купюра не могла попасть на глаза контролерам, что значительно уменьшало степень риска.

Но все же немалая часть его сторублевок, пройдя через руки многих владельцев, в конце концов добиралась до банка, и машина, к тому приспособленная, выплевывала их, пронзительным звоном оповещая о выловленной фальшивке. При каждом таком сигнале к поиску злоумышленника немедленно подключалась местная госбезопасность: изготовление поддельных дензнаков относилось к категории особо опасных государственных преступлений, угрожающих самому существованию советской власти. Сведения о каждой обнаруженной фальшивке немедленно отправлялись в Москву, где экспертную службу несли специалисты высочайшей квалификации.

Они без труда установили, что все отловленные купюры тиснуты с одной и той же отливки и имеют одно и то же происхождение. Установили и то, что производитель фальшивок не является дилетантом, что он скорее всего профессионально причастен к изобразительному искусству. Круг ведущихся поисков был, таким образом, сужен. Хотя — что значит сужен? Причастных к искусству у нас и тогда было пруд пруди, так что узкий круг все равно оставался довольно широким.

Была и еще одна сложность, затруднявшая поиск, — сложность, специально созданная для сыщиков хитроумным Ильей. Столь удачно изготовленное клише (ни один человек, державший фальшивку в руке, ни разу не усомнился в подлинности купюры!) должно было, по всем разумным правилам, понудить печатный станок работать безостановочно — гнать

монету, чтобы как можно скорее, пока не очухались и не засекали, иметь максимальный навар. Между тем в руки сыщиков попала отсеянная банковской техникой сушая мелочь: несколько десятков тогдашних сотенных — в общей сложности не то на четыре, не то на пять тысяч рублей. Остальные, как мы знаем, осели в чулках. Но и остальных было не так уж и много. С привычной логикой поведения изготовителя подложных банкнот это никак не вязалось. Отказ от стереотипного поведения фальшивомонетчика как раз и входил в замысел Ильи, хотя он вряд ли формулировал для себя линию своего поведения. Просто действовал по интуиции. С повышенной осторожностью.

Поиск преступника вели в тех районах, где отловили фальшивки. Молдавия и все прилегающие к ней области Украины тоже попали в зону проверки. Что именно делалось, мне не известно, — факт остается фактом: на след Ильи не напали.

В течение нескольких месяцев ни одной новой фальшивой купюры банки не отловили. Казалось, преступник свернул свое производство. Но вдруг самодельная сотня выплыла где-то в Челябинской области. Потом еще несколько — много! — в Омской и Томской. И все — с того же клише. Это Илья решил сменить географию, отправился на Урал и в Сибирь менять свою взрывную продукцию на мелкие, но законные. Одновременно решалась другая, не менее важная задача: дать всем, кто хорошо знал, каков его реальный достаток, объяснение своему внезапному обогащению. Как бы иначе он смог купить даже дешевый дом? Илья раструбил, что уезжает на заработки в Ташкент: какой-то его приятель-коллега устроил работу, за которую будут прилично платить.

Не то что в Ташкент — ни в один уголок Средней Азии его нога не ступала. И ни одной фальшивой сотни там, естественно, так и не всплыло: Илья ловко крутил интригу и все предусматривал. И вернулся в родные края со следами загара, который вполне мог сойти за узбекский. Потому что летом, на берегах Иртыша и Оби, кожа чернеет ничуть не хуже, чем где-нибудь на Памирских склонах. Сошло!.. Нужная сумма — на уютный, непритязательный домик — уже собралась. И домик был куплен. Подозрений это не вызвало. Не вызвало лишь потому, что

скромный достаток Ильи никак не бросался в глаза. Его образ жизни — прежний и нынешний — ничем не отличался от образа жизни всех окружающих. В тех краях достаточно, кстати сказать, высокого — по тогдашним российским меркам.

Теперь у гравера уже не было нужды искать приют под чужими крышами, и он даже мог, спасаясь от одиночества, приглашать гостей из Кишинева, а то и еще откуда подальше. На приглашения откликались охотно: благодатное место, чистый, ухоженный дом. Фрукты, вино... Один из приезжих, тоже художник, из русской глубинки, так загостился, что, считая не слишком удобным злоупотреблять хлебосольством хозяина, предложил ему небольшую плату, чтобы пожить в благодатном краю на правах нанимателя, а не гостя. Это было тем более кстати, что с деньгами у Ильи опять возникли проблемы, а от зарока, который он сам себе дал, отступить не хотелось.

Зарок состоял в том, что печатный станок навсегда прекратит работу, как только он наштампует точно на дом! Наштамповал — и ушел на покой... Но уничтожен станок все-таки не был. Бережно завернутое в тряпье, обмотанное плотной пленкой, а поверх еще и брезентом, клише было временно погребено в яме на краю черешневого сада. Борясь с искушением (ведь так славно все обошлось!), Илья ни разу себе не позволил запустить его снова, справедливо, наверное, полагая, что негоже играть с судьбой, коль уж она оказалась такой благосклонной. Кормили все те же доски почета, да еще и рисуночки, которые он делал для районных газет. Этих крох хватало на пропитание, а на большее Илья не претендовал: лишь бы не оказаться на тюремном пайке.

И тут вдруг, когда жизнь худо-бедно наладилась — мечта сбылась и возмездие обошло стороной, — Илью вызвали в райотдел милиции. Повесткой — со строгим предупреждением об ответственности за неявку. Было несколько странно, что не нагрянули с обыском без всяких предупреждений, не заковали в наручники, а дали отсрочку почти на неделю — за это время и сбежать можно, и орудие преступления уничтожить. Но хитрый «их» маневр Ильи разгадал. Попытайся он бежать, был бы тут же схвачен и дал бы сам против себя серьезнейшую ули-

ку: стало быть, есть от чего скрываться. Попытайся уничтожить клише, был бы тоже схвачен на месте — ведь за ним, ясное дело, следили!

Он покорно явился по вызову, доверившись пока что ни разу ему не изменившей судьбе.

— Вы понимаете, конечно, зачем вас пригласили? — с напускной важностью спросил милицейский майор.

По должности ему бы от силы быть капитаном, но городишко, где Илья купил себе дом, располагался невдалеке от румынской границы. Входил в так называемую пограничную зону, где даже на скромных постах восседали офицеры отнюдь не высокого ранга. Граница отделяла могучий Союз от дружеской, если не братской, страны из братского же соцлагеря, но режим в пограничной зоне ничем не отличался от режима на рубежах с Финляндией или Турцией. Цену этому братству в Москве хорошо знали.

— Будете сами писать объяснение? Или допрос, как положено? — не без ехидства уточнил майор и пронзил сникшего разом гравера суровым взглядом.

— Так с этим делом давно закончено, — пролепетал Илья. — Добровольный отказ... — Вероятно, он заранее вычитал в законе такую формулировку, дававшую право на снисхождение, а то и вообще на прощение. — Больше ничем подобным не занимаюсь.

Майора сильно задела эта наглая ложь. Он в точности знал, что Илья по-прежнему «занимается» тем, из-за чего и пришлось направить ему повестку, и вот, вместо чистосердечного раскаяния, за которым, на самый худой конец, мог бы последовать штраф, пытается запудрить мозги.

— Ложью вы только ухудшаете свое положение, — пригрозил майор. — Советую держаться поближе к правде, это в ваших же интересах.

Он дал ему лист, ручку с пером, как в начальной школе — в те еще, безмерно далекие, времена, — пододвинул чернильницу и предложил написать объяснительную: «все, как есть». И тогда — только тогда, сказал он — будет принято решение, что с ним, нарушителем, делать.

Текст покаяния у меня не сохранился, но он мало чем отличался от того, который я воспроизвожу по памяти.

«Добровольно сообщая, что с изготовленного мною клише было отпечатано незначительное количество сторублевых купюр на общую сумму порядка двадцати пяти или тридцати тысяч рублей или чуть больше исключительно для покупки дома, поскольку мне негде было жить. После накопления указанной суммы и, расплатившись полностью за выбранный мною дом настоящими, а не фальшивыми деньгами, я сразу же добровольно отказался от дальнейшего печатания и вот уже в течение почти трех лет не напечатал ни одной сотни. Клише спрятано в саду моего дома. Оно, по моим расчетам, уже разрушено или сгнило и во всяком случае не пригодно для изготовления денег. Место его хранения могу указать и добровольно выдать милиции».

Майор читал этот текст и, думаю, чувствовал, с какой опасной скоростью заколотилось его сердце. Возможно, сначала он толком даже не понял, о чем идет речь. Про розыск фальшивомонетчика во вверенном ему регионе майор информирован не был: госбезопасность про свои акции милицию не извещает, разве что просит докладывать о подозрительных лицах. Но ни под каким подозрением Ильи не пребывал.

Читатель, наверно, уже догадался, что вызов Ильи в милицию никакого отношения к его денежной афере вообще не имел. В приграничной зоне, даже если въезд в нее не требовал пропуска, ни одно лицо не могло находиться без регистрации более суток. Бдительные соседи, половина которых, если не больше, состояла в милицейских осведомителях, просто донесли о жильце из России, временно взятом Ильей на постой. Если тот квартировал у него бесплатно, Илья нарушил правила регистрации. Если за деньги, то плюс к этому еще и правила налогообложения. В любом варианте его ждал, как уже сказано, штраф. Притом — совершенно ничтожный...

О том, каким был истинный милицейский замысел, когда отправлялась повестка, и какой, плачевной и водевильной, ситуацией он обернулся, Илья узнал только в суде, где как свидетеля допрашивали майора. До тех пор Илья был искренне убежден, что сыщики все-таки вышли на след и что он, сочи-

няя свое покаяние, действовал правильно — избавлял себя таким образом от самого худшего. А каким может быть это худшее, он, вступая на рискованный путь, знал тоже. Трудно поверить, но фальшивомонетчикам по советским законам тех лет грозила ни много ни мало смертная казнь. Но до нее не дошло. Все смягчающие вину обстоятельства перечислены в приговоре: добровольный отказ от продолжения так называемого «длящегося» преступления; относительно небольшой урон, который понесла советская денежная система; добровольная выдача орудия преступления — откопанное из-под черешневого дерева клише действительно сгнило наполовину.

Итог был такой: лишение свободы сроком на двадцать пять лет с конфискацией, естественно, дома. Гуманный итог.

На этой стадии дело как раз и попало ко мне.

Строго говоря, оно попало ко мне не на этой, а на еще более поздней стадии. В том смысле более поздней, что Илья уже отсидел года три в одной из молдавских колоний и имел за спиной зэковский опыт, который не слишком привычен для советских реалий. Как любому понятно, арестанты с такой редкой профессией резко выделялись из лагерного контингента. Всяческие стенды, наглядные пособия, доски почета, портреты вождей и прочая неременная утварь любого советского учреждения необходима была за проволокой ничуть не меньше, чем там, где ранее, как и все вольные граждане, наслаждался жизнью Илья. К тому же он, свободно владея кистью и карандашом, создавал не только портреты кремлевских бонз для лагерной парадной аллеи и начальственных кабинетов, но и портреты самих начальников с их женами, чадами и друзьями. И это Илье обеспечило «за проходной» такой режим благоденствия, который ему и не снился, пока он был на свободе. Что лишний раз подчеркнуло, к слову сказать, сколь относительным было само понятие пресловутой свободы в те, теперь уж далекие, времена.

Но ценный зэковский кадр, как посчитало лагерное начальство, мог стать еще более ценным, если бы удался совсем уже дерзкий номер, на который оно смело решилось. В респуб-

лике был объявлен анонимный открытый конкурс на создание памятника — Ленину, кому же еще? — для центральной площади города Бельцы. Или Бендеры — точно не помню. Кажется, все-таки Бельцы. Какой город мог обойтись без памятника Создателю? А вот Бельцы (Бендеры?) как-то до тех пор обходились. И теперь этот пробел предстояло заполнить.

Проекты представлялись под девизом — имя автора, его адрес и статус оставались неизвестными до тех пор, пока жюри не скажет своего последнего слова. Даже не победителю, а всего лишь призеру, были обещаны немалые, по тем, естественно, временам, деньги. И вот лагерное начальство решилось на нечто, до сих пор беспрецедентное. Проявило инициативу, которая при удачном исходе могла даже стать добрым уроком и для других лагерей (официально: колоний), где, вполне вероятно, тоже могли отыскаться таланты. Покровители искусств в офицерских мундирах мечтали не только о премии и гонораре, которые они разделят с ваятелем (в свою, естественно, пользу), но и о добавочной звездочке на погонах. Никого ни о чем не уведомив и создав Илье условия для взлета его вдохновения, они освободили узника от всех прочих работ: твори образ Создателя!

Илья никогда раньше не занимался скульптурой, но ведь недаром же говорят (никак не могу вспомнить в точности эту поговорку), что даже зайца можно выучить игре на барабане. А тут все-таки — живописец, график, гравер... Короче, в точно установленный срок, с соблюдением всех формальностей, конкурсный проект под девизом «Патриот Родины» (это масляное масло, поверьте, придумал не я) был представлен на суд жюри. В гипсе, конечно, — не в камне. И в скромном масштабе.

Сесть и не встать!!! «Патриоту Родины» досталась вторая премия — при том, что первая не присуждалась вовсе. Такой была ставшая традиционной практика множества конкурсов советской эпохи, побудившая кого-то из наших сатириков сочинить смешную репризу: бегун Х. выиграл стометровку, но судья решил присудить ему второе место, а первое не давать никому. Словом, полный атас!.. Получив заключение конкурсной комиссии по условному адресу, указанному, вместе с девизом, на запечатанном конверте, лагерное начальство

устроило крик на лужайке (даже в прямом, а не только в иносказательном смысле), где стакан молдавского каберне, вопреки всем существующим в зоне правил, достался и виновнику торжества.

Текст заключения судейской коллегии сохранился у моего приятеля, который и подкинул мне дело Ильи: обалдевший от счастья новоявленный скульптор не удержался, конечно, от редкой возможности похвастаться грандиозным успехом — подал-таки звонкий свой голос из-за глухих каменных стен.

Вот лишь несколько строк из этого заключения, наиболее выразительных: «Автор проекта под девизом «Патриот Родины» с любовью и творческим вдохновением, проявив высокое профессиональное мастерство, создал монументальный скульптурный портрет основателя Советского государства... Критические замечания вызывает, однако, произвольная трактовка волос товарища В. И. Ленина на затылке. При доработке проекта и доведении его до стадии возможного использования этот недостаток должен быть устранен в соответствии с той трактовкой волосяного покрова головы товарища В. И. Ленина, которая утверждена Институтом Маркса-Энгельса-Ленина, а исправленный вариант согласован с этим институтом и партийными инстанциями».

Не приходится сомневаться: лишь сомнительная трактовка плечи Владимира Ильича помешала Илье схлопотать первую премию. Припоминаю, что в «Объяснительной записке», которую он направил жюри после объявления результатов конкурса, «Патриот» согласился «устранить неоправданные завитки» вокруг пресловутой плечи и привести ее «в соответствие с каноническим образом вождя мирового пролетариата». Беда состояла в том, что сама возможность осуществления им этих благих намерений оказалась — а могла ли не оказаться? — под большущим вопросом. После того как жюри приняло свое решение, конверты с девизами были вскрыты, имя автора перестало быть тайным. Разразился скандал.

Вместо новых звездочек на погонах и золотого дождя благодетелей искусств ожидал жесточайший разнос на коллегии МВД («кошунственный заказ на создание скульптуры В. И. Ленина для городской площади особо опасному государственно-

му преступнику»), новое назначение с понижением в должности и (что, быть может, хуже всего) смена климатического пояса, ибо служба в Молдавии и служба (даже на равном посту) в северном Зауралье далеко не одно и то же. И все — за обман, а во все не за кощунство! Вырастили в колонии столь ценный знак и — надо же! — втихаря! Без какой-то там генеральской санкции. То есть, если попросту, не поделили шкуру того медведя, которого еще предстояло убить. Скупой, как известно, платит дважды. Если не трижды...

Зато Илья отделался пустяком. Даже остался в той же колонии. Ну, лишился гонорара и премии. Так ведь поделом: не наноси ущерба державе. Ну, лишился еще права на авторство. Плешь Ильичу поправил кто-то другой. Истукана с протянутой рукой все равно в Бельцах (Бендерах?) воздвигли — лучше, чем у Ильи, не получилось ни у кого. Монополист!.. Ведь (чуть не забыл!) другим-то вообще никакой премии не обломилось: даже на третью достойного не нашлось. А имя творца вдохновенного монумента предпочли засекретить, сделали памятник анонимным — никто про имя и не спросил: не все ли равно? Так и осталось это важное городское событие государственной тайной.

Скандал вокруг памятника оказался, как я понимаю, толчком, побудившим Илью обратиться к московскому другу, а тот, естественно, перебросил его ко мне. Илья, ни на что уже не надеясь, просил разобраться, сколь правомерно его ограбили, лишив денег и авторства. Иначе сказать, просто украв результаты его труда. Юридически его правота была несомненна: никаким законом не была предусмотрена возможность лишить осужденного авторских прав, как и вознаграждения за принятый труд, гарантированный к тому же по условиям конкурса. Участвовать осужденным в творческих конкурсах закон тоже не запретил. Но я-то знал, на каком расстоянии от законности находилась в родной державе реальная жизнь! И решил извлечь из минуса хоть какой-нибудь плюс.

Написал жалобу генеральному прокурору и главе Верховного суда СССР. Получилась, однако, не жалоба адвоката, а постыдная смесь льстивой слезливости («зная Вашу

гуманность...», «не сомневаюсь, что Вы войдете в положение глубоко страдающего, одинокого, больного человека») и пафосной демагогии («не может верховная судебная власть остаться равнодушной к судьбе жестоко провинившегося, но искренне раскаявшегося таланта, доказавшего способность посвятить свое творчество служению нашей социалистической родине»). Не знаю, случалось ли еще в судебной практике, когда аргументами в поддержку жалобы по уголовному делу о государственном преступлении служили протоколы художественных советов и заседаний жюри. Но других аргументов в моем распоряжении не было.

И надежды тоже не было никакой. На милость к фальшивомонетчикам рассчитывать не приходилось. Генеральный прокурор почему-то вообще не ответил — принял, я думаю, мое прошение не за жалобу адвоката, а за частное, что ли, письмо. А вот из Верховного суда ответ хоть и задержался, но все же пришел.

«С учетом характеристики личности осужденного, вставшего на путь исправления, — коряво, но четко было сказано там, — его творческих успехов и чистосердечного раскаяния», приговор изменен, срок наказания сокращен с двадцати пяти до пятнадцати лет. Пожалуй, десять лет свободы стоили тех денег, которые завистливые и злобные генералы украли у смиренного ээка. И даже авторства на спорную плешь Ильича, что, пожалуй, обидней всего.

«Ты просто гений! — написал Илья в открытке, адресованной своему (и моему тоже) другу-художнику. — А твой адвокат еще гениальнее. Сегодня мне объявили под расписку о сокращении срока и даже разрешили по этому случаю написать внеочередное письмо, точнее, открытку. Торжественно клянусь обоих вас изваять и поставить на площадях, чтобы все знали про настоящих гениев и настоящих друзей. Но для этого придется подождать еще десять лет, пока не выйду на свободу. Пью ледяную воду при нашей жаре за ваше здоровье. Вино выпьем после. Илья».

Кто и как ему в дальнейшем способствовал, — этого я не знаю. Помнится, как-то узнал, что пришлось Илье после этой

нежданной, без особых хлопот свалившейся с неба победы отбывать не десять лет, а всего лишь пять. Или даже четыре. Какое-то время спустя в Кишиневе, куда попал на сей раз не по адвокатским, а журналистским делам, я повстречался с одним архитектором, который кое-что знал о его дальнейшей судьбе. Илья снова женился на «разведенке» из Черновиц, и та в самом начале семидесятых увезла ваятеля за границу. Она имела право, а ему никто не препятствовал: невелика потеря...

Перед отъездом Илья отыскал своего благодетеля, который, позарившись на шальные деньги, создал ему в лагере скульптурную мастерскую. Тот все еще, где-то в Сибири, дослуживал стаж, чтобы выйти на пенсию и вернуться в Молдавию. Отыскал — и на средства небедной жены послал ему щедрый подарок. В память о прошлом — с припиской: «признательный И.» Настолько, видимо, щедрый, что, не зная о том, каким точно он был, этот подарок, о нем говорил «весь Кишинев». Даже если все это лажа, даже если «весь Кишинев» свелся к паре-другой хороших знакомых, все равно слух говорит сам за себя.

Будто бы много позже, когда наступила иная эпоха, «Патриот Родины» вновь побывал на полях боевой славы и возложил цветы к тому постаменту, где вместо плешивого Ильича высился уже иной народный герой. У которого с шевелюрой не было никаких проблем. Ну, а мест для изваяний двух истинных гениев — моего друга-художника и меня самого — в тех краях, естественно, не нашлось. И никогда не найдется. Ошалевший от радостной вести Илья просто погорячился, торжественно пообещав запечатлеть нас в камне и бронзе, хотя мы ему простили бы любую трактовку поредевших наших волос.

Труп нашли утром. Он лежал поперек пешеходной дорожки, и в предрассветной темноте на него наткнулся ранний прохожий. Подумал, что пьяный — свалился ночью и замерз. Но, присмотревшись, увидел на снегу темное кровавое пятно, запекшееся ледяной коркой.

На крик поднялась вся улица — бежали, натягивая ватники и шубы прямо поверх белья. В суете и спешке затоптали следы. Когда прибыла наконец милиция, никто уже не в силах был отличить, где старый след, где новый. Служебная собака, потоптавшись, так и осталась на месте, виновато глядя на поводья.

Труп успели повернуть и даже обшарить карманы — не терпелось узнать, кто он, этот несчастный парень с зияющей раной на голове. Документы были на месте: убитого звали Антон Гусаров, учился он на втором курсе пединститута и от роду ему еще не было двадцати лет.

С чего начать? Какие улики искать и где? Любая версия, которую выдвигал следователь, тут же отвергалась, не выдерживая напора несомненных и доказанных фактов.

Месть? Но у Антона не было врагов. Ни с кем он не ссорился, никому не переходил дорогу. Допросили десятки студентов, преподавателей, знакомых, соседей — и без результата.

Зависть? Какие могли быть завистники у Антона? Чему завидовать — отметкам в зачетной книжке? А больше ничем он прославиться не успел.

Корысть? Проверили даже эту версию, сколь бы абсурдной она ни казалась: ведь студенческая стипендия — весь доход Антона Гусарова.

Дело было в начале тридцатых — отец Антона погиб еще на гражданской, воюя то ли за белых, то ли за красных, то ли вовсе ни за кого — попался кому-то под горячую руку. Из редких писем жене, чудом дошедших, можно было понять, что сначала он дезертировал, потом, скитаясь, прибивался на время к каким-то частям. Пытался добраться до дома — не удалось. Мать Антона, учительница, умерла несколько лет спустя. Соседи и друзья не дали пропасть мальчишке. Был еще старший брат, работал в Харькове на заводе, кормил свою семью. Когда Антону было совсем худо, брат затягивал поясок потуже, шел на почту, и Антон получал перевод...

Но ведь преступник, ожидающий в темноте прохожего-одиночку, обычно не изучает заранее достаток будущей жертвы. У него свой профессиональный риск: иногда повезет, иногда промахнется. В любом случае он ищет добычу, ради которой убил. На этот раз при убитом остался бумажник, где почти вся стипендия, полученная три дня назад, и часы — хоть и плохонькие, но все же часы. При конфискациях, например, в те годы их относили не просто к «имуществу», они попадали в категорию «ценности» — протоколы и «описи» содержали тогда такую графу. Убийца Гусарова «ценность» почему-то не взял. И просто «имущество» — деньги — не взял тоже.

Не нашлось только перстня, грубого металлического перстня, который Антон всегда носил на правой руке. Это было такой редкостью в те времена (студент с кольцом!), что запомнилось всем.

Харьковский брат рассказывал: этот перстень носил когда-то отец. Массивное кольцо из меди («самоварное золото», — говорила мать) он купил где-то на барахолке. А порадоваться ему не успел. Через несколько месяцев его забрали в армию (то ли красные, то ли белые...) — уходя, перстень оставил дома. «Может, и не вернусь», — сказал он, прощаясь. Когда отца убили, перстень стала носить мать. В кольце была потайная ниша: туда положила она крохотное фото отца.

Цена перстню грош, но для Антона это было не просто кольцо, а память. После смерти матери он с ним не расставался. И вот его нет...

Эта пропажа подтверждала, казалось, версию об убийстве ради наживы. Ведь убийца мог и не знать, что кольцо из меди, для несведущего оно вполне гляделось как золотое. Массивное. Не самоварное, а червонное.

Где гарантия, однако, что кольцо не снял кто-то из доброхотов, суетившихся возле трупа? Сколько их там было — в давке и темноте? Мог затесаться и мародер. Без единого доказательства, даже самого захудалого, версия о корыстном убийстве не имела никакой перспективы.

Шаг за шагом, минута за минутой восстановило следствие последний день Антона Гусарова. Ничем не примечательный день. Вечером был в городской читальне. Ушел едва ли не последним. Один. Труп нашли на улице, по которой он всегда ходил, возвращаясь из читальни домой — никогда не просыпавшую комнатенку снимал он почти задаром у доживавшей свой век бывшей служанки бывших господ. Та жила у дочери, нянчила внуков, у себя не бывала неделями и ничего про Антона рассказать не могла.

Все говорило за то, что убили его именно здесь — там, где был найден труп. Притом сразу — одним ударом. Напавал, как принято говорить. Орудия убийства найти не смогли.

Об Антоне скорбели его друзья — парень он был хоть и не компанейский — читальня была ему милее студенческих посиделок, — но приветливый и не скряга. У самого денег в обрез, а на папиросы никому не отказывал и куском колбасы охотно делился. Провожать его в последний путь пришел чуть ли не целиком весь институт. Больше всех убивалась Лида Ветрова, студентка из той же группы, что он. Это казалось странным: ведь подругой Антона ее никогда не считали. Невестой — тем более. А на похоронах рыдала, словно жена: слишком уж сильно, если просто знакомая...

Загадочное преступление, убийство тем более, всегда обостряет внимание окружающих, заставляет их подмечать все необычное, странное, житейской логике недоступное. С их

помощью раскрыто немало дел. Опытный следователь никогда не позволит себе отмахнуться от каких бы то ни было подозрений особо бдительных граждан. Не отмахнулся и «наш».

— Вы любили Гусарова? — спросил он у Лиды.

— Вообще нет, с чего вы взяли? — возмутилась она.

— Почему же вы так переживаете его гибель?

— Каждый переживает по-своему. У могилы, по-вашему, не плачут, а веселятся?

«Повышенно возбуждима, чрезмерно эмоциональна, — писал о ней следователь в докладе своем прокурору, давая характеристику главным свидетелям. Прокурор затребовал этот доклад, когда следствие явно зашло в тупик. — На вопросы отвечает нервно и дерзко. Скорее всего, что-то знает, но упорно скрывает. Ничем, что говорило бы о ее причастности к преступлению, следствие, однако, не располагает».

И то верно: слезы! Ну, плакала... Разве это улика?

— Вы собирались за Гусарова замуж, не так ли? — с нарочитой небрежностью подал реплику следователь. Просто так — на всякий случай. Никакой информации у него не было — он подумал: а может, клюнет?..

Не клюнуло, нет, — встретило жесткий отпор. Слишком жесткий, если следователь всего лишь ошибся. Стало ясно — задел за живое...

— Да вы что! — вспыхнула Лида. — Кто это вам сказал? Я выхожу за другого. На этих днях...

Они долго еще говорили — об Антоне, о ребятах с их курса, перебирали в памяти все, что могло бы пролить свет на историю поистине темную. Но и эта, задушевная вроде, беседа следствию ничего не дала.

— Его мог убить какой-нибудь хулиган, — предположила Лида. — Начал приставать, вы ведь знаете, что у нас это не редкость. Антон не такой человек, чтобы пройти мимо. Хулиганы таким не прощают. Вот и убили. Могло так быть? По-моему, вполне.

Опросили всю улицу и даже соседние переулки. Но никто не слышал ни крика, ни ругани, ни просто громкого разговора. Никто! А кругом жили люди, много людей. Могло-то быть все, а что действительно было, о том не узнал никто.

К тому, кто убил, ни одна нить не вела, он исчез, растворился в толпе, но дело однако же не закрыли. Рано было его закрывать. И стыдно. Весь город был взбудоражен этим убийством, о нем говорили повсюду, писали в местной газете. А следствие оказалось бессильным.

Тем временем Лида Ветрова действительно вышла замуж. Не через несколько дней, как обещала, чуть позже, но все-таки вышла. Счастливым избранником оказался приятель Антона, тоже студент, будущий медик Виталий Большаков. Сразу же после свадьбы она уехала с ним к его родным. Брак казался слишком внезапным, но вовсе не странным. О Виталии шла добрая слава. Это был парень серьезный и умный, его студенческие работы отмечали профессора, предрекая ему успехи на избранном поприще. У женской половины городского студенчества он тоже имел успех — практически без взаимности: не нашлось ни одной, сумевшей обратить на себя его равнодушный взор. Теперь, после этой внезапной свадьбы, к загадке убийства прибавилась еще и загадка потаенной любви: о близком знакомстве тех, кто стал вдруг женою и мужем, никто до тех пор никогда не слышал.

Наступил сентябрь, все вернулись после каникул, все, кроме Виталия и Лиды. Потом пришло письмо. Лида писала, что ждет ребенка и что решила год пропустить, а там видно будет: наверно, перейдет на заочное. Про Виталия в письме не было ни слова. И сам он в свой мединститут не вернулся тоже.

Загадок стало еще больше — ни к одной из них подобрать ключ следствие не смогло.

Постепенно о них забыли — о Лиде и о Виталии. Забыли и об Антоне: жизнь есть жизнь. Перевязанные веревкой, три пухлых тома лежали в архивном шкафу — время от времени их возвращали снова на следовательский стол. Случалось ли где-то убийство или грабеж, появлялась ли бандитская шайка — всюду искали след, который мог бы привести к тому злополучному делу. Искали, но не находили.

Бесследно исчез и перстень. Где только не пытались его найти: у ювелиров и спекулянтов, на толкучках и даже в пивных. Тщетно! Скорее всего, убийца, убедившись в своей ошибке, просто выбросил эту медяшку, сулившую ему только разоблачение.

Много лет спустя следствие возобновилось. Арестовали одного грабителя, и он в порыве раскаяния признался, что на душе его есть еще один грех: давным-давно оглушил он зимним вечером какого-то мужчину, чтобы ограбить, но, слышав шаги, убежал. Сразу вспомнили об Антоне, проверяли эту версию дотошно и долго — и все зря! Оказалось, речь идет о случае совершенно другом, про который и вовсе никто не знал: потерпевший легко оправился от удара и в милицию не обратился.

Потом пришел сигнал из одной колонии: рецидивист с солидным стажем похвалялся умением выходить сухим из воды. Среди его побед было убийство, совершенное примерно в то самое время, когда погиб Гусаров. Рецидивиста этапировали, снова подняли все дело и опять впустую: похоже, преступник просто морочил голову следствию, чтобы скрасить немного однообразие лагерной жизни.

Справедливость, казалось, не восторжествует уже никогда.

Человека, который сидит передо мной, нельзя назвать стариком. Не только потому, что ему еще нет шестидесяти. В его облике вообще нет ничего старческого. Он даже элегантен, тщательно выглаженный костюм спортивного покроя хорошо сочетается с модной стрижкой густых серебристых волос, ухоженные руки поглаживают только что купленный альбом цветных репродукций — он лежит, дрожа, у него на коленях, и мне все время кажется, что вот-вот шлепнется на пол.

Но удивительно пустой, ничего не выражающий взгляд у этого человека. И такой ровный, такой бесцветный голос, хотя рассказывает он историю поистине страшную.

Его зовут Виталий Романович Большаков, он врач, хирург, готовился защищать кандидатскую, но не вышло, текучка заела — у хирурга всегда так много работы! Интересуется музыкой, литературой, искусством, жаль — свободного времени так мало, так мало... Подумать только — приехал в Москву, а нет возможности походить по музеям: надо сразу же возвращаться, в больнице без него ну просто никак... Обожает Стендаля — лишь для него находится время всегда: перечитывал столько раз, что некоторые страницы может цитировать наизусть.

Суждения доктора не банальны, за ними видна не нахватанность, а мысль, он из тех, про кого говорят: интересный собеседник. Отмечаю это невольно, думая совсем о другом. О том, что он счел нужным мне рассказать и что исключает возможность бесед на посторонние темы.

Рассказ этот не исповедь, а информация, без которой наш разговор вообще не имел бы смысла. Он приехал ко мне специально, по чьей-то рекомендации, в надежде быть понятым и получить деловой совет. И сейчас ему не до Стендаля, хотя по дороге ко мне редкий альбом он все же купил.

Антон упал, даже не вскрикнув, сразу, после первого же удара.

— Странно, — говорит Большаков, — меня всегда считали щедрым. Я и сам так думал. Оказалось, в определенные моменты рука обретает силу.

И я смотрю на его руки, ухоженные, тонкие, и стараюсь представить себе тот «определенный момент», когда они обрели силу, чтобы убить человека. Не врага — товарища. Пусть счастливого соперника, но все же товарища. И даже друга.

Любовь слепа? Да, пожалуй. Неразделенная, она еще и зорка. Она видит то, что не заметно равнодушному взгляду. Ибо смотрит иначе — напряженно и ревниво. Для всех Лида и Антон были просто приятелями из общей компании. Для Виталия — влюбленными. Он заметил это. Как? Кто знает... Заметил, и все. И понял, что это — всерьез. Он следил за каждым их шагом, ничем не выдавая себя. Зачем? Ясно — зачем: он очень любил Лиду. Больше жизни. Так он мне и сказал: больше жизни. Своей и чужой.

Его считали застенчивым. А он был просто скрытным. Никто не знал, как он страдает. Он научился прятать свои чувства за дежурной улыбкой. За молчанием. За упорством, с каким одолевал пугающие своей толщиной научные труды.

Что было ему делать? Уехать и постараться все забыть? Или выяснить отношения в надежде, что его неземная любовь не останется без ответа? Трудно сказать, как он поступил бы, если бы не слишком преуспел в своей слежке: оказалось, что Лида, от всех таясь, дважды посетила врача.

Поликлиника при больнице была учебной базой того института, где учился Виталий. Узнать секрет не составило никакого труда.

Итак, скоро будет ребенок. Обычно, когда врач сообщал эту новость незамужней девчонке, были слезы, испуг. Но Лида обрадовалась: с отцом ребенка распишется через месяц, так она сказала врачу.

Вот тогда и созрело решение. Оно казалось безумным, Виталий сам не верил, что исполнит его. «Убить, убить», — твердил он себе, но думалось, что это только слова — от бессилия и отчаяния.

Так думалось. А делалось другое: вечерами уходил он «на работу» — изучал путь Антона от читальни домой, присматривался, где меньше пешеходов, где раньше гаснут окна в домах. И еще — заранее украл из дежурки тяжелую мраморную пепельницу, припрятав ее до поры до времени между двумя тюфяками.

— Допустим, вам удалось бы скрыться, — говорю я Большакову. Мне тем легче это допустить, что я знаю определенно: ему удалось. — Допустим. Но была ли гарантия, что Лида потом выйдет замуж за вас?

Опять я вижу пустые, остановившиеся глаза, слегка оживленные снисходительной усмешкой.

— Гарантии не было, был расчет. Избавиться от ребенка уже поздно, а стать, как теперь выражаются, матерью-одиночкой — стыдно. Какой там стыдно — немыслимо: я знал нравы ее среды... Для нее, казалось, после смерти Антона уже не было выхода, а для меня это был единственный шанс: наши интересы совпали. Шанс оказался счастливым.

Счастливым?! Как страшно звучит это слово в рассказе о кровавой истории, искалечившей несколько судеб! И он сам, понимая это, вносит поправку.

— Не счастливым, конечно, просто удачным. Иначе говоря, все вышло именно так, как я рассчитал. Когда Антона не стало, я сказал Лиде, что он доверительно раскрыл мне их тайну, что я знаю все, решительно все. И, ничем не выдав своих чувств, предложил исполнить дружеский долг перед несчаст-

ным Антоном, покрыть грех — жениться на ней и признать ребенка своим. Для нее это был тоже единственный шанс. Наверно, если бы я предстал перед нею влюбленным, который воспользовался ее несчастьем, она отказалась бы... А так — могла ли она отказаться?

— Вы, однако, отличный психолог, — заметил я.

— Пустяк... — Он улыбнулся застенчиво, совсем по-детски. — Свойство профессии: любой врач обязан быть психологом. Я знал, что она не любит меня, и не добивался любви. Но когда-то она должна была забыть того, а жизнь — взять свое. Так мы и жили: жена без любви, а муж — с любовью, которую приходилось скрывать. Но Лида была моей, это самое главное... Все-му остальному — рано ли, поздно ли — пришел бы свой час.

Оба они окончили институты, только Лиде работать не пришлось. После старшей, Машеньки, родилось еще двое: сын и дочь. А Виталий бурно делал карьеру: его слава хирурга перешагнула границы родного города, сотни людей стремились, чтобы он облегчил их недуги. И он облегчал, получая в ответ слова благодарности, взволнованные письма, подарки и цветы. Он действительно был хороший хирург и хороший психолог. И еще о нем говорили как об очень душевном, счастливом и мужественном человеке.

О мужественном — потому что однажды он спас жизнь не на операционном столе, а в темном переулке, где два хулигана напали на незащитную женщину и, пытаясь ее ограбить, нанесли ей несколько тяжких ран. Доктор издали услышал крики, не мешкая побежал на помощь. Он дрался, себя не щадя. Избитый, окровавленный, он победил. И даже помог задержать одного из бандитов. В тот вечер Лида, прибежавшая в больницу, где коллеги перевязывали его раны, с необычной, восторженной нежностью прижалась к нему. И поцеловала так, что воспоминание об этом поцелуе жгло его потом всю жизнь.

Потом была война. Он вернулся домой с двумя рядами орденских планок, с нашивками за ранения: ведь иногда приходилось оперировать чуть ли не на передовой. Вернулся человеком, честно исполнившим воинский долг.

Впрочем, дома уже не было — его разрушила война. И матери не было тоже — она умерла. А тут пришло приглашение

■

работать в том институте, где он когда-то начинал свою студенческую жизнь. Возвращаться было боязно, тревожно, но Лида настаивала, да и времени прошло слишком уж много.

— И вы решились?

Он пожимает плечми:

— А что было делать? Лида могла бы что-нибудь заподозрить, возражай я слишком решительно. Да и, сказать по правде, тянуло туда. Какая-то магическая сила, которой нет названия...

Они вернулись в город своей молодости, где все напоминало о прошлом, где каждый куст казался сыщиком, а каждый звонок — звонком оттуда. Так прошло еще одиннадцать лет семейной идиллии. Уже поседела голова, и появился внук — внук Антона и Лиды, которого он встречал на пороге родильного дома со слезами на глазах. Никто не знал, что это были за слезы...

Как-то поздней осенью он поехал с Лидой на Кавказ: все дети уже выросли, даже Алена, самая младшая, кончала школу. Она-то и натворила беду. Искала какую-то затерявшуюся книгу и в куче рухляди на антресолях нашла маленький сверточек, запрятанный в укромном углу.

Это было кольцо — слегка почерневшая медяшка, вполне пригодная, однако, для того, чтобы показаться золотом несведущей девочке. И она надела его, это кольцо, шутки ради на школьный вечер, ожидая вопроса («Оно что — обручальное?») и заранее приготовив ответ: «Понимай, как хочешь». Вот было бы смеху...

Но смеха не получилось. Директором школы был одноклассник ее родителей, в далекие годы их юности он учился вместе с Антоном и Лидой. Строгий педагог, воспитанный в старых советских нравах, он терпеть не мог побрякушек, которыми стали теперь щеголять иные его ученицы. И, заметив у Алены кольцо, подозвал — для внушения.

Двадцать шесть лет не стерли из его памяти воспоминания о перстне Антона. О перстне, который тогда искали и не нашли.

Той же ночью он отнес его в прокуратуру..

— Как же это вы оплошали? — спрашиваю я Большакова. — Все вроде бы предусмотрели, и вот, пожалуйста... Перстень-то, на что он вам сдался?

Большаков молчит. Долго молчит.

— Там была карточка Лиды, — тихо ответил он наконец.

Еще не было в помине судебной психологии как науки, а наблюдательные люди уже заметили, что убийцы не только жестоки, но подчас и сентиментальны. Передо мной сидел один из них — ничем вроде бы не примечательный экземпляр, многократно исследованный и описанный в специальной литературе. Но когда он заплакал от умиления, вспоминая, как, рискуя попасться, задержался возле своей бездыханной жертвы, чтобы сорвать этот перстень, и как потом пронес его через годы, как прятал от жены, детей и знакомых, — честное слово, я почувствовал холодок на спине...

Конечно, это чистая случайность — то, что Алена наткнулась на кольцо и что директор школы узнал его. Но, как известно, в каждой случайности проявляется закономерность: истина неизбежно раскрывается и правда в конце концов окончательно торжествует. На том и должно стоять правосудие. Но стоит не всегда. Далеко не всегда. С каждым годом все меньше и меньше. Потому в неизбежность раскрытия истины никто больше не верит. И я ни за что не поверил бы, если бы сам Большаков, жертва этого торжества, не сидел предо мною, живой, во плоти, и не вел безучастно свой жуткий рассказ.

Итак, преступление раскрыто — не имеет значения, что по чистой случайности. И что заслуги в том следствия нет никакой. Все же раскрыто.

Раскрыто... А дальше? Со времени убийства прошло двадцать шесть лет. Формально они не помеха, чтобы убийцу постигла кара: таков закон, существовавший в то время. А вот нужно ли его карать — вопрос, на который не так-то легко ответить.

Судить пришлось уже не того, кто тогда убивал, — совсем другого. Человека иной судьбы. Имевшего биографию, от которой не отмахнуться. Послужной список, говоривший сам за себя. Уже наказанного по сути — унижительной, лживой жиз-

нью, вечным страхом перед разоблачением, не имевшего, вероятно, за все это время ни одного спокойного часа. Ни день, ни год, ни десять лет тюрьмы реального смысла уже не имели, а казнить его по закону было нельзя. Да никто и не стал бы... Оставалась пустая формальность — наказание, несколько не отвечавшее мере содеянного. Просто символ справедливости, наглядное свидетельство того, что правда — понятие не абстрактное.


И он получил шесть лет. И сколько-то вроде бы отбыл. Вряд ли все шесть, но сколько-то все-таки отбыл. По железным правилам соцреализма его должны были с гневом отвергнуть и жена, и дети. Но нет, жена ждала его — потрясенная, с опустошенной душой. Слишком поздно было ей начинать жизнь сначала. Двадцать шесть совместно прожитых лет — для нее это была не просто безликая цифра. И дети его — родные дети — ждали тоже: он был преступник, но он был и отец.

Только Машенька не простила. Совет, которого он ждал от меня и ради которого специально приехал, как раз ее и касался: как сменить ей фамилию, как сделать Гусаровой, как вернуть ей хотя бы то, что он еще мог вернуть?

Машенька, выйдя замуж, из преданности тому, кого считала отцом, не взяла фамилию мужа. Так и осталась Большаковой. Теперь она твердо решила носить фамилию родного отца, воздавая хотя бы этим дань его памяти. Большаков безуспешно ей помогал. Но местные власти почему-то просьбе не вняли. «Берите мужнину», — говорили. «Не возьму!» — стояла она на своем. За тем Большаков ко мне и приехал — в надежде, что я помогу.

Помощь он получил — такой орешек был мне тогда по зубам. Но, кажется, он ждал чего-то другого. Скорее всего хотел снять судимость, хотя сам об этом ничего не сказал. Полагал, что я и так догадаюсь? Я, конечно же, догадался, но виду не подал, и, не открывшись, тема закрылась. На закате карьеры даже в те времена судимость уже ничему помешать не могла.

Приговор, который он сам себе вынес, давности был не подвластен. Ему оставалось прожить еще четырнадцать лет — это узнал я впоследствии из письма, которое прислала мне Машенька. Прожить, замкнувшись в себе, сторонясь жены и де-



тей, не бывая нигде, кроме больницы, не смея смотреть людям в глаза.

Теперь, по прошествии стольких лет, мне почему-то кажется, что и эта стыдливость была всего лишь маской, которую он на себя нацепил. Последней ролью, в которую вжился. Ролью грешника, готового к покаянию, но сил не имеющего сказать это вслух. Угнетенного тем, что никто ему не сострадает.

Впрочем, кто знает в точности, что там было у него на душе. Всех перехитрил, добился всего, к чему стремился, прожил счастливую жизнь и умер несчастнейшим из несчастных.

ВЕНЕЦИАНСКИЕ МЕДАЛЬОНЫ

Дело Березкина вел я лет сорок назад: в самом конце шестидесятых. Безумно давно. До сих пор понять не могу, почему оно так мне врезалось в память. Помню такие подробности, словно все это было вчера. С чего бы это — ведь скучное, банальное дело: кража есть кража. Разве что необычность украденного предмета несколько отличала ее от других, ей подобных.

Предмет, впрочем, был не один — много. Много маленьких венецианских медальонов — изящных миниатюр.

За ними долго охотился известный в кругу собирателей старины музыкант Таманский, скромный скрипач одного из симфонических оркестров Москвы. Всю свою жизнь он провел за последним пультом, так и не приблизившись к дирижеру хотя бы на один стул. Похоже, и не стремился. Играл он, все говорят, неплохо, но страсть к скрипке, даже если она и была, не шла ни в какое сравнение со страстью к старинным вещицам. Его «глаз-ватерпас» безошибочно и моментально выуживал из груды ничем не примечательного хлама отнюдь не мнимые ценности.

Выхватил и на сей раз — притом по чистой случайности, совсем не там, где искал! У одной престарелой знакомицы, распродававшей за бесценок дядюшкино наследство и ничего в нем не понимавшей, они и нашлись — миниатюры редкостной красоты. А жить музыканту оставалось совсем ничего, буквально считанные недели. Он это знал. И все же купил. А

сыну, единственному продолжателю рода, сказал перед смертью: «Смотри, не промотай...»

Таманский-младший был одаренным художником, добрым, но безалаберным человеком, для которого другом мог стать первый встречный с бутылкой в кармане. Пьянки под модным в ту пору девизом «Вздоргнем!» проходили обычно на старой отцовской даче. Туда же он перевез и часть отцовской коллекции.

Однажды медальоны исчезли. Все до единого. Таманского не было на даче несколько дней. Приехав, он сразу увидел на стене зияющую пустоту.

Никаких следов взлома обнаружить не удалось.

Ключ от дачи, кроме хозяина, имели еще двое: сторож поселка, который зимой два-три раза в неделю топил печь и прибирал комнаты, и приятель Таманского Березкин, относившийся к категории тех, кого милицейские протоколы советских времен называли людьми «без определенных занятий». Был он хоть и лентяем, но мастером на все руки, где-то и как-то всегда подрабатывал: то замещал уходивших в отпуск монтеров и слесарей, то устраивался лифтером, но вскоре же увольнялся, то клеил обои и пропалывал грядки у соседних дачевладельцев.

Доброжелательный и услужливый, он умел расположить, вызвать симпатию, но никто, разумеется, и никогда не принимал его хоть как-то всерьез. Совсем в давнюю пору для таких, как он, существовало давно исчезнувшее из лексикона понятие «приживала», да он, собственно, приживалой и был, чудом каждый раз ускользая от суровых блюстителей «паспортного режима»: дача Таманского не раз служила ему убежищем. Старомодно одетый (даже ветошь на нем гляделась изысканно), с допотопной, уже не звучащей сегодня речью, в которую вплетались чужеродные ей словечки из новояза, он казался откопаным в музейных подвалах реликтом, с которого еще не успели стряхнуть нафталин.

Ясное дело: под подозрением оказался и он.

— Ерунда! — возмутился Таманский, когда следователь поделился с ним этой версией. — Чушь какая-то... Вам просто лень искать преступника, и вы беретесь за первого, кто пришел на ум.

Это было, конечно, совсем не так: первой пришла мысль о стороже. Но против нее появилось сразу множество аргументов.

Сторожа в этой семье знали давно. Он был верным помощником еще Таманскому-отцу. И за все эти годы в доме ничего не пропало.

Да и что бы с этими медальонами сторож стал делать? Едва ли он понес бы их в антикварный магазин — не так же он глуп, чтобы сразу себя выдать. Сбыть спекулянту? Но тут нужен спекулянт особый, из очень узкого круга знающих толк в предметах искусства, а сторож годами не бывал в Москве, с пришедшей публикой не знался, вел замкнутую, тихую жизнь. Проверили все его связи — многотрудная эта работа не дала в руки следствия ни одной ниточки, за которую можно было бы потянуть.

Третий довод был, пожалуй, еще сильнее, чем первые два. Ведь не мог же сторож не понимать, что подозрение едва ли не прежде всего падет именно на него. Любой на его месте постарался бы инсценировать взлом или как-то иначе обставить кражу, чтобы отвести подозрение от себя.

Правда, этот довод говорил и в пользу Березкина. И он, друг дома, заведомо оказывался в числе кандидатов на скамью подсудимых. Уж он-то, конечно, был достаточно умен, чтобы все предвидеть, и, решившись на кражу, обеспечил бы, как говорится, свои тылы.

Да, это был довод за Березкина. Но следствие его в расчет не взяло. Верх одержали другие доводы. Те, что не за, а против. Прокурор согласился. И Березкина отдали под суд.

— Послушайте, сударь, — воскликнул он, едва конвой оставил нас вдвоем. — Происходит нечто совсем inferнальное. Голова идет кругом. Шалею от ваших юридических дефиниций. В этой, прошу прощения, науке сам черт ногу сломит. Я уже проштудировал несколько монографий, которые мне передал мой друг Таманский, — мозга заходит за мозг, и нет никакого просвета. Ученость свою демонстрируют, а взглядишься — одна пустота. Сократы, прости Господи...

Он вытащил из кармана кипу мелко исписанных листочков и извлек оттуда один, где пестрели красные галочки.

— Вот, пожалуйста: «косвенные улики, замыкающиеся в нерасторжимую цепь...» Вы способны по-человечески объяснить, что сие значит?

Я попробовал, но он перебил меня:

— Критерии, критерии!.. Как узнать, какая цепь расторжима, какая нет? Замкнулась или не совсем?

Это был не праздный вопрос — ведь против Березкина нашлись только косвенные улики. И мне тоже казалось, что в нерасторжимую цепь они не замкнулись.

— Вот видите! — вскинулся Березкин. В его голосе послышалось нечто большее, чем укор. — Вы думаете так, я думаю этак, а следовательно совсем иначе. Какая же это наука, если каждый может думать по-своему, а проверить ничего нельзя? Уж вы как хотите, а я науку без объективных критериев вообще не признаю за науку. Вам есть что возразить?

Спорить с ним было интересно, в нем чувствовался природный дар полемиста, нарочито обостряющего проблему и доводящего доводы оппонента до явного абсурда: прием, известный еще спорщикам в Древнем Риме. Раздражала, однако, его желчь, его грубость, тем более непонятная, что обращался он к своему защитнику, пришедшему, чтобы помочь.

— За вас, — сказал я, — Таманский бьется, как лев.

Он поморщился:

— Лучше бы крепче запирал свои проклятые медальоны. Кто-то украл, а страдать мне.

Я невольно подмечал, как он прячет взгляд, как ловко уходит от вопросов по существу. Стоило мне коснуться какой-нибудь важной улики, он махал рукой:

— Чепуха!

И тут же переходил к очередным философическим парадоксам, любясь тем, как его собеседник тушуетя, не желая участвовать в пустых и бесплодных спорах, или просил достать какую-нибудь научную книгу, — наверно, чтобы я не забыл, с каким эрудитом имею дело.

Наша беседа уже подходила к концу, когда я напомнил:

— Против вас еще ваша прежняя судимость. Формально она не в счет, но фактически... Ведь почти восемь лет назад по странному совпадению вы украли деньги у другого близкого вам человека.

Березкин вспыхнул:

— Это что — доказательство?

— Нет, конечно, — подтвердил я... — Но все же довод.

Та давняя история смущала меня, по правде сказать, ничуть не меньше, чем новая. Снова кража, и снова у близкого друга! Как водится, к делу подшили старый тот приговор, из него вытекало самое главное: у художника (тоже художника!) Головатого исчезло — только-только ввели новые деньги-хрущевки — около ста рублей, почти сплошь красненькие десятки, он не нашел их в шкапулке, где оставил вечером накануне, а в квартире за это время никто не входил. Лишь Березкин заночевал. И сам хозяин не отлучался.

Получалось так: или Головатый украл сам у себя, или это сделал Березкин. Третьего не дано.

Не знаю уж, какая сила заставила Головатого из-за такой мелочевки затеять уголовное дело. Он, однако, затеял, и Березкина осудили. Условно, но осудили. Доказательств, по-моему, не было никаких, но мое ли дело задним числом ниспровергать приговор, если меня об этом не просят?

— Почерк, похоже, у вас неизменный, — не удержался я, чтобы не съязвить. — Заводите дружбу с художником, входите в доверие, становитесь завсегдаем... Ну, а дальше проще простого — выбрать объект. Все к вашим услугам. Аппетиты растут: вчера всего-навсего сотня, сегодня уже медальоны, которые тянут на тысячи, завтра...

— Осторожней на поворотах, милостивый государь! — с достоинством прервал меня Березкин. — Покорнейше просил бы не обобщать. Склонность к поспешным обобщениям не украшает специалиста. Хотя очень многие, даже причисляющие себя к образованным людям, такому пороку подвержены.

Он опять вводил меня от конкретных и не очень ему выгодных фактов к разговорам на вольные темы. Но — напрасно: не на того попал.

— Я отвечу вам в вашей тональности. И вашими же словами: покорнейше просил бы не мешать мне вас защищать. Приговор по старому делу психологически давит на судей, хотите вы этого или нет. Тем более что от сходства сюжетов никуда не уйти: оно налицо. Предлагаю обжаловать тот приговор. Дока-

зательств вины вашей нет, оговор очевиден. По крайней мере юридически...

— В том-то и дело, что юридически. Только юридически. Для порядочного человека маловато. — Он был прекрасен в своем благородстве. — Боюсь, вам этого не понять.

— Порядочный человек, мне кажется, не переходит на личности, — осадил я Березкина. — Тем более, если личности ему не знакомы. И к тому же, вы верно заметили, рекомендуется избегать поспешных обобщений, не так ли?

Ему понравился мой ответ.

— А вам палец в рот не клади. — Наконец-то я дождался его похвалы. — С вами надо поаккуратней.

Мне уже не казалось, что это спектакль. Он ничего не разыгрывал, представляя таким, каков есть. Надел на себя когда-то маску и уже не снял. Остался в той роли, какую избрал. И с ней не расстался. Роль стала сутью.

— Окажите мне честь... — Речь все та же, но уже без высоких нот, без надменного пафоса. — Не надо меня попрекать ошибками юности. — Это он пошутил: даже семь лет назад его юность была далеко позади. — Открою вам небольшую тайну: я на самом деле тогда взял его деньги. Впрочем, почему — его? Свои! Он мне задолжал. Около тысячи, представляете? Крохи, которые я собирал несколько лет. Выклянчил... Взять взял, а вернуть не хотел. «Скажи спасибо, что я тебя угощаю». Тварь такая — как вам это понравится? Что-то новое в мире животных... А я считал его своим другом. Дурак-дуралей...

Не хотелось вторгаться своими вопросами в причудливый ход его мыслей, вступать в пикировку, дразнить. Я понял: заговорив, он доскажет все до конца. Так и вышло, но рваная краткость рассказа побуждала мысленно восстанавливать недостающие звенья.

— Шестьдесят или семьдесят, точно не помню, вместо тысячи! Вдумайтесь: вместо тысячи! В сущности, небольшие проценты со вклада. — Он уставился на меня, ожидая поддержки. Я кивнул... — Символический жест, не больше. Чтобы не слишком наглед. Просто дружеское напоминание: долги полагаются возвращать. А он побежал к прокурору. — Хриплый смешок выражал всю меру того омерзения, которое он испытывал

к бывшему другу. — О времена, о нравы! — как сказал Шекспир в полном собрании своих сочинений. Извините, каламбур с бородой, свежие до меня не доходят: тюремные стены слишком толсты.

Его опять потянуло на треп. Я вмешался:

— Почему же вы этот довод не использовали в суде? Он бы все объяснил...

Березкин вздохнул:

— У нас с вами, милейший, диалога не выйдет. Ваш унылый прагматизм меня удручает. Что это значит: «использовать довод»? Какой-то плохой перевод с эсперанто... Порядочные люди, милостивый государь, не бегают в суд за долгами. А принимают решение: с бесчестным должником — никаких отношений. И все. Инцидент исчерпан. К тому же... Если даже оставаться прагматиком... Без морали и принципов... На что вы меня все время почему-то толкаете... Так вот, если даже... — Он умело играл на нервах, возможно, этого не сознавая. — Как бы я мог доказать — про долг и про сумму? Я ведь расписок не брал. Кто бы мог мне поверить? Тем более в этом вашем... — Кривая ухмылка выражала не иронию, а презрение. — В суде...

За четыре дня до того, как Таманский обнаружил пропажу, Березкин «с неустановленным лицом женского пола» приезжал на дачу — их случайно видела из окна своего дома учительница местной школы. Аристократ духа, вдохновенный мыслитель, чуть ли не небожитель, он не чужд был, однако, греховных утех. И от этого становился мне ближе. Человечней. А значит — понятней.

«Неустановленное» лицо вскоре стало вполне установленным. Лина Артемова, чертежница одного московского института, подтвердила, что вместе с Березкиным она ездила на дачу к Таманскому и что медальоны на стене, хоть и мельком, видела своими глазами. Вечер она провела в другой комнате, но Березкин часто отлучался, оставляя ее в печальном одиночестве разглядывать потрепанные журналы десятилетней давности, и тогда из комнаты, где висят медальоны, она слышала «подозрительный шум».

Это, видимо, почиталось уликой. О юстиция, юстиция, что, бедняжка, с тобою творилось?!

На обратном пути в Москву у Березкина не было ни сумки, ни чемодана — честно отмечена в протоколе допроса Артемовой и эта деталь. Но ведь медальоны вполне могли уместиться в карманах...

И еще было несколько разных улик. На ящичке секретера, где хранилась самая ценная из всей коллекции миниатюра, отыскали-таки след руки Березкина. В его квартире никаких медальонов не оказалось, но зато нашли изогнутый золоченый кусочек металла — он вполне мог быть обломком старинной оправы.

Мог быть, но был ли?

Улики не впечатляли, впечатляла скорее личность героя. Недоучка и дилетант, нахватавшийся поверхностных знаний, достаточных для того, чтобы пустить пыль в глаза простофилям, лентяй, способный к работе, но ее ненавидящий, чуждый каких бы то ни было навыков к систематическому труду, но все же не чуждый праздной гульбы за чужой счет, он вполне мог пополнить скудеющий свой кошелек не самым почтенным способом. И при этом утешить себя, что моральное право за ним.

Так я размышлял, подводя итоги своим наблюдениям, все больше и больше проникаясь верой в конечную правоту обвинения. Но вовремя устыдился: кто меня, собственно, уполномочил выносить Березкину приговор?

— Решитесь ли вы, товарищи судьи, — сказал я в защитительной речи, — на обвинительный приговор, располагая столь скудной для этого базой? Что представило нам обвинение? Несколько более чем сомнительных косвенных улик, которые при самом усердном старании никак не могут замкнуться в нерасторжимую цепь. — Я бросил взгляд на Березкина: ироническая улыбка не сходила с его лица. — Пропаж медальонов обнаружена после приезда Березкина. Это, пожалуй, доказано и споры не вызывает. Но ведь «после» не значит «поэтому» — старое правило логики, известное еще древним римлянам. Не будем от него отказываться, оно ни разу никем не подвергалось сомнению. Артемова слышала шум в

комнате — поверим Артемовой, зачем ей лгать? Но почему непременно этот шум означал: идет воровство? Вообще, в принципе, медальоны могли, разумеется, поместиться в карманах. Но где доказательства, что они реально поместились в карманах Березкина? И точно в то утро, когда Артемова и Березкин возвращались в Москву? Отпечатки пальцев на секретере оставлены подсудимым, — раз экспертиза на этом настаивает, значит, так оно и есть. Ну, и что же из этого следует? К секретеру он прикасался не десятки, а сотни раз. Кто установит теперь дату именно этого отпечатка? Да, ключ был у Березкина, но не только у него — еще и у сторожа. Наконец, ключ могли украсть, заказать такой же, а потом незаметно вернуть. Или просто сделать с него слепок. Что ни улика, то сомнения и вопросы. Значит, улик попросту нет. Ни одной!

Потом друзья упрекнули меня: по неписанным правилам адвокатской этики нельзя защищать одного, топя другого. Иначе говоря, спасай Березкина, но тень на сторожа не бросай.

Разумеется, разумеется, обвинять я не вправе. Не мое это дело. Не мой долг. Негоже браться защитнику за чужую роль. Но, предлагая проверить разные версии, кого я, в сущности, обвиняю? По-моему, никого. Я лишь хочу добраться до истины. И показать, что версия, казавшаяся следствию самой реальной, вероятно не более, чем много других.

Вот почему я сказал тогда судьям:

— Против сторожа улик собрано не меньше, чем против Березкина. Почему из числа заподозренных исключена, к примеру, Артемова? А главное, где медальоны? Надо искать.

С этим суд согласился. Дело возвратили доследовать, а Березкина освободили: суд не посмел оставить его под стражей при столь сомнительных уликах.

Мы вышли на улицу: Березкин в обнимку с Таманским и я рядом с ними, радуясь их союзу, их вере друг в друга.

Березкин сухо пожал мою руку:

— Возможно, я пересмотрю свое отношение к вашей науке...

В метро, возвращаясь с процесса, я увидел прокурора. Подошел.

— Поздравляю с успехом, — сказал прокурор. — Хотя у меня нет ни малейших сомнений: украл медальоны Березкин. Приговор мы опротестуем, можете не сомневаться.

— Вы располагаете не известными нам доказательствами?

— Вам мало тех, что есть? Допустим, найдутся еще два, три или пять. Где гарантия, что защита не скажет: подавай десять?

— Дело не в количестве, — напомнил я, — а в том, замкнулась ли цепь.

Он горячо возразил:

— Да, любая улика против Березкина кажется случайной. Но разве, взятые вместе, они не впечатляют? Не может же быть столько случайностей сразу.. И потом — есть еще профессиональное чутье. Интуиция, основанная на опыте. Неужели интуиция вам ничего не подсказывает?

Я верю в опыт. В интуицию — тоже. Без нее следователь не творец, а ремесленник. Да и только ли следователь? Но я очень боюсь, когда интуиция подменяет улики, когда ссылаются на чутье, пронизательность, уверенность, опыт — на эти прекрасные качества, о которых вспоминают как раз тогда, когда не хватает серьезных улик.

— Тяжелое дело, — глубокомысленно произнес прокурор, обласкав меня сочувственным взглядом. Дело Березкина действительно было нелегким, но прокурор, так мне показалось, имел в виду что-то другое. Я не ошибся. — Улики уликами, но защищать такого... — У него явно вертелось на языке крутое словечко. Он все же сдержался. — Пренеприятнейший тип! Я вам не завидую.

Что верно, то верно: тип не из самых приятных. И какой из этого вывод? Упаси Боже, если в суде эмоции возобладают над разумом. Сколько их, милых и обаятельных, оказалось среди мздоимцев и казнокрадов, разворовывавших страну! И тогда, и потом... Неужели манера держаться, умение подать себя избавят их от заслуженной кары? И напротив: несимпатичный, недобрый, плохой человек — неужели он будет наказан без доказательств?

Допускаю: Березкин — преступник. Весьма вероятно, не спорю. Но — вероятно! А осудить можно, если — бесспорно. Только тогда.

Протест прокурора был отклонен — следствие началось заново, и оно не теряло надежды. Теперь тучи стали сгущаться уже над двумя головами: к Березкину пристегнули и сторожа.

Еще при первом обыске нашли у него икону из коллекции Таманского. И уникальный самоварчик ручной работы, которому, как сказал эксперт, место в хорошем музее. Отец Таманского подобрал его во время войны под развалинами какого-то дома, пострадавшего от бомбежки, вылечил, а потом зашвырнул в чулан: самовары были не по его части, и кратковременная, как оказалось, мода на них тогда еще не пришла. Сын не вел счета отцовскому добру: не заметил даже, как исчезла икона, пропал самовар.

Сторож повинился: втайне от мужа подарила ему реликвии эти Ольга Петровна, жена Таманского-младшего. Соблазн был велик, отказаться сил не нашлось. Да и с чего бы отказываться? Ведь сторож годами служил этой семье! Верой и правдой...

Зря ссылался он на Ольгу Петровну! Та отвергла его показания. Категорически — с возмущением неподдельным.

И то правда — с какой стати, пока была женою Таманского, тайком дарить сторожу такое богатство? А уж коли все-таки подарила, зачем отрицать?

Но раз сторож, от которого не было ни тайн, ни запоров, мог тайком взять икону и самовар, что мешало ему чуть погодя прихватить еще медальоны?

Ничто не мешало. И что из этого следует? Дело сплошь состояло из доводов: «так могло быть». А нужен один-единственный: «так было»...

Часами обсуждали Таманский и Березкин злосчастную эту историю. Вспоминали мельчайшие подробности, спорили — кто?! И вдруг Березкин вскрикнул — так поразила его внезапно пришедшая мысль:

— Ты говоришь, что печка была теплой?

— Да, — подтвердил Таманский, — это я хорошо помню. Еще прежде чем мне бросилась в глаза пустота на стене, я подошел к печке погреться — мороз в тот день ударил жестокий.

Березкин засмеялся, пораженный счастливой уликой, которую неожиданно подарил ему друг:

— А я был на даче за четыре дня до этого, дата установлена точно. И тогда, наоборот, все развезло, мы с Линкой шлепали по лужам. Утром, когда спешили на электричку, печка уже остыла. Значит, последним на даче был не я, а старик. Но он это скрыл.

Теперь, пожалуй, Березкин мог вздохнуть свободно. И действительно, он пришел ко мне как-то с Таманским, развязно полез целоваться, шепча какие-то благодарности. Дело против него прекратили, Таманский просил меня добиваться, чтобы судили сторожа.

— Ни за что! — отрезал я. — Эта роль не для меня. И с чего вы взяли, что украл сторож? Улик против него не больше, чем против Березкина.

— Вот те раз! — возмутился Таманский. — А иконка? А самоварчик? А свидетели? И главное — ни одного убедительного довода в свою защиту.

Не буду же я с ним спорить! Или — еще того хлеще — объяснить азы: не обвиняемый должен доказывать свою невиновность, а обвинение — его вину. Впрочем, что взять с Таманского, если даже юристы блуждают в этой простейшей формуле, не в силах выбраться не то что из трех сосен — из двух!

ПАША И ПАША

Весной 1878 года Прасковья Качка, которую все звали Паша, недоучившись в гимназии, приехала в Москву вместе с отчимом из деревни под Тулой, намереваясь поступить на какие-нибудь женские курсы, и тут познакомилась с молодым человеком дворянского звания Брониславом Байрашевским, литовским поляком, который позже поселился в той же квартире, что и Паша: тогда уже появились в обеих столицах обладатели жилых помещений, по дешевке сдававшихся небогатым студентам.

Паше еще не исполнилось и семнадцати, Бронислав был на год старше и метил в полноправные студенты, собираясь посвятить себя медицинскому поприщу. Поступление в московский институт почему-то не состоялось. Тогда он решил попробовать счастья в Петербурге и стать студентом тамошней Медицинской академии. Без памяти влюбившись в него, Паша Качка рассталась с куда-то отбывшим отчимом и, не раздумывая ни минуты, отправилась вслед за своим избранником.

Летом 1959 года Полина Горбик, которую все звали Паша, обладая не только аттестатом зрелости, но и серебряной медалью к нему, приехала в Ленинград из псковской деревни, намереваясь поступить в театральный институт. У знакомых, которые ее на первых порах приютили, она познакомилась с кубанским казаком Колей Кукуйцевым — тот готовился держать экзамены на юридический факультет университета. Молодые люди сняли по крохотной комнатке у одной и той же

хозяйки, ловившей своих постояльцев в институтских коридорах, где толпились провинциальные абитуриенты.

Этой Паше, в отличие от той, которая Качка, уже исполнилось все семнадцать, а Коля, отслужив в армии, успел еще на Кубани отпраздновать свои двадцать два. На экзаменах провалились оба, и оба же поспешили в Москву, где, по слухам, было легче пробиться в институты, страдавшие от недобора.

Паше Качке, до той поры, пока не приехала в Петербург, еще не удалось соблазнить стойкого дворянина, то есть довести до естественного финала свою неистовую влюбленность. Бронислав не позволял себе никаких вольностей, чем, как водится, лишь разжигал ее страсть.

Паша Горбик жила в иные времена, когда к подобным проблемам относились намного проще, не нуждаясь в каких-либо церемониях и сложных подходах, — ее любовь к Коле Кукуйцеву очень быстро обрела привычную форму, так что в Москву, в погоню за счастьем, отправилась пара, повязанная предельной близостью и общими планами на совместную жизнь.

Паша Качка и Бронислав Байрашевский, прибыв в Петербург, опять поселились в общей квартире, но в разных комнатах, а третью, там же, заняла Пашина подруга Ольга Пресецкая, которой тоже не повезло в Москве, и она возлагала надежды на больший успех в сиятельной северной столице. Паша познакомилась с Брониславом с Ольгой, и все трое зажили дружной коммуной, весело проводя сообща свободное время.

Паша Горбик и Коля Кукуйцев не без труда нашли в Москве комнату на двоих, куда их, невенчаных и без прописки, пустили с превеликим трудом и за большие деньги, которые платила она, что ее вовсе не угнетало: получалось, что Паша, бедная, чуть ли не нищая, уже содержала семью, хотя Коля не знал недостатка в деньгах и не раз намекал на большие — «ну, очень большие» — возможности своих родителей в зажиточной, хлебородной Кубани. Отец его был там какой-то заметной шишкой.

Любовь Паши Качки и Бронислава Байрашевского в Петербурге развивалась стремительно, достигнув той же осенью своего пика, а затем стала вдруг затухать, но только с его стороны, тогда как Паша, напротив, привязывалась к нему все сильнее и сильнее. Она поступила на университетские курсы,

где училась бессистемно и беспорядочно, спустя рукава, целиком поглощенная своей любовью. Чем больше Бронислав от нее отдалялся, тем страсть ее проявлялась сильнее.

Паша Горбик в институт так и не поступила, но ее приняли в какую-то студию при областном драмтеатре, который стабильного помещения не имел и кочевал по разным райцентрам обширной Московской области. Зато Коля Кукуйцев стал очным студентом института землеустройства, который в Москве всегда считали отстойником для неудачников. К юриспруденции ни малейшего отношения этот институт не имел и однако же сулил в перспективе полноценный диплом. Сначала Коля считал институт лишь временным якорем, позволявшим ему осесть в Москве, перезимовать, а потом взять приступом юридический со второго захода. Но вдруг, неведя почему, стал относиться к учебе настолько ревностно, что иногда пропадал в институте до позднего вечера, не прельщаясь даже компанией смазливых подружек, которые теперь завелись у Паши и часто посещали их скромный, но вполне ухоженный уголок.

Бронислав Байрашевской после первой же ночи, названной им супружеской, клятвенно обещал Паше Качке жениться на ней, но исполнить свое обещание не спешил. Прошел всего лишь месяц-другой, и он, не особо стесняясь, стал оказывать знаки внимания Ольге, лучшей Пашиной подруге. Вскоре же, 26 февраля 1879 года, зачем-то (следствие так и не дозналось зачем) они оба, Ольга и Бронислав, отбыли в Москву, чтобы оттуда вдвоем отправиться в Вильну к его родителям и там обвенчаться, о чем Паша, конечно, не знала, но легко догадалась по обрывкам подслушанных фраз, перехваченным письмам, а главное — благодаря интуиции, которая у жестоко обиженной женщины часто становится особенно острой.

Нечто похожее случилось и с Пашей Горбик. Какое-то время она пребывала в неведении, но вскоре обратила внимание на два, ничем вроде бы не примечательных, факта. Каждый раз, возвращаясь из поездок театра по области, она находила дома неприбранные следы чужого присутствия. Зато каждый раз, когда Коля надолго задерживался в институте, а у нее собирались приятели и подружки, не хватало в компании и Кати Костырко, тоже провинциалки, провалившейся вместе с Пашей на

экзаменах в театральный институт и нашедшей приют в какой-то конторе, — никак не оформленной (прописки-то нет!) курьерши и секретарши: ей выписывали зарплату на подставное лицо. Катя, однако, жила в довольстве собой и судьбой, проблем с деньгами явно не знала, зато знала цену своей красоте и имела кучу поклонников, которым — так она уверяла Пашу — давала от ворот поворот. Всем — до единого... Что-то Пашу кольнуло: может быть, все-таки поворот получали не все? А что, если хотя бы для одного она сделала исключение?

Повинуясь не холодному разуму, а горячему сердцу, Паша Качка, вслед за Брониславом, отправилась тоже в Москву. В тот же день, что и он, только другим поездом. Сняла комнатушку в захудалой гостинице (по тогдашней терминологии: «в номерах») и стала выслеживать изменившего ей соблазнителя, зная места, в которых тот мог бывать. Через несколько дней ее поиск завершился полным успехом: в меблированных комнатах, где жил их общий московский приятель Гортынский и где вечерами собирались студенты, Паша и Бронислав столкнулись лицом к лицу. Такого поступка он от Паши не ждал. Похоже, внезапность неожиданной встречи и сразу же возникшее желание одним ударом развязать запутанный узел побудили его не уклониться от разговора, а назвать все своими словами. Не давая никаких объяснений, он жестко и коротко известил вчерашнюю подругу, что Ольга — нет, Ольга Николаевна, это звучало неотвратимее и больнее! — находится тоже в Москве и что завтра они отбывают к его родителям, где намерены сочетаться законным браком.

Паша, с полным спокойствием выслушав его сообщение, продолжала участвовать, как ни в чем не бывало, в общей пирушке. Она замечательно пела романсы, аккомпанируя себе на гитаре, — была неизменной душой всех подобных компаний, — и на этот раз осталась самой собой, не испортив никому настроения. Ожидавший от нее совсем другой реакции, Бронислав сразу же успокоился, снял с себя напряжение и даже — вместе с другими — стал подпевать: очень славно все получалось, без скандалов и сцен, к полному для всех удовольствию.

Другая Паша, которая Горбик, не знала, где искать заблудшего Колю и куда-то пропавшую Катю, но выследить его го-

родские маршруты труда не составило. Поздним вечером, когда он будто бы с энтузиазмом трудился в лаборатории над каким-то заданием, Паша пришла в институт, где не светилось почти ни одно окно. Дверь была заперта, внутрь ее не пустили. Она настаивала: «Прошу пропустить, муж — студент, работает над проектом, у меня для него срочное сообщение». Вахтерша в полемику не вступила, а сразу же привела ее в чувство: «Отродясь таких дур не видала».

Духом Паша не пала — все поняла, но с Колей стала еще нежнее, ни одним упреком его не задела, словно так и должен себя он вести, являясь домой ближе к ночи, а то и совсем не являясь («остался у ребят в общаге — не тащиться же ночью в автобусе с двумя пересадками»). Однажды Коля провел вечер дома, в общей компании, и — надо же, какая случайность! — именно в этот вечер заглянула на огонек и Катя, сидела с Колей бок о бок: вместе с Пашей, на два голоса, они славно пели старинные песни, которые почему-то не растопили сердца их зловредных театральных экзаменаторов. Уже дня через два, незаметно следуя за своим неверным, Паша застучала место, где располагалась пресловутая «лаборатория» — комнатка в коммунальной квартире на Хорошевском шоссе, которую у старухи-пенсионерки снимал «вместе с женой» студент Николай Кукуйцев. Вот за это жилье он платил, действительно, сам. Папиными деньгами.

Что случилось после того, как Бронислав сообщил Паше о своем предстоящем супружестве? Об этом точно сказано в кратком судебном отчете того времени: «15 марта 1879 года, около семи часов вечера, в меблированных комнатах Шмоль, у студента Гортынского собралось несколько человек гостей... Молодежь пела песни: сначала хором, потом, по просьбе присутствовавших, Качка стала петь одна. Это было уже в сумерках. Поместившись против сидевшего за столом Байрашевского, девушка пробовала петь то ту, то другую песню, но голос ее дрожал и прерывался. В середине романса она внезапно обрвала пение, вынула из кармана револьвер и выстрелила прямо в висок Байрашевскому. Тот мертвым упал со стула».

19 февраля 1960 года, чуть позже десяти часов вечера, Паша Горбик постучалась в коммунальную квартиру на Хорошев-

ском шоссе, представилась открывшей ей дверь старушке как «подруга Кати, жены Коли Кукуйцева», и без спроса вошла в комнату, которую старушка ей указала. Ничего особо «интимного» она не увидела и никаких душераздирающих сцен не последовало: Катя и Коля, вполне по-домашнему, уставились в телевизор с уже отжившей свой век допотопной линзой и слегка оторопели от неожиданного вторжения. Высказаться «супругам» она не дала. По-актерски войдя в ту роль, которую сама для себя сочинила, Паша весело («даже, можно сказать, залихватски» — последующие показания Кати), ангельским голосом, сказала: «Колька, ты что, очумел — посмотри на часы, пора домой, ужин стынет» и сразу ушла, хлопнув дверью.

Ужин так и остыл, Коля домой не пришел — ни тем вечером, ни завтра, ни послезавтра. Явился через три дня. У Паши сидели в гостях две парочки — близкие друзья. Коля вызвал ее в коридор: «Давай не тянуть резину, — сказал он. — И только без слез. Мы едем с Катькой к моим, отец требует. Там и сыграем свадьбу. А с тобой — все... В общем — не получилось. Не врал, когда обещал, но обещать — еще не жениться». — «Чего ты завелся? — остудила его Паша. Наверное, все тем же ангельским голосом. — Нет так нет — всего и делов. Никто тебя жениться не заставляет. Я сама, между прочим, венчаюсь, даже раньше, чем ты. Могу познакомить — жених скоро придет. Зайди в комнату и не порть компанию — ребята не виноваты, что так у нас повернулось».

Коля сразу затих, остался — вроде бы у себя дома, да не совсем, — посыпались шуточки, открыли новую бутылку, стало шумно и бестолково, парочки целовались, и Паша тоже целовалась с Колей, как и раньше, здесь же, на том же диване. Потом она запела. Допев до конца их любимую песню, вытащила из кармана бутафорский револьвер, который ни по каким правилам не должен был выстрелить. Но он выстрелил, как того она и хотела. Заряд дроби с очень близкого расстояния — прямо в упор! — угодил Коле в висок.

Следствие по делу Паши Качки длилось ровно год. О том, что именно заставило ее решиться на отчаянный шаг, Паша говорить не хотела, от любых подробностей уклонялась, призна-

ласть только, что решение убить человека, которого любила и продолжает любить — «даже мертвого, как ни странно», — созрело заранее, по крайней мере за месяц до выстрела, что револьвер купила еще в Петербурге, перед поездкой в Москву, а зарядила его накануне. Этот рассказ противоречил другому ее утверждению, — что действовала она бессознательно, что волнение мешает ей вспомнить что бы то ни было, что о Брониславе вообще говорить не может, ибо не ручается за себя. Ведь должна же она была после выстрела покончить с собой, но револьвер выпал из ее ослабевших рук.

Следствие по делу Паши Горбик длилось неполных три месяца — слишком долго по тогдашним советским меркам, поскольку ситуация была предельно ясна, сложностей, опять же по меркам советским, дело не представляло: убийцу взяли на месте преступления, с оружием в руках, которое она сама зарядила дробью, от содеянного не отрекается, вину свою признает, а все остальное — излишества, ни для следствия, ни для суда значения не имеющие.

Дело Паши Качки слушалось в Московском окружном суде два полных дня 22 и 23 марта 1880 года под началом заместителя (тогда его называли «товарищем») председателя. Защищал подсудимую Федор Никифорович Плевако.

Дело Паши Горбик слушалось в Московском городском суде 14 июня 1960 года под началом заместителя председателя на протяжении шести часов, в которые вместился и полуторачасовой перерыв на обед. Защищать подсудимую привелось мне.

Разница, как видим, огромная. Но было и еще одно отличие между этими двумя делами.

Пашу Качку судили двенадцать демократично и гласно отобранных заседателей, представлявших разные социальные слои и разные виды профессиональной деятельности. Судили «не по закону, а по совести», как тогда говорили, выражая этой емкой и глубоким смыслом наполненной формулой то, ради чего человечество и пришло к идее суда присяжных. Противники такого суда презрительно его называли «судом улицы».

Пашу Горбик единолично судил следовавший советской правовой доктрине, к тому же еще получавший «общие», «установочные», «директивные» указания из горкома, минюста и

многих других высоких инстанций, чиновный юрист, по обе стороны от которого сидели безликие, бесцветные, ко всему равнодушные кивалы весьма пенсионного возраста. Одна из кивал, рыхлая тетка с седыми буклями, в не по возрасту легкомысленной блузке с большим вырезом, откуда выглядывали сморщенные предгорья бывших округлостей, единственный раз оживила процесс пронзительным восклицанием: «Бесстыжие! Чему их теперь в школе учат!» Так она откликнулась на признание подсудимой, что жили они с Колей несколько месяцев «как муж и жена».

Здесь нужно сделать одно отступление.

Когда дело Горбик попало в мое адвокатское производство, я сразу же поделился с мамой, потомственным адвокатом, имевшим очень большую практику, тем драматичным сюжетом, на котором оно было замешано. Обычно в таких разговорах мы обсуждали лишь юридические проблемы, которые могут возникнуть и к которым надо заранее подготовиться. На этот раз мама проявила повышенный интерес ко всем поворотам сюжета, слушала меня с особым вниманием и вскоре же оборвала мой рассказ неожиданным вопросом: «Ты проверяешь мою эрудицию?» Сняв с полки один из томов, где собраны давно отзвучавшие адвокатские речи — у нас была огромная коллекция таких раритетов, — она открыла его на странице с речью Плевако по делу Качки, — речью, которую я, конечно, читал, но которая почему-то не вспомнилась мне, когда я вступил в дело Горбик.

— Таких совпадений не может быть, — сказала мама. — Похоже на мистику.

На что бы ни было похоже, факт оставался фактом: с разницей в восемь десятилетий, в совершенно иной России, с иным социальным строем и с иной психологией ее молодежи, с иными нравами, с иным отношением к человеческим ценностям, сюжет повторился вплоть до мельчайших деталей и, стало быть, требовал доведения его до логического конца по той же модели.

С этих исходных позиций я и стал вести доставшееся мне дело, тем более к себе привлекавшее, что личность Паши Гор-

бик показалась мне неординарной: наши беседы в тюрьме обнажили характер сильный и гордый, душу ранимую и впечатлительную, голову горячую, но способную, — правда, только потом, когда исправить уже ничего невозможно, — с максимальной критичностью отнестись к самой же себе.

Работать над этим делом было тем интересней, что меня незримо вели за собой прославленные предшественники, чьи имена, несмотря на все крушения и кошмары, постигшие нашу страну, остались в истории русской юстиции, напоминая о том, что был у нас, был — целых полвека! — свободный и независимый суд, где человек имел реальную надежду быть услышанным, понятым и даже прощенным.

На процессе Паши Качки судья-председатель, обвинение и защита, помогая, а не мешая друг другу, старались вникнуть в историю отношений всех участников этой трагедии. С большой деликатностью, стремясь не задеть самолюбие подсудимой и не влезть беззастенчиво, на потеху публики, в ее сердечные и душевные тайны, они проследили всю короткую жизнь преступницы, оказавшую влияние на ее характер, образ жизни и мыслей, неизбежно определявшую ту или иную ее реакцию на жизненные невзгоды и на отношение к ней окружающих. Установили, что все свое детство она провела в пьяной и распутной семье, что «даже зачата была в пьяном угаре», что отец умер от запоя, когда ей было всего шесть лет. Что иной речи, кроме отборной брани, она в детстве не слышала. Что мать, освободившись от постылого мужа, «кинулась догонять жизнь», вышла замуж за иностранца, который был на десять лет моложе ее, и тот чуть ли не сразу стал оказывать Паше — еще ребенку — знаки внимания отнюдь не отцовского свойства. Что семья очень скоро превратилась в вертеп, а супруги поносили и колотили друг друга по нескольку раз на дню.

Вот из этого омута она и решила выбраться, сбжав в Москву к бывшей школьной подруге. Даже здесь ее не оставил безуспешным своим домогательством отчим. Среда, которую она обрела в Москве, открыла перед ней иной мир, а встреча с Байрашевским — красивым, умным, начитанным молодым человеком совсем из иного круга, заботившимся о ней и

говорившим слова, которые она никогда не слыхала, — эта встреча перевернула жизнь, придав ей смысл, вдохнув надежду, открыв перспективу. Такая картина — такая судьба! — во всей своей сложности, с непридуманном драматизмом была явлена присяжным еще до того, как свои аргументы изложили пред ними в речах обвинитель и защитник.

На процессе Паши Горбик первый же, к ней обращенный, вопрос адвоката о ее прошлой жизни, до приезда в Ленинград, был решительно снят судьей как не имеющий никакого отношения к делу. «Характеристика из школы получена, — столь же властно, сколь и вяло, с заученным безразличием, вмешался судья, жестом давая понять, что никаких возражений он не допустит. — У школы претензий к ней не было, суд это учтет». Я попробовал было сказать, что речь идет вовсе не о каких-то претензиях, не о казенных характеристиках — они везде и всегда штамповались по единой колодке, — а об условиях, в которых формировался ее характер, но судья, уже не вяло, а раздраженно, меня оборвал: «Поберегите свои соображения для научных собраний, а сейчас вы в суде, и вам придется держаться исключительно обстоятельств дела. Нас интересует только один вопрос: какое деяние совершила подсудимая и какова юридическая его квалификация».

Вероятней всего он был по-своему прав. Потому что, продолжи я эту тему, доберись в перекрестном допросе до подробностей, в которые суд не хотел вникать, приоткрылась бы не очень приглядная картина реальных нравов советской глубинки. В отличие от Паши Качки, Паша Горбик жила не в распутной и пьяной, а в благонаправленной семье, где под честью советской девушки подразумевался жесткий нравственный аскетизм. Она не имела права вне школы встречаться даже с подругами («все до одной проститутки»). Она дважды получила пощечины от отца, заметившего, как «бесстыдно» беседовала она с разными (с разными! — в том-то и ужас) парнями. Ей было напрочь запрещено играть в самодеятельном театрике («там в пьесах еще и целуются»), хотя жизни своей вне сцены она не представляла. Ее донимали бесконечными подозрениями («с кем шляешься, где пропадаешь?»), а после того как одна из ее одноклассниц закрутила роман с футболистом областного раз-

лива и эта связь выплыла на поверхность, отец грозился произвести публичный осмотр своей дочери, чтобы «вывести, если что» и ее «на чистую воду». Она слушала обрывдые моральные проповеди про честность и чистоту, — проповеди, от которых тошнило, — наблюдая при этом, как отец («санитарный контроль района») приносил домой пудовые пакеты даров от тех, кого он проверял и чьи нарушения предпочел не заметить.

Тем радостней и неожиданней было родительское согласие безропотно ее отпустить — одну! — в большое плаванье, пробиваться в жизнь, полагаясь лишь на себя. Знакомым мать говорила: «Мы вложили в нее все, что нужно, чтобы стала она настоящим советским человеком». Отец уточнял: «чтобы жила по нормам коммунистической морали». Напутствие, отправляя в большой город, дали только одно: найди себе там достойную пару, но не по любви: с любовью сгоришь, а с расчетом не прогадаешь. «Чтобы муж был не свистун, — вставил слово отец, — а опора. Как я вот — твоей матери. Бери пример». Как раз это и был тот пример, который она ни за что брать не хотела. О чем только и может мечтать девчонка, которой строгонастрого запретили любить? Конечно же, о любви. Вот и домечталась...

Все это я хотел донести до суда, как сделал бы это, наверно, Федор Плевако, доведись ему выступать на нашем процессе. Впрочем, доживи он до светлых октябрьских дней, до бунта, объявившего себя революцией, до того, что стало затем называться судом, — доживи Плевако до этих дней лучезарных, выступать ни на каких процессах ему бы уже не привелось. Его бесподобный дар психолога и аналитика, оратора и актера не мог бы найти в костоломном балагане по имени «суд» ни малейшего применения. Заткни ему рот судья хотя бы единственный раз, и он бы тотчас замолк, оказавшись в стихии, где невозможно дышать.

У меня же другой стихии не было никогда, и мне приходилось решать задачу на условиях, в ней содержащихся, а не на каких-то других, пусть и очень желанных. Судьба Паши Горбик — так мне казалось — хотя бы немного зависела от моей активности, и я был обязан сделать все, что оставалось в моих силах, сколь бы ни были они малы и скромны.

К несчастью, однако, они не были даже малы и скромны. Их не было вовсе.

У Федора Никифоровича Плевако остались два сына — один, если не ошибаюсь, от брака законного, другой от того, который считается незаконным. И даже вовсе не браком. Оба сына носили имя Сергей, и оба Сергея Федоровича, став по семейной традиции юристами, обрели покой и приют в московской (советской!) коллегии адвокатов. Старшего я не знал, а с младшим был неплохо знаком, раз даже представился печальный случай слушать его речь в одном уголовном процессе. Печальный, поскольку Плевако-младший был наглядным, предметным, живым подтверждением чьей-то меткой шутки о природе, изрядно потрудившейся над созданием людей с могучим талантом, сильно утомившейся от занятия столь трудоемким делом и вынужденной потом отдыхать на их детях.

Хлипкий, невзрачный, сутулый, со впалыми щеками и вечно хлюпающим (так мне казалось) носом, Сергей Федорович был и внешне полным контрастом отцу, который, по сохранившимся воспоминаниям и по дошедшим до нас портретам, являл образец крепкого мужика, высеченного из глыбы, — настолько крепкого, что его не смогли надломить даже пагубная страсть к алкоголю и ночи, проведенные за картами в табачном дыму. Не знаю, страдал ли тем же недугом и младший в династии, но выглядел он так, словно истощен до крайности и вот-вот рухнет от дуновения ветерка. Поражали его косноязычие и сумбурность речи, как всегда в таких случаях, выдававшая сумбурность мыслей: даже на фоне множества других, не слишком красноречивых коллег он выглядел совсем уж беспомощно. Предваряющая его речь протокольная реплика судьи («слово имеет адвокат Плевако») воспринималась почти издевательски, сам же Сергей Федорович имел смелость острить, своеобразно включаясь в незабытую еще кампанию по борьбе с «иностранщиной и низкоклонством». Когда всюду, где могли, меняли иностранные слова на русские, он, не без тайного яда, предложил заменить иностранное «адвокат» русским «плевака», поскольку его родовая фамилия и впрямь стала нарицательным именем судебного золотоуста. Остается таковой, кстати сказать, до сих пор.

С наивной восторженностью и абсолютной искренностью я выразил как-то Сергею Федоровичу свое восхищение речами его отца. Ему приходилось, наверное, это слышать множество раз, и реакция на восторги тоже вряд ли была экспромптом. «Несу вот свой крест, — с обреченной улыбкой прохрипел он, приложив платок к неизменно влажному носу и приглашая, как видно, ему посочувствовать. — Сын знаменитости, как клеймо на лбу... Батюшка, говорят, завораживал присяжных своими речами. Попробуйте заморозить наших народных... — Он имел в виду тех кивал, которые тоже считались заседателями и выражали собой «глас народа». — У меня не получается».

У него не получилось бы и в те времена, когда суд еще был Судом, где Плевако-старший блистал вовсе не красками голоса, не жестами и не мимикой — всем тем, чем пытались объяснить современники его адвокатское колдовство, — а тонкостью постижения личности, глубиной анализа совершенных поступков. Талантом влияния на умы и души. Но младший был тоже по-своему прав: все эти Божьи дары не нашли бы ни малейшего применения там, где судьба человека не ставилась ни во грош, где страх послушаться телефонной трубки заведомо исключал гуманность и сострадание, разум и здравый смысл.

В деле Паши Качки по другую от адвоката сторону находился, как водится, обвинитель. Прокурор, который, по прямому своему назначению, должен быть оппонентом защитнику. Его процессуальным противником — так называется это на юридическом языке.

Роль противника исполнял сороколетний прокурор Петр Николаевич Обнинский, оставивший яркий след в истории российского правосудия. Вряд ли случайно то, что именно ему классик (единственный, в сущности, классик) отечественной юриспруденции Анатолий Федорович Кони посвятил свое знаменитое эссе «Нравственный облик Пушкина». Его поразительная эрудиция, его глубокая ученость в сочетании с тончайшим психологизмом, да еще при безупречной объективности и признанной всеми порядочности, делали Обнинского надежной опорой защиты, когда та отстаивала правое дело. Но и он же обречал на провал все ее потуги, когда защита шла против истины.

Для Плевако, защищавшего Пашу Качку, поединок с Обнинским, который во время процесса сам старательно отыскивал все, что говорило в пользу подсудимой, а не против нее, заведомо сулил победный итог. Впрочем, какой же это был поединок? Строго следуя закону и установленным в ходе процесса фактам, прокурор так обвинял подсудимую, что на самом деле ее защищал, подготовив почву для триумфа противника.

«Качка, несомненно, вызывает к себе сострадание, — обращался прокурор к заседателям. — Это далеко не заурядная личность, она окружена ореолом романтического трагизма. Убийство совершено под влиянием тячайшей обиды, которая к тому же нанесена бесконечно ранимой и страстной от природы натуре, — совершено юной женщиной, едва ли не обезумевшей от любви и от ревности. Байрашевский вырвал из ее рук счастье, которое она, доверчивая и влюбленная, купила дорогой ценой своей девственности. Она получила право на месть.

Но вдали от всего этого, в грозном безмолвии смерти, одиноко стоит перед вами образ убитого юноши. Я говорю от его имени. На мне одном лежит обязанность защищать перед вами его святое право на осуждение убийцы...

Не спорю, Байрашевский виноват перед Качкой. Но разве за такие вины казнят? Если даже государство в таких случаях себе самому не позволяет казнить, то может ли самочинно его присвоить частное лицо? За что в самом деле погиб Байрашевский? Он изменил своей возлюбленной — в этом виновато его молодое сердце. Корыстного мотива измены, мотива, который сделал бы ее отвратительной, здесь не было. Было просто сердечное увлечение, с которым двадцатилетний юноша был не в силах бороться. И вот за это — смертная казнь? Беспощадная, исполненная публично, как бы в назидание окружающим!..

Если суд представителей общественной совести торжественно и всенародно объявит, что частное лицо может безнаказанно мстить за обиду даже лишением жизни, то вслед за оправданным преступником всегда готова двинуться целая вереница последователей, рассчитывающих на безнаказанность, — и тогда где и в чем найдется гарантия личной свободы и безопасности?

Сколько бы ни вызывала к себе превратной симпатии сама подсудимая, вопросы, которые я перед вами поставил, требуют ответа, и тот не должен допустить малодушного в этом случае сострадания».

Такой была — убедительная в каждой своей фразе, взятой в отдельности, — речь обвинителя, но запоминался, производил впечатление, влиял на итоговое решение (и Обнинский это, естественно, понимал) лишь главный посыл: поруганная доверчивость дает право на отмщение. Верно это в принципе или нет, вопрос другой. Но так сказал сам прокурор, так воспринималось присяжными (людьми «с улицы») это конкретное дело, а все последующие доводы казались лишь непременными оговорками, изложенными притом в очень корректной, без металла в голосе, форме.

В деле Паши Горбик тоже, разумеется, участвовал прокурор. Имя его я не запомнил, а в сохранившемся у меня экземпляре приговора, отпечатанном под копирку (третья или четвертая копия) на папиросной бумаге, разобрать его сейчас, за давностью времени, уже невозможно: то ли Кабаков, то ли Казаков, то ли Куликов, то ли Кулаков, то ли кто-то еще... Может, оно и к лучшему: ведь это даже и не злодей, чье имя стоило бы запомнить, а просто никто. Круглый ноль. Но — типичный.

Речи Обнинского по делу Качки этот Ноль никогда, разумеется, не читал, но, следуя логике обвинения, пошел по тому же пути, что и его предшественник, только в советском варианте: с советским образом мысли, в советской стилистике и с прокурорской грамотностью — тоже вполне советской. Начал с хамства.

— Вы приступаете, товарищи судьи, — сказал он, — к завершающей стадии рассмотрения дела, которое не может не вызывать гнева и возмущения у каждого нормального человека. Именно у нормального, потому что люди с буржуазной моралью это люди ненормальные, и они, конечно, начнут лить крокодиловы слезы, что вот, мол, обидели девочку, и она убила обидчика, что досталось ему поделом за неправильное отношение к распущенной девчонке, которая сама, между прочим,

висла на его шее. Подобные рассуждения вам, конечно, представит адвокат, но такая, с позволения сказать, глупость, такая, извините за выражение, чепуха, такая защита самосуда, которую вам безусловно попытаются навязать, не найдет у вас понимания. Растрленную буржуазную мораль у нас протащить не удастся. Подобные провокации никогда не находили и не смогут найти поддержки в советском суде, который руководствуется самым демократическим в мире законом и самой гуманной в мире, коммунистической моралью.

Стенографистку не пригласили, сам я стенографии не обучен, но записывал прилежно и четко, что было совсем не трудно, поскольку наш златоуст едва выдавливал из себя пять слов в минуту, пользуясь скудным своим словарем и блоками, заготовленными на все случаи жизни.

Его заранее известным банальностям почтительно внимали кивалы, особенно дама с седыми буклями, а судья его и не слушал вовсе, поскольку знал едва ли не текстуально всю его речь и, оказавшись на месте прокурора, произнес бы точно такую же.

— Злодейское преступление совершено, — упоенно пел прокурор, — факт доказан, как доказано и то, что убийцей, совершившей преступление сознательно, с заранее обдуманными намерениями, является подсудимая Горбик Полина Даниловна, для которой я вообще не нахожу никаких смягчающих вину обстоятельств. Советский закон и моральный кодекс советского человека требуют беспощадной кары для убийц, как бы они и их защитники ни пытались объяснить эти мерзкие поступки. Если бы суд прислушался к таким гуманистам в кавычках, то есть пошел бы на поводу у них, завтра все стали бы убивать кого ни попадая, уверовав в свою безнаказанность. (Прямая перекличка с доводами прокурора Обнинского, но в какой примитивной и злобной редакции!) Никакой пощады убийцам — вот этот, единственно правильный, принцип морального кодекса советского человека, по которому живут в нашей стране, и только он подходит для вашего приговора!

У меня в этом процессе был еще один противник — стало быть, у прокурора мощный сообщник — в лице того, кто в уголовном процессе называется потерпевшим.

Таковым был признан Егор Ульянович Кукуйцев, отец убитого, — он занимал какую-то директорскую должность в своем районе и состоял в депутатах не районного даже, а краевого совета. Депутатский значок украшал его френч и сразу же бросался в глаза, когда Егор Ульянович, повернувшись к публике, задавал подсудимой или свидетелям свой вопрос, в котором уже содержался и искомый ответ. Обычно судья в таких случаях грозно напоминает, что обращаться положено к суду, а не к залу, но на этот раз обличителю была дарована пропагандистская вольность.

Она была именно пропагандистской: никакого живого чувства, никаких человеческих эмоций, вполне естественных для убитого горем отца, нельзя было ощутить в этих обкатанных заклинаниях привычного выступальщика, совершенно не ощущавшего разницы между каким-нибудь заводским митингом и судебным процессом, подводящим итог жизни его трагически погибшего сына.

— Взбесившуюся собаку требую расстрелять! — так закончил он свою вдохновенную речь, дословно процитировав (не уверен, что в точности зная об этом) славной памяти прокурора Вышинского, на показательных московских процессах неистово громившего с помощью той же риторики «троцкистских выродков, заговорщиков и агентов иностранных разведок».

Я не выдержал — рассмеялся.

— Вы выходите за всякие рамки, — вскричал судья и повелел секретарю записать сделанное мне «замечание с предупреждением» в протокол. Это считалось тогда суровым взысканием.

У Федора Никифоровича Плевако просыпался особый азарт, когда ему предстояло сразиться с мощным противником. Когда доставался ему особо трудный орешек. Когда надежды на успех не было никакой или была она призрачной, почти не достижимой. Но в деле Качки львиную долю адвокатской работы сделал за него прокурор, от адвоката требовалось всего лишь не испортить неосторожным словом того впечатления, которое осталось у присяжных после обвинительной ре-

чи. Поняв, что и юридическая, и моральная аргументация уже исчерпали себя, Плевако воспользовался силой искусства, сопрягая стихи с реалиями не просто жизни, а именно данного, конкретного дела.

Выстрелу Паши Качки, как мы помним, предшествовало пение ею романса. Когда допрашивали свидетелей, Плевако, словно бы невзначай, требовал уточнить: что за романс, посредине оборванный, пела его подзащитная? Никакого отношения к делу эта деталь, казалась бы, не имела, но никто и не помешал адвокату выяснять то, что по каким-то причинам ему показалось важным. Выяснил!.. Хотя я убежден — знал это заранее, иначе и не задал бы вроде совсем невинный, не обязательный для этого дела вопрос. И вот какой отзвук в завершающем акте судебной драмы получили, казалось бы, напрасные усилия, которые прилагал адвокат в ходе всего процесса.

— Она поет. Она не может не петь. В пении вся ее незадавшаяся жизнь, погубленные надежды. В эти песни вкладывает она свои чувства, свои переживания. Поет ее израненное сердце. Поет ее измученная душа. Она выбирает для своего прощания с поруганной любовью романс Некрасова «Еду ли ночью по улице темной». Случайно ли? Почему именно этот романс? Потому что он о ней, о ее боли. Каждой строкой она все глубже и все сильнее берedit свою рану...

Строку за строкой цитирует Плевако некрасовские стихи, исподволь сталкивая текст романса с теми событиями, которые привели к трагическому исходу. «С детства тебя не взлюбила судьба, суров был отец твой угрюмый...» «Да не на радость сошлась и со мной...» По лицам присяжных он понимает, что это прямое — слишком грубое, если хотите, — сопряжение песни и жизни доступнее их пониманию, чем любые умственные изыски, и — еще того больше — оно задевает и какие-то личные струны в их душах. Ведь они не только судьи, но еще и «обыкновенные люди», и значит, ничто человеческое им не чуждо. Воздействие эмоциональное оказывается сильнее рационального, сколь бы зыбким ни было первое и сколь бы бесспорным второе. Стихотворная цитата приближается к концу, и Плевако итожит: «Под горькие слова романса: «Или пошла

ты дорогой обычной и роковая свершилась судьба?» свершается преступление: звучит выстрел»...

Исход дела для Плевако уже очевиден, но он не забыл про главный аргумент прокурора. Отвечать противнику — формально это не обязательно, но правила судебной этики непреерекаемы. Где к тому же гарантия, что хотя бы один присяжный не воспринял прокурорскую речь впрямую — с обвинительным уклоном? Пусть тогда вспомнит прокурорские аргументы и соотнесет их с тем впечатлением, которое осталось у него уже теперь — после защитительной речи.

— Я знаю, что преступление должно быть наказано и зло уничтожено силой карающего суда. Но присмотритесь к тогда еще семнадцатилетней Качке и скажите — что она? Зараза, которую нужно уничтожить, или зараженная, которую нужно пощадить и лечить? Не с ненавистью, а с любовью судите, если хотите не мести, а правды.

В сущности, Плевако произнес лишь общие слова, взывая к чувствам своих очарованных слушателей и уклонившись от юридического анализа. Но в этом анализе уже и не было вовсе нужды — его осуществил прокурор. Его речь несокрушима, ибо отличалась железной логикой, точностью оценок, безупречным сочетанием права и этики. Поэтому-то, внешне противореча друг другу, и обвинительная, и защитительная речи вели к одному итогу: закон нарушен, но совесть не позволяет бездушно констатировать это. Она требует для справедливого приговора того поправочного коэффициента, без которого суд превращается в судилище, в торжество холодного прагматизма машины над непонятой, беззащитной душой.

Прошло всего четыре часа после того, как процесс по делу Горбик начался, а прокурор уже отбарабанил свою надрывную речь, и слово предоставили адвокату. Я почему-то предполагал, что это произойдет на следующий день, и у меня хватит времени, чтобы подготовиться основательней. Но суду давным-давно все уже было ясно, приговор написан — если не на бумаге, то в голове, — прения сторон оказались не более чем данью постылой формальности, так что в общем-то готовиться и впрямь было не к чему, а слушать меня собиралась, по-мо-

ему, только дама с седыми буклями, да и то потому, что ей не терпелось проявить клокотавшее в ней возмущение: защищает, стервец, распутницу и убийцу!

Поддавшись искушению схлестнуться с прокурором, я вызвал судейский гнев, который едва не привел к краху моей адвокатской карьеры.

— Уважаемый суд! — начал я свое слово. — Товарищ прокурор, еще не выслушав речи защитника, назвал все, что я скажу, глупостью и чепухой, а меня самого ненормальным. Мое положение лучше: я выслушал его речь, и у меня есть больше оснований для тех же выводов, но я этого делать не стану — ведь вы сами сумеете разобраться в том, кто и что здесь говорит.

На этом месте я был прерван — загремел неожиданно проправшийся, зычный голос чуть ли не спавшего во время процесса судьи.

— За сознательное оскорбление прокурора в ходе процесса суд предупреждает вас, что по поводу вашего поведения будет вынесено частное определение в адрес президиума коллегии адвокатов для принятия к вам дисциплинарных мер. При малейшем подобном нарушении еще один раз вы будете немедленно отстранены от участия в судебном слушании.

Вот так поворот! Впрочем, я обязан был его предвидеть: любая претензия на шутку, на остроумие в советском суде исключалась, она не только ставила под угрозу принадлежность к адвокатской коллегии, но и пагубно отражалась на судьбе подзащитного: судьи мстили ему за подлинные или мнимые прегрешения его защитника.

Пришлось извиниться. Не прокурору, меня оскорбившему, а мне — перед судом, взявшим прокурора под свое крыло. Еще бы: ведь судья с прокурором состояли в одной партийной организации и получали инструкции в одном и том же месте. Шерочка с машерочкой! А я был изгоем...

Полагалось, однако, до конца исполнить обязанность, которую я сам на себя взвалил. Сказать все, что можно, в защиту Горбик. Пример Плевако вдохновил меня и еще на одно — уже последнее — ему подражание. Я вспомнил о песне, исполнение которой, как и в деле Качки, предшествовало развязке. Песня была, конечно, другой, ее мельком назвал один из сви-

детелей еще на следствии, и она забылась. Этой детали следователь не придал никакого значения, но добросовестно занес ее в протокол. Так что мне было на что сослаться.

— Вспомним, товарищи судьи, в каком состоянии находилась подсудимая непосредственно перед тем, как решила на выстрел. Она запела. Это была горькая песня, и она в точности отражала, несмотря на свою наивность, то, что творилось в ее душе. «Виновата ли я, виновата ли я, виновата ли я, что люблю? Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню свою?» Ее голос на самом деле дрожал...

Завершить не только мысль, но даже и фразу судья мне не дал.

— Вы бы нам еще сами запели... И тоже дрожащим голосом, — с ухмылкой прервал он меня, приглашая кивал посмеяться. Храня достоинство, прокурор с молчаливой гордостью скрестил на груди руки. Один из кивал, одноглазый орденосец, даже не шелохнулся. Прыснула только дама с седыми буклями: заколыхалась блузка — там, где был вырез, — сморщенные предгорья округлостей на мгновение стали еще виднее. — Напоминаю, адвокат, что вы находитесь в суде, а не в консерватории. Сформулируйте как юрист, а не как певец, о чем просите суд, и закругляйтесь. — Красноречиво брошенный им взгляд на часы говорил сам за себя.

Покорившись, я сформулировал: преступление явилось результатом обмана, обиды, оскорбления, которое было нанесено Паше, выстрел произведен в состоянии сильного душевного волнения, притом с надеждой, что бутафорский револьвер из театрального реквизита, вопреки дробы, которой она его зарядила, не сможет все-таки привести к фатальной развязке...

Словом, говорил банальности, которые казались мне особенно пошлыми оттого, что в точности соответствовали кондовой терминологии уголовного кодекса. И чем более точными были они с точки зрения юридической, тем более плоскими, обезличенными, лишенными даже малого соответствия реалиям подлинной жизни были на самом деле. Именно в эти минуты впервые зародилось во мне сомнение: а могу ли я быть вообще адвокатом в советском суде? Прошло еще много лет, прежде чем эти сомнения привели к поступку.

После короткого совещания присяжные единодушно признали Пашу Качку невиновной, совершившей свое деяние «в состоянии умоисступления». Для того чтобы прийти к такому выводу, им не понадобилась и помощь эксперта-психиатра. Они судили не по кодексу и не по медицине, а по совести, житейскому опыту и здравому смыслу.

Наш судья пробыл вместе с кивалами в совещательной комнате тоже недолго. Так недолго, что времени этого никак не могло хватить даже и для того, чтобы просто написать приговор, не говоря уже о том, чтобы обдумать услышанное в зале суда, обсудить, не торопясь, доводы обвинения и защиты: ведь речь шла, как бы банально это ни прозвучало, о судьбе человека. Приговорили Пашу Горбик к девяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Коллеги меня поздравляли с успехом, удивляясь, отчего не ликую. И — что печальней всего: они не шутили и не фарисействовали. По советским меркам приговор был действительно мягким. Моей заслуги в том не было никакой.

Теперь предстояло ждать еще одного приговора: частное определение из суда в президиум адвокатской коллегии пришло без задержки, и меня вызвали на ковер. Возглавлял тогда коллегию интеллигентный и талантливый адвокат, притом, что важнее всего, порядочный человек: Василий Александрович Самсонов. Оставшись со мной в своем кабинете один на один, сказал с дружеским укором:

— Нельзя, дорогой Аркадий, быть в таком глубоком разладе с реальностью жизни! Для чего вам был нужен Плевако, этот, обладавший, конечно, рядом достоинств, но все равно реакционный юрист, который витийствовал в антинародном, насквозь продажном — вы же знаете это — буржуазном суде? Как можно сравнивать советскую девушку — извините, забыл фамилию вашей клиентки — с истеричной, погрязшей в богеме мешанкой, которую защищал Плевако? Зачем дразнить советского прокурора, который всегда стоит на страже социалистической законности? Почему вы не можете сдержать свой смех, даже если вас от него распирает? Разве наш суд не храм справедливости, а клуб острословов, безыдейных к тому же, что, кстати, вы же и

подтвердили своей неуместной шуткой? Как могли вы принять суд за более вам милый, наверно, Дом литераторов, где, право, уместней, чем под сенью Фемиды, декламировать стишки и даже петь, как сказано в частном определении, вульгарные и пошлые песни? Зачем строгой речи советского адвоката какие-то стихотворные виньетки, весьма дешевого к тому же пошиба? Публичное осмеяние судейского корпуса тянет прямо на уголовную статью, дорогой Аркадий, а вовсе не на дисциплинарное производство. Так что вы еще счастливо отделались. Надеюсь, в будущем вы это учтете. Кстати, не скажете ли, каким образом вам подфартило с таким увлекательным делом? У меня, например, хоть я и шеф всей адвокатской коллегии, сплошь унылые расхитители социалистической собственности, а у вас, начинающего и никому не известного, — смотрите, какое сокровище. Умираю от зависти...

Все это Самсонов произнес на полном серьезе, без улыбки, без наигрыша (высший пилотаж для сатирика!), хмурой гримасой давая понять, что и от меня ждет чего-то такого же. Смирения и раскаяния, чего же еще...

Я принял игру: тут же раскаялся и смирился, пообещав, конечно, учесть. Итогом беседы явилось письмо, отправленное за подписью нашего председателя в горсуд и мино юст. Там сообщалось, что мне строго указано, что я полностью признал свою вину, что у меня, молодого члена коллегии, еще нет должного опыта, в связи с чем президиум счел достаточной мерой суровую устную проработку, тем более что в ближайшие три месяца мне не будет дана возможность участвовать в судебных процессах.

Последнее было чистой правдой: в завершение нашей беседы Самсонов предоставил виновному, по его, разумеется, просьбе, трехмесячный творческий отпуск, дабы тот прочувствовал еще глубже преподанный ему урок. И я тут же отправился в большое журналистское путешествие по Сибири. На заведомо провальном для защиты заседании Верховного суда, где рассматривалась (с нулевым результатом, конечно) моя кассационная жалоба, выступал другой адвокат. Получалось, что я действительно сурово наказан, и судья, обрекший меня на это, вполне мог ликовать.

Через месяц примерно, когда я плыл по Енисею, на теплоход пришла радиограмма: «Вылетайте немедленно вы командируетесь в Болгарию на международный конгресс юристов оформление уже началось Самсонов». Об этом я уже где-то писал — повторяться нет смысла. Бывать за рубежом мне пока еще не приходилось: с Болгарии — самой незаграничной из всех за границ — все тогда начинали. Но после злосчастливого определения разве могла мне вообще светить за граница? Даже Болгария...

Оказалось, еще как засветила! Не туристом отправился, а делегатом на международный конгресс! Эта поездка вскоре круто изменила мою жизнь — об этом я тоже писал. Не пришел бы Самсонову донос на меня, — в Софию поехал бы кто-то другой. Таковы парадоксы той далекой эпохи.

И прошло еще много лет. Настало другое время. Были изда ны, и уже не впервые, сборники адвокатских речей, в том числе и с речью адвоката Плевако по делу Качки. В разных изданиях они стояли у меня на полке, когда почта принесла еще один экземпляр. Дарственная надпись гласила: «... с самыми теплыми воспоминаниями о Вашей доброте — благодарная Паша Качка-Горбик-Дубинская».

Паша Горбик, в замужестве ставшая Полиной Дубинской, а потом еще матерью, а потом и бабушкой двух внуков, провела в неволе почти пять лет и без всякой помощи с моей стороны освободилась на исходе шестьдесят четвертого года: тогда как раз проходила очередная «разгрузка от балласта» женских колоний и тюрем. Ей повезло: ее признали балластом.

О том, как сложилась после ее оправдания жизнь Паши Качки, нигде не написано. Следы ее затерялись. Имя ее осталось в истории лишь потому, что ее защищал великий Плевако.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

Закончилось судебное следствие, прокурор и адвокат произнесли речи. Осталось заслушать последнее слово подсудимого и огласить приговор.

Судья посмотрел на часы: половина шестого. Рабочий день уже на исходе. «Объявляется перерыв до завтра, — сказал он. — До десяти тридцати».

По привычке я спросил: «А когда приговор?» Опыт подсказывал, что последнее слово займет от силы минуты две. Во время допроса, который длится порою часами, а то и несколько дней, человек выкладывается настолько, что к последнесу слову энергия уже иссякает. На этой — финальной — стадии процесса речистых подсудимых мне вообще видеть не приходилось, а уж из этого и во время допроса ничего нельзя было вытянуть, кроме разве что «да», «нет», «признаю». Он все признавал — о чем же ему говорить в слове последнем? «На ваше усмотрение...» — только это и умели обычно промолвить такие молчаливики, обращаясь к тем, от кого зависела их судьба. Причем всегда по одной и той же модели: ведь обучают несведущих соседи по нарам. Особенно те, кто через эти круги прошел не однажды. У бывалых тюремных сидельцев иллюзий нет никаких: знают прекрасно, что слеза никогда не растопит лед судейских сердец.

Ради трех, ничего не значащих, слов спозаранок тащиться сюда из Москвы — больше часа на электричке?! И потом еще без толку ждать приговора в затхлом и сумрачном коридоре суда, где нет ничего, кроме разломанных деревянных сидений?!

Судья, конечно, прочел мои невеселые мысли. «Приговор будет в двенадцать», — сказал со значением, давая понять, что ввиду абсолютной ясности дела надолго в совещательной комнате он не задержится, что исход процесса ему и кивалам давно уже ясен. И то еще, что разрешает мне пренебречь своим адвокатским долгом и явиться к полудню, чтобы выслушать приговор. Он не был педантом.

До сих пор не могу понять, почему я тогда не воспользовался его благосклонностью. Какой-то внутренний голос подсказал: «Пойди послушай...» Угрюмость этого парня, который на унылом адвокатском жаргоне именовался моим клиентом, плохо вязалась с его умным лицом и вполне очевидной несхожестью с миром шпаны. С живым и очень внимательным взглядом, который он изредка бросал на меня, когда шел перекрестный допрос свидетелей. Мне казалось, он имел что сказать на этом процессе, но — по причинам, о которых я не мог догадаться, — предпочел воздержаться.

Так что — а вдруг?.. И вспомнился еще завет предшественников — корифеев русской адвокатуры: когда подсудимый видит рядом защитника, он не чувствует себя одиноким, даже если тот ничем не может ему помочь.

Ровно в десять тридцать судьи заняли места, оставив в совещательной комнате том уголовного дела, потому что пробыть в судейских креслах им предстояло минуту, не больше, и тут же вернуться обратно, чтобы писать приговор.

Но они не вернулись ни через минуту, ни через час.

Подсудимый, Василий Васильевич Горчаков — двадцати четырех лет от роду, образование среднее, беспартийный, холост, дважды судимый за хулиганство, — едва ему предоставили последнее слово, сразу же дал понять, что никчемной репликой ограничиться не собирается:

— Начнем с кражи из табачного ларька... А была ли она вообще? И если была, при чем тут я? Где доказательства? Верно сказал адвокат: доказательств нет никаких. Меня опознали два свидетеля. Откуда они взялись? Кто и как их нашел? И разве в темноте они не могли ошибиться? Что еще? Сигареты, которые нашли у меня в шкафу. Так они же есть у тысяч людей. Не-

ужели я стал бы их дома держать, если украд?!.. Никаких следов, что они ворованные, на них нет. Двадцать три пачки? Ну и что? Нельзя запастись впрок? Запрещено? Я же заядлый курильщик. А то вы не знаете, какие у нас, по-газетному, перебои. Везде сплошной дефицит. Попробуйте сразу найти то, что вам надо сейчас, а не завтра и не через месяц. Бери, пока есть!.. Что же тогда остается? Ничего. Только выдумки и подозрения. Я два раза судим, и веры мне нет никакой. Потому и решили списать на меня нераскрытую кражу. Нашли козла отпущения. Я так считаю. Надеюсь, вы, граждане судьи, разберетесь во всем объективно и меня оправдаете.

На этом месте Горчаков почему-то запнулся. Облизал пересохшие губы. Наконец, как будто решил.

— Но отпускать меня на волю пока что не надо, — сказал с виноватой усмешкой. — Потому что я все же преступник...

До сих пор судья нетерпеливо поглядывал на часы, досадуя на того, кто зря расходует драгоценное время. Но после слов «я преступник» удобно уселся в кресле, наверно, сообразив, что молчальник не зря ждал той минуты, когда может разговориться. Что Горчаков не ломается, не фиглярствует. Что решил на исповедь, от которой не отмахнуться.

И в зале, как видно, поняли это. Чуткую тишину расколол только звонкий девичий выкрик: «Вася!..» Расколол — и осекся, и было в этом коротеньком слове столько отчаяния, что никто не зашикал, даже судья не слишком-то строго бросил на ту, что кричала, пронизательный взгляд. И Горчаков посмотрел туда же, сказал сурово, словно отдал приказ: «Мила, не плакать! Мы, кажется, договорились».

Я ждал, что судья его оборвет, ведь надо же пресечь беспорядок! Подсудимый обязан обращаться к суду, только к суду, а не к публике, это процесс, а не митинг. Но судья и на этот раз его не прервал, понял, я думаю, что случай выдался исключительный, что перед его глазами, тут вот, сейчас, играет драма, из ряда вон выходящая. Не похожая на то, чем чуть ли не ежедневно ему приходится заниматься. И на что он, утонувший в судебной рутине, не обращает обычно никакого внимания.

Горчаков начал издалека. Из такого далекого далека, что судья имел все основания сразу вернуть его к тягомотине с табач-

мым ларьком. Ибо закон на этот счет недвусмысленно ясен: судья, сказано там, «вправе останавливать подсудимого в тех случаях, когда он касается обстоятельств, явно не имеющих отношения к делу».

Но судья молчал. Молчал и слушал, хотя Горчаков «касался» явно не обстоятельств дела. Он рассказывал о своем детстве. О том, как в четыре года лишился отца (тот погиб, сорвавшись со строительных лесов), а в шесть — матери, которая перед этим долго и трудно болела. Как взяла его к себе тетка и как рос он в этой семье. Мальчишка помнил отца, но дядя Ваня, муж тетки, требовал от приемыша, чтобы тот звал его папой. Отцовство свое утверждал не лаской. И не ремнем. В лучшем случае палкой. А то, случалось, и сапогом.

К тому же дядя Ваня ни на день не просыхал. Компанию ханыг подобрал себе стойкую — один к одному. В нее и вовлек. От всей полноты горячих отцовских чувств. Без младшенького, он сам признавался, бутылка (чаще всего самогон, который гнал втихаря сосед из полуподвала) была ему как бы не всласть. Никакого, не раз говорил, нет у него аппетита приложиться к ней без Васька. Родных детей берег, неродного же приобщал с завидным упорством. И приобщил.

В шестнадцать лет Горчаков за пьяную драку попал в тюрьму. Ни словом тогда не обмолвился, кто сделал из него алкаша, а то бы, наверно, сидеть дяде Ване с ним вместе на скамье подсудимых.

Отбыл Горчаков срок — на первый раз небольшой (учли-таки возраст), вышел на волю отрезвевшим во всех отношениях: и пить завязал, и в дом, где вырос, твердо решил не возвращаться. Не так это просто: в неполные девятнадцать оказаться на полном нуле. Без крова. Без родных. Без средств. Без аттестата. Без специальности. С пятном в биографии, которое, хочешь не хочешь, все время дает знать о себе. Кадровиков на то и рассовали повсюду, чтобы следили и бдили, не пуская уже наследивших в хоромы для чистых и незапятнанных. Воля нужна, чтобы пройти через все это и не сбиться с пути.

Он не сбился. Куда только не зазывали, в какие дела не тянули, а он устоял. Снял угол — сначала под честное слово, по-

скольку платить было нечем. Устроился на завод. И встретил ту, которую полюбил.

Она тоже его полюбила. Вроде бы полюбила... Вроде бы — поскольку давно уже он привык не верить словам. Оттого и засомневался. Но она разубедила. Тем единственным словом, в которое все-таки можно поверить. Ладно, сказала, пойдем под венец, если только мама не встрянет. Она была примерной дочерью, и ему пришлось это по нраву. Тем больше по нраву, что сам он, увы, примерным сыном уже быть не мог.

Легко догадаться: мама взвилась! Ее единственная дочь заслужила, конечно, лучшую долю. Уголовников (к счастью, — уточнила она) в их семье еще не было. И не будет!

Вот тогда-то он снова напился. Словно надорвалась внутри пружинка, которая удерживала его от порочных соблазнов. Все ему было теперь нипочем, и расплата прийти не замедлила.

Он опять ввязался в скандал, перешедший в пьяную драку, оказался в милиции, а потом и в суде. И опять получил срок. На этот раз гораздо покруче. На волю больше не рвался: зачем? и куда? Перечеркнул, сказал Горчаков, свою жизнь черным крестом.

Перечеркнул, — хотя та, кого мама избавила от супружества с хулиганом и которая, хоть и косвенно, была лично причастна к постигшей его беде, узнала неведомым образом адрес колонии и писала туда ему письма. Он их все получил и ни на одно не ответил. Не от злости, а от отчаяния: если мама уже т о г д а была поперек, то теперь-то и вовсе... Потом письма приходят перестали, так что жирный крест перечеркнул, казалось, не только его жизнь, но и несостоявшуюся их любовь.

Вот тут и подвернулся Валерка. Был бы он парень чужой («посторонний», — нашел Горчаков чуть менее резкое слово), — еще куда бы ни шло. Чего не бывает... Но Валерка — сын дяди Вани от первого брака. Родственничек. К тому же ближайший.

— Воспользовался, понимаете, моим положением, — это я дословно цитирую Горчакова. — Навесил лапшу ей на уши. Наплел про меня — не распутаешь. Обмазал с головы до ног. Она и поверила — что с нее взять? Хоть и с паспортом, а головой малолетка. Маменькин корешок... В общем добился он своего, соблазнил...

И опять взвился тоненький голосок в глубине зала: «Вася, не надо...»

Горчаков замолк, осмотрелся. Напрягся, мне показалось, встретившись с кем-то глазами. Может быть, это был дядя Ваня, а может, и сам Валерка. Кто знает...

Он молчал чуть дольше, чем принято, и судья спросил:

— У вас все?

— Нет, — неуверенно произнес Горчаков.

— Тогда продолжайте.

Слова, как видно, не шли. Он ждал вопросов, они вернули бы его в то состояние, которое позволило с такой обнаженностью, перед десятками глаз, излить свою душу. Но вопросов не было и быть не могло. Допрос окончился, шло последнее слово. Последнее — когда никто не может ни перебить, ни оспорить, ни уличить. Когда подсудимый остается с судом один на один и говорит то, что считает нужным. То, что он считает нужным. Только он, и больше никто.

Пауза была мучительно долгой. Горчаков откашлялся, снова окреп его голос.

Он отбыл срок — второй уже срок — от звонка до звонка. В родные края не поехал: «Чего я там забыл? Дядю Ваню с Валеркой? Разбитую жизнь?» Колония дала ему аттестат зрелости и две профессии — слесаря и шофера: отметим, справедливости ради, что такие условия в зловещем Гулаге — криминальном, а не политическом, да еще и с не строгим режимом, — действительно существовали, воспользоваться ими мог каждый, стоило лишь захотеть. Он захотел. За плечами был возраст и трудный жизненный опыт. И убеждение в том, что пора начинать новую — не прежнюю! — жизнь. Снова — с нуля.

Но и для девчонки, с которой он поступил так жестоко, годы тоже прошли не даром. Она обрела то, чего не имела: характер. Она разыскала своего глупого Ваську и заставила его поверить. В себя и в нее. И еще она заставила его вернуться в родной город. Потому что там было не пепелище, там жили не только алкаш дядя Ваня и совратитель Валерка, но еще и она. Там был ее дом. И, значит, — его.

Это, наверно, и была роковая ошибка, потому что здесь, именно здесь, перед тем как отправиться в загс, она рассказа-

ла ему про Валерку. И он ничего не ответил, не упрекнул, принял рассказ ее с нарочитым спокойствием. Качал головой и кусал губы — до крови. «Ловко!» — только и вырвалось у него. Он уже знал, как ему поступить.

— Так вот, граждане судьи, — сказал Горчаков, — в ту ночь, когда кто-то ограбил табачный ларек, я был у Валерки. Остались вдвоем, без свидетелей. Не языками чесали — поговорили руками, как положено мужикам. Только он не мужик... Посмотрите на меня — следов никаких. А теперь — на него: еще и сейчас скула набок. Весь в синяках, а не жалуется. С чего бы это?

Горчаков ткнул пальцем в воздух, и все, буквально все вскочили со своих мест, чтобы увидеть, на кого он показывал. И я, каюсь, тоже вскочил, повинувшись невольному любопытству, но плотная стена других любопытных напрочь закрыла от меня человека с перекошенной скулой, пришедшего сюда, очевидно, затем, чтобы мстительно насладиться позором соперника и врага.

Судья долго водворял порядок, а когда все наконец угомонились, Валерка, напротив, поднялся и, втянув голову в плечи, вышел из зала. Его никто не задерживал.

— У вас все? — снова спросил судья, и Горчаков упрямо ответил: — Нет, еще немного...

Опять была пауза. Наверно, короткая, но в суде, да в такие еще минуты, даже короткая кажется вечностью. Похоже, в самый последний момент он засомневался: стоит ли? нужно ли продолжать? к чему эта исповедь — в переполненном зале, перед чужими людьми?

Махнул рукой: была — не была...

— Вы, возможно, подумали: хочет Горчаков уйти от ответа. Но ведь мне все равно за что сидеть, срок примерно один — что за ларек, что за Валерку. Если за него, то не жалко. За него отсиджу с удовольствием, хотя вам, наверно, это слышать смешно. Да, с удовольствием, потому что за дело... Хочу правды, вот чего я хочу. Мила мне как-то сказала: «Зачем искать правду у чужих людей, если мы не можем ее найти в своей семье?» Ну, с Валеркой у нас общей семьи нет, это во-первых. А во-вторых,

правда нужна мне самому, а не вам и не кому-то еще. Конечно, вы спросите: почему не говорил про все это раньше? Думаю, вы поймете. А не поймете, — что ж, судите за ларек, в претензии я не буду. К нарам привык, трудом не испугаешь. Только бы Мила дождалась. Если любит, конечно...

— Люблю! — бесстрашно выкрикнули из зала.

— Теперь все, — сказал Горчаков и сел.

Вот каким оно было, это последнее слово, и другого такого мне ни разу услышать не довелось.

Лет тридцать назад я уже как-то рассказывал про эту историю, и, повинуясь жестким цензурным правилам, которые никто не мог обойти, пришлось для нее сочинить лучезарный конец. Нечто в жанре рождественской пасторали. Хэппи-энд по-голливудски, но на советский манер. Как принял, естественно, суд во внимание Васькину исповедь, как был терпелив и внимателен, сколь гуманным и милосердным оказалось судебское благоволение, как под свадебный марш пошла в сладкую жизнь пара счастливых советских людей — достойные этой жизни молодожены. Поистине уникальная, драматичнейшая история превратилась в лубок.

Пора вернуться к постылой реальности.

Все, что написано выше, было вкратце рассказано и тогда, и рассказ этот истине соответствовал. Но лишь до сих пор... Теперь, наконец, не будет с правдой в разладе и то, о чем расскажу дальше. Расскажу, как было, а не как должно было быть по лекалам соцреализма.

Исповедь Горчакова произвела на меня, помню, сильное впечатление, и почему-то мне показалось, что такое же произвела на судью. Святая наивность подхлестнула воображение. Я тут же сочинил — сам для себя, — как непременно поступит судья. Вместо приговора он, конечно же, вынесет определение — возвратит дело для нового следствия, чтобы проверить всю ту информацию, которая только что прозвучала в последнем слове Василия Горчакова.

Представить себе какой-то иной выход я просто не мог. Этот был лучшим из всех возможных. Справедливым и честным. Но был у него и минус: Горчаков в таком случае сразу же

оказался бы снова в руках прокуратуры, где участие адвоката, даже просто свидание с обвиняемым, по тогдашним законам исключалось категорически. Оставался единственный шанс — поговорить с ним, хотя бы и наспех, прямо сейчас, пока судьи еще не вернулись из совещательной комнаты. Тем более что остался один важный вопрос, на который сам Горчаков в своем очень подробном рассказе ответа так и не дал.

В обвинительном заключении было сказано, что он холост. А из последнего слова с очевидностью вытекало, что с Милой, как принято до сих пор выражаться, они «расписались». Для преступления, в котором его обвиняли, никакого значения эта маленькая деталь не имела, при новом же следствии — я несколько не сомневался, что новое будет — она станет едва ли не главной.

— Нет, все правильно, — огорошил меня Горчаков. — Никто ничего не напутал. Свадьба не состоялась. — Он увидел, с какой миной я встретил это его сообщение, но интригу не закрутил, играть в прятки не стал, ибо времени у нас для беседы и так было в обрез. — Уже и машину нам подогнали, чтобы всем ехать в загс, и тут мне Милка вдруг говорит: «Я вижу, что с тобой творится. Ты же сам на себя не похож. Не будет у нас с тобой жизни, отбой!» Так и не расписались. Ну, а потом, на холодную голову, когда и я отошел, и она, тут как раз на меня сигареты повесили, так что все — одно к одному. Складненько так получилось. Что-то есть в этом, правда?

Не думаю, чтобы он ждал от меня ответа. Да и каким мог бы он быть? Речь Горчакова, живость ума, стиль разговора никак не вязались с обликом хулигана — таким, каким он предстал со страниц уголовного дела. Я пытался осмыслить то, что он мне рассказал, но Горчаков прервал мои размышления еще одной, совсем неожиданной, версией.

— По-моему, это Валерка и вывел ментов на меня. У них провал, раскрыть кражу не могут, а он с ними впритирку. Всегда на подхвате. Намекнул... Те сразу и ухватились. Все, получилось, довольны — и он, и менты. Вам так не кажется?

Почему бы и нет? — подумалось мне. Правда, этот Валерка, хоть и промелькнул предо мной скособоченным ликом всего-навсего на мгновение, не показался таким уж чудовищем: плю-

гавенький, перепуганный, вполне благонаправный с виду. В чем-то даже и симпатичный.

— Всякое дерьмо хочет пахнуть одеколоном, — философски отреагировал на мои слова Горчаков.

И тут дверь открылась, из своего закутка, с исписанными листами в руках, вывалился судья, за которым плелись кивалы-пенсионеры, и я, все еще не сомневаясь в желанном исходе («вернуть на доследование»), тут же подумал: когда успели они эти листы исписать, не пробыв в совещательной даже и получаса. Домашняя заготовка выпирала вполне очевидно, и скрывать это судья вовсе не собирался. Зачем? Я же все равно промолчу... Попробуй только сказать — запросто вылетишь из адвокатуры: оклеветал наш независимый, наш гуманный советский суд.

Ни один довод, который привел Горчаков в исповедальном последнем слове, ни малейшего отражения в приговоре вообще не нашел. Словно тот битый час и не раскрывал перед судьями свою душу. Словно не выложил им такие факты и доводы, которые переворачивали вверх дном все хлипкое здание обвинения. Словно все они, эти факты и доводы, пусть даже и лживые, не нуждались в проверке. Как вообще без проверки счесть их за лживые? Ну, а вдруг, а вдруг в них чистая правда? Но кому нужна она, чистая правда?

«Зачем искать правду у чужих людей?» — вспомнилось мне. Да что там у чужих — у кого бы то ни было... И слово это лучше оставить в покое: годится лишь для названия главной газеты страны. Перед нами, в торжественной стойке, словно аршин проглотили, безмятежно слушали свой беспощадный вердикт не просто чужие (какой там чужие!) — глубоко равнодушные, если не злобные, люди. Один из них, тот, что так мягко стлал, вряд ли слышал себя самого — ровным, едва ли не паточным, голосом он читал безграмотное свое сочинение от имени (вот это — по справедливости!) Российской Советской Федеративной: «обвинение полностью доказано», «совершил тяжкое преступление», «признать особо опасным рецидивистом»...

И — под самый конец: семь лет в колонии строгого режима! Семь лет... Российская Советская обнажала во всей нетленной красе свой истинный лик.

Он не был, наверно, злодеем, этот судья. Просто как человеку ему был, думаю, интересен рассказ Горчакова, он слушал его с неподдельным вниманием, возможно, даже сочувствовал и, наверно, за ужином, в семейном кругу, потешил домашних слезливой историйкой, не слишком привычной для их захолустья. Но «при исполнении» он был заурядным, послушным служакой, состоял на учете в той же партийной организации, что и городской прокурор. За подрыв прокурорского авторитета ему бы лихо досталось: ведь возвратить на следствие значит публично признать допущенный брак. Не тот случай, чтобы ломать копыя. Себе дороже...

Оглашенная цифра — семь лет! — жутко прозвучала в гнетущей тишине переполненного, хоть и не слишком большого, зала, и еще до того, как судья завершил свою декламацию, голос Милы страдальчески взорвал тишину: «Вася-а-а!...» Судья даже не шелохнулся. Призывать к порядку больше не было необходимости: праведный суд свершился.

Не судья, а Горчаков спокойно и строго сказал: «Отставить!»

И голос снова осекся.

Все это случилось в самом конце моей адвокатской карьеры. Я уже был готов круто повернуть свою жизнь, уже договорился с редакцией, что из постоянного автора превращаюсь в сотрудника и полностью отдаюсь журналистике, не деля ее с адвокатской трибуной. Но все колебался, оттягивал, все сомневался — семейные традиции и двадцать лет, проведенных в адвокатуре, держали в узде, не позволяя сделать решительный шаг и пойти совсем по другой дороге. Дело Горчакова переполнило чашу. Оставалось лишь довести его до конца.

Я подал, разумеется, кассационную жалобу. Потом, когда, как водится, ее отклонили, ходил по инстанциям, надеясь на то, что кто-то все же найдется — если не справедливый, то не зашоренный. Да просто хоть любопытный. Напрасно! Лишь один прокурор на Кузнецком мосту (там располагалась прокуратура республики), притом весьма скромного чина, к которому я не без мучений попал на прием, снизошел до краткого разговора со мной, да и то, по-моему, с единственной целью:

разъяснить настырному адвокату, что в юриспруденции он беспросветный невежда.

— Ну, при чем тут побил, не побил? Какая скула? Разве вам не известно, что семейная драка дело частного обвинения? Прокуратура этим не занимается. Вас должны были этому научить еще в институте. Не научили, а диплом выдали... Разъясняю: каждый в таких случаях сам решает, простить обидчика или преследовать его по суду. Раз потерпевший не имеет претензий, — тогда какое дело до этого следствию? Что прикажете нам расследовать?

— Да хотя бы алиби, алиби! — вырвалось у меня. — Дело не в драке, а в том, когда это было. И почему подозрение пало на Горчакова. С чего все началось...

Прокурор махнул рукой, давая понять, что с таким идиотом, как я, ему разговаривать не о чем.

— Вина доказана полностью, — надменно подвел он черту под нашей беседой.

Я тоже подвел черту, только другую: под своей адвокатской карьерой. Окончательно понял, насколько нелепа и даже двусмысленна моя декоративная роль, придающая инквизиционному по сути процессу видимость демократизма. К кому и к чему взывать в этих залах? Тот, кто не хочет слышать, хуже глухого. Властители судеб слышали только себя. И тех еще — главное тех, кто давал им инструкции и направлял. Кивалами, в сущности, были не столько безгласные заседатели, сколько те, кому они покорно кивали. А те — вышестоящим. А вышестоящие — тем, кто еще выше. Глухота являлась первейшим и непременным признаком профессиональной пригодности, и этому выводу, который я для себя сделал, не мешало то обстоятельство, что иногда — крайне редко, но все же, — до кого-то удавалось и достучаться. Исключения, которые лишь подтверждали правило.

Так и не знаю, зачем беспощадный каток советской Фемиды равнодушно прокатился по двум (если бы только по двум!) человеческим судьбам, искалечив жизнь самых что ни на есть «обыкновенных» людей, которые никому ни в чем не мешали. Которые, как тогда трубила печать, если и ошибались, то из

ошибок своих действительно извлекали уроки. За что мстил им режим? Почему с таким фанатизмом он делал лояльных и верных своими врагами?

Когда я покинул адвокатуру, мой коллега продолжал хлопотать за Горчакова, проникшись симпатией уже не к нему (он его никогда не видел), а к Миле, теперь Людмиле Петровне, на глазах превратившейся в издерганную, усталую женщину, хотя она еще, в сущности, и не начинала жить. Отсутствие штампа в паспорте не давало ей права даже на то, чтобы иметь свидание с осужденным. «Вы ему кто?» — «Жена». — «Вы не жена, а сожительница. Советский закон не поощряет разврат». После такой сентенции и жить не хотелось... Ханжеский гуманизм режима достойно себя проявлял на каждом шагу, раскрывая истинную, не показушную суть того «морального кодекса» в действии, про который прожужжала тогда все уши партпропаганда.

Насколько я знаю, мой коллега продолжал биться за Горчакова еще года два. Результат был все тот же, другим он быть просто не мог. Глухота и бездушие — тот порок, от которого можно избавиться лишь социальным взрывом.

НОРКОВОЕ МАНТО

Дело это я не вел, ни на одном заседании суда не присутствовал, ни с одним из его участников («фигурантов», если пользоваться идиотским юридическим сленгом) никогда не встречался. Одного, впрочем — точнее, одну, самую главную, — дважды видел и слышал из глубины зрительного зала: более близким знакомством похвастаться не могу.

И однако — по маминым рассказам и по разрозненным листкам, которые я нашел в ее адвокатском архиве и собрал воедино, — могу восстановить его фабулу, ничуть не удаляясь от имевших место реальных событий. Фабула, право, того заслуживает, мораль лежит на поверхности, а психологические портреты действующих лиц, — как главных, так и второстепенных, — дают простор для суждений и толкований. Проявившись с необычайной рельефностью в необычайной ситуации, эти портреты напоминают о том, что в обычной жизни, при плавном ее течении, человек сплошь и рядом предстает для окружающих в достаточно плоском и, значит, ложном изображении. Лишь экстремальные обстоятельства вынуждают его в полной мере обнажить свою истинную сущность.

Теоретически это все хорошо известно. Из литературы — известно тоже. Но вот — голые факты, без малейших прикрас, со всей их противоречивостью. Только ради этого я и решаюсь рассказать об одной давней истории, которая более полувека назад, с весьма большими, надо сказать, отступлениями от истины, была широко известна в узких кругах, позаботившихся о

том, чтобы слух о ней из этого круга не вышел. Кажется, они преуспели.

Это случилось в первую послевоенную осень. В ноябре сорок пятого. Москва стремительно, даже, пожалуй, с излишней нервозностью, отходила от того аскетизма, в котором пребывала долгих четыре года: словно наверстывала упущенное. Правда, какой-то возврат к прежней жизни начался уже весной сорок четвертого: появились «коммерческие» магазины, где за большие деньги (их скопилось немало у самых разных людей) продавались даже деликатесы, а рестораны, тоже «коммерческие», ломались от посетителей — особенно тех, кто обладал так называемыми «лимитными книжками»: элита получила право на большие скидки — до тридцати, а то и до пятидесяти процентов.

Но все это пахло пиром во время чумы. Ресторан — не столовая, туда ходили обычно не для того, чтобы набить желудок. У многих военная обстановка неизбежно включала незримые тормоза, мешая расслабиться и поймать кайф. С окончанием войны тормоза эти действовать перестали, люди возвращались в, казалось, далекое прошлое — в блаженную беззаботность. Если, конечно, могли себе это позволить.

Женщина, которая станет главным персонажем нашей краткой новеллы, безусловно, могла. Это была довольно знаменитая в ту пору оперная певица — не первого ряда, но и безусловно не третьего. Она имела, хотя и не очень сильный, но приятный голос — приятный, не более того, — была плотно занята в репертуаре и часто звучала по радио, что создавало ей популярность — больше той, мне кажется, которую заслуживала при своих скромных данных.

Особую пикантность ее известности придавал слушок — возможно, и не лишенный на то оснований, — что повышенное внимание к ней проявляет один из очень влиятельных кремлевских товарищей, во что вполне можно было поверить, поскольку куда больше, чем голосом, она отличалась статью и красотой. К тому же о тогдашнем поветрии — пылкой тяге партийно-чекистской элиты к певицам и балеринам — знала в те годы едва ли не «вся Москва»: ролями и лаврами часто, в сущ-

ности, одаривали вовсе не их самих, а покровителей высокого ранга. Порою — подлинных, случалось — и мнимых. Все зависело от того, на какой ступени парадной лестницы находился закулисный тот покровитель и как близко к нему находились они сами.

Вот почему какое-то время — кстати, не очень и долгое — нашей артистке доставалось значительно больше того, чем ей следовало по уровню ее скромного дарования. Но как раз в тот период, о котором идет речь, она ходила еще в фаворитках, что не могло не влиять и на ее поведение в приключившейся с нею истории и на то, какой ход той истории был впоследствии дан.

Артисты всегда любили богемность. В советских условиях для ее проявления было мало возможностей. Разве что ужин в своей компании и в дорогом ресторане. «Злачных» мест в ту пору было не так уж много, но актерский круг (элитарный опять же) облюбовал еще с довоенных времен несколько золотых островков в центре Москвы. Кроме артистических и иных «творческих» клубов, популярностью пользовались уютное кафе напротив МХАТа (оно так и называлось: «Артистическое»), коктейль-холл в начале улицы Горького (на его месте устроили потом кафе-мороженое), а любителям особого шика верно служили теперь уже вообще не существующий «Гранд-отель», равно как и полностью переделанные, лишившиеся прежнего обаяния «Савой», позже ставший «Берлином», «Националь» и «Метрополь». Многие из этих заведений работали тогда на правах коммерческих ресторанов (с соответствующими ценами, разумеется) до глубокой ночи, а то и до самого утра, танцы в иных начинались только в одиннадцать или в полночь, так что театральная публика, да и сами артисты, не спеша, могли с комфортом расслабиться после спектакля. Посидеть за столом, отработав на сцене, — эта давняя мода обрела новый импульс сразу после войны: естественная реакция на лишения, которые приходилось терпеть в течение нескольких лет.

Небольшая компания друзей — все сплошь заслуженные или народные — собралась в тот вечер поужинать «на Пушечной»: так написано, почему-то без уточнения, в тех бумагах, которые я мог прочитать. Вероятней всего, в ЦДРИ. Но, может быть, и в «Савое», хотя фасадом он выходил на Рождественку:

«Савой» был тогда в большущем фаворе. Отпев свою партию, наша певица пришла туда тоже, как обещала, когда почти все успели уже и принять, и закусить. Пришла почему-то не в духе. С женщинами такое случается. С артистками — и подавно. Никто ее хмурости не удивился, тем более что к капризам звезды было не привыкать.

Есть версия — я слышал ее от знатоков театрального закулисья, — что как раз в это время страсть высокого покровителя слегка поостыла, его внимание переключилось на другую звезду, которой по всем показателям она уступала. Никто про это пока еще не прознал, но сама героиня, конечно, раньше, чем все остальные, могла почувствовать перемены в движении попутного ветра. Если таковой, скажу это снова, действительно был.

Так или иначе, за столом звезда не засиделась. Пригубила рюмку, поковыряла в салате — и вдруг поднялась, сославшись на усталость и головную боль. Ничего необычного в этом не было — для актерской компании это даже не служило предлогом: усталость после спектакля каждый из них испытывал множество раз. Не нашлось никого, кто хотел бы лишиться себя вечернего удовольствия и сопроводить певицу до дома. Ночная прогулка по центру Москвы не сулила тогда никакой опасности, а идти до дома от Пушкинской ей предстояло от силы пятнадцать минут. Если не меньше...

Певица жила в знаменитом еще и сейчас доме в Брюсовском переулке, сплошь увешанном ныне мемориальными досками: дом был построен для звезд Большого, там они и жили в близком соседстве друг с другом — божественная Обухова, прославленные Рейзен и Пирогов, уже сошедшая со сцены, гремевшая некогда балерина Викторина Кригер и еще много других с такими же звонкими именами. Они так и остались соседями, теперь уже по мраморным плитам, — как и в жизни, соревнуясь между собой: тяжестью звания, высеченного на них, именами скульпторов, эти плиты создавших, красотой материала, эстетикой своих барельефов.

Певица, однако, домой не спешила. Что-то ее беспокоило. Даже, может быть, угнетало. Не исключено, что как раз те лич-

ные неприятности (или только их ожидание), которые могли сказаться на ее актерской и женской судьбе. Документальных свидетельств на этот счет нет никаких, гадать негоже, хотя и хочется: не любопытства, а точности ради. Но допытываться у певицы про ее душевные переживания никто впоследствии не посмел, так что важное, даже, пожалуй, важнейшее звено в том сюжете, который стал предметом исследования, осталось непроявленным.

Дело в том, что певица — в полном одиночестве и в весьма неурочный час — почему-то решила возвращаться домой не на такси, вызвать которое по телефону не представляло никакого труда, а пешком, притом не кратчайшим путем, напрямик — по Кузнецкому мосту и далее мимо МХАТа, — а куда более длинным: дошла по Неглинной до Трубной площади, оттуда по бульвару направилась к Пушкинской, чтобы спуститься потом по улице Горького к своему переулку. «Мне хотелось остаться одной и пройтись по ночному городу, чтобы немного прийти в себя», — глухо отметит она в единственном письменном объяснении, которое осталось в судебном архиве. Никаких уточняющих вопросов ей задано не было (магия имени?), хотя для беспристрастного и объективного изучения всего происшедшего избежать уточнения было попросту невозможно.

Но — избежали: скорее всего, по чьему-то негласному указанию. И тем самым версия обвинения осталась не подкрепленной ничем. Не подкрепленной — и однако же непределаемой...

На полпути от Трубной площади до Петровских ворот, по той же опять-таки версии, певица заметила, что ей навстречу идет одинокий мужчина. Уклониться от встречи она не могла: не было поблизости ни одной дорожки, которая вывела бы ее с центральной аллеи бульвара на уличный тротуар. Да если бы и была, что бы ей это дало — ночью, при полном безлюдье?..

Певица спокойно продолжила свой путь и поровнялась с мужчиной. В темноте, при очень слабом свете отдаленного фонаря, она разглядела лишь, что это «крепкого телосложения и, наверно, не очень сильный молодой человек», с которым она все равно не смогла бы справиться, даже если бы и попыталась. Молодой человек, писала впоследствии певица все в том же,

единственном, письменном своем объяснении, подошел к ней вплотную, огляделся по сторонам и властным тоном, «тихо, но внятно», повелел снять меховое манто.

Какой грабитель поступил бы иначе? Модная тогда шубка из норки, созданная к тому же руками скорняжьего виртуоза из цехов Большого театра, обладала немалой ценностью, а беззащитная женщина на пустынном ночном бульваре вряд ли могла оказать реальное сопротивление даже не очень сильному. Она, конечно, не оказала. Но в запасе у жертвы было иное оружие, которым она не преминула воспользоваться, быстро сообразив, что мужчина «хорош собой и, значит, возможно, падок на женские слезы» (читая годы спустя эти строки, я от смеха чуть не упал со стула), а кроме того — почему бы и нет? — слышал по радио ее бархатный голос. Даже, возможно, бывал на спектаклях, где она пела.

Певица представилась, поспешно добавив, что отдаст ему все, о чем он попросит, но, лишившись манто в холодную ночь, навсегда потеряет голос. «Если вы хотите меня убить, забирайте манто сразу, — слезно сказала певица, пронзая сердце сентиментального грабителя, — а если в вас есть хоть капля жалости, доведите меня до дома, тут недалеко, и заберите манто».

Грабитель, по ее словам, сразу же согласился. Он показал ей маленький пистолет и «что-то похожее на кинжал», предупредив, что безжалостно ее убьет, если она «попробует пикнуть». Вступив таким образом в молчаливый союз, певица и ее конвоир («на нем было хорошее драповое пальто», — проявив завидную наблюдательность в столь острый момент, отметила жертва и такую деталь) пошли по бульвару, достигли Пушкинской площади, уже вполне освещенной, охраняемой постовыми, к которым она за помощью не обратилась, помня, как видно, о пистолете. И о чем-то еще, что напоминало кинжал.

Стали спускаться по улице Горького. Он, в своем «хорошем драповом», и она в своей норке гляделись, наверно, любовной парой, засидевшейся в ресторане или в гостях. Возле Моссовета, нынешней резиденции мэра, напротив которой еще не восседал на коне Долгорукий, но уже и не стоял обелиск Свободы (он был взорван по верховному указанию в сорок первом году), им попалась навстречу часть компании изрядно уже окосевших

гуляк, которую она оставила в ЦДРИ (в «Савое»?) около часа назад. Гуляки поднялись по Столешникову переулку и теперь спешили перейти пустынную в этот час улицу, чтобы засечь с поличным надувшую их певицу.

Грабитель еще сильнее прижал к себе локоть дамы, которую вел под руку, а та «сразу почувствовала в боку то ли дуло пистолета, то ли острие кинжала». Как это могло получиться (одной и той же рукой прижимал к себе ее локоть и шпынял в бок кинжалом?), никто не знает. Да, похоже, никто и не проявил интереса. А вот компания поняла мизансцену только так, как и мог бы ее понять любой на их месте: под благовидным предлогом певица покинула общий стол, чтобы встретиться с крепкого телосложения молодым человеком, облаченным к тому же в хорошее драповое пальто. И вот теперь, после краткого ночного свидания, кавалер, как и положено, провожает даму домой...

Выслушав с вымученной улыбкой порцию двусмысленных шуток и никак на них не ответив, певица и ее спутник продолжили путь. Грабитель в течение всей этой сцены не промолвил ни единого слова. Стоял, не выпуская локтя певицы из своей руки и опустив голову, хотя скрыть лицо, естественно, не мог: опознать его впоследствии не составило никакого труда. Обратиться за помощью к встретившей их компании певица не рискнула, чувствуя в боку «прикосновение оружия» и опасаясь за свою жизнь.

Но стоило ли ей опасаться? Что бы мог злоумышленник сделать, да будь у него хоть пушка, оказавшись на главном проспекте Москвы рядом с четырьмя мужиками? Этот вопрос, похоже, потом даже не встал.

Один из компании жил в том же доме, что и певица, но проявил деликатность и дал возможность «влюбленным» завершить прогулку наедине. Пара молча дошла до того подъезда, где располагалась квартира певицы... «Боясь, что угроза будет приведена в исполнение, — писала она назавтра в своем «объяснении», неосознанно пользуясь привычным клише тех времен: каждый день приводили в исполнение смертные приговоры, — я сняла с себя меховое пальто и отдала грабителю. Он, демонстрируя свое благородство, а на самом деле, конечно, от страха быть пойманным прямо с уликой в руках,

отказался от своего воровского намерения и вернул мне пальто, сказав, что оно сбережет мне голос. Я не знала, что он задумал. Все еще боясь его и стараясь задобрить, я отдала ему все деньги, которые у меня были с собой, точную сумму назвать не могу, потому что не помню, я их не считала, но приблизительно тысячи две или три. Он взял и ушел. /.../ Как только я в полубморочном состоянии добралась до квартиры, сразу же позвонила в милицию».

Певица, судя по всему (какого-либо документа, подтверждающего это, я в материнском архиве не нашел), действительно позвонила сразу, потому что милицейский патруль, срочно выехавший с Петровки, задержал одинокого мужчину все на той же, по-прежнему пустынной, улице Горького — он шел в обратном направлении и был обнаружен на подходе к Пушкинской площади. Из протокола задержания мама выписала две такие подробности: «одет в пальто нараспашку» (температура была минусовая — наверно, потому эта деталь и отмечена) и совершенно трезв («никаких признаков опьянения не обнаружено»). При личном обыске были изъяты трофейный немецкий браунинг, морской кортик и деньги в сумме четырех тысяч двухсот рублей. Так что сбивчивый, но полный важной конкретики рассказ певицы, записанный милицейским дежурным по телефону, сразу же нашел свое подтверждение.

Правда, впопыхах, как видно, певица забыла отметить, что в подъезде дома, где находится ее квартира, круглосуточно дежурила лифтерша. Наутро та подтвердила в милиции, что певицу провожал до дома какой-то мужчина, что они «мирно поговорили минут пять», а потом расстались, и что, проходя мимо нее, певица никак не выдала свое отношение к тому потрясению, которое она испытала: «Прошла, как ни в чем не бывало, и пожелала спокойной ночи».

Между тем, у лифтерши был телефон — позвонить в милицию было можно сразу же, не теряя драгоценного времени. Но в стрессовом состоянии человек не всегда поступает разумно, да и, скорее всего, лишь закрыв на все замки дверь своей квартиры, певица могла, наконец, почувствовать себя в безопасности. Так что никакой поправки в уже сложившуюся схему ночного происшествия показания лифтерши не внесли.

Имя задержанного, в отличие от имени потерпевшей, не вижу надобности скрывать: Николай Николаевич Васецкий, 1909 года рождения, демобилизованный из военно-морского флота по болезни и по ранению капитан третьего ранга, служивший до этого в одном из штабных подразделений на Балтике, а к моменту задержания нигде не работавший, из-за чего милицейский чин написал в протоколе задержания: «лицо без определенных занятий». Уже одно это звучало, как криминал...

Впрочем, криминалом все выглядело и без поспешной записи протоколиста. Притом — криминалом весьма тревожным. Дело даже не в том, что Васецкий подходил под статью о разбое («вооруженное нападение с целью завладения имуществом, сопряженное с угрозой насилия, опасного для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению»). Ему предстояло еще отвечать за незаконное хранение огнестрельного и холодного оружия, что само по себе, даже если бы он не напал на певицу, могло обернуться не одним годом тюрьмы. К тому же браунинг был заряжен и находился в полной готовности к употреблению по прямому своему назначению. И с этой-то вот игрушкой в кармане демобилизованный капитан разгуливал по ночной Москве! По самому ее центру! В сорок пятом году! Хоть и после войны, но все-таки — в сорок пятом...

Сначала Васецкому показалось, что он задержан в ходе «обычной» проверки ночных прохожих, не имевшей отношения к нему непосредственно: полгода, прошедшие после победного Мая, не вытравили из сознания обычаи военной поры, когда никто не удивлялся бдительности милицейских постов, проверявших в ночное время документы у всех прохожих без исключения. Похоже, капитан не встревожился и оттого, что у него изъяли оружие: какой боевой офицер обходился тогда без него, а морской офицер — еще и без кортика? Дать объяснение этой милицейской находке — так ему, наверно, казалось — не представляло никакого труда. Насторожил, однако, вопрос: «Какая часть денег, которые у вас изъяты, принадлежит лично вам?» — «Все мои», — уверенно ответил Васецкий, после чего был водворен в камеру до утра, когда им стали заниматься совсем другие товарищи.

От них-то он и узнал — это уже его, разумеется, версия, — что минувшей ночью совершил «покушение на ограбление гражданки такой-то», хотя письменного заявления об этом «такая-то» еще не прислала. Васецкий категорически отверг это «вздорное обвинение», настаивая на явке той самой гражданки, дабы она сама опровергла «гнусную клевету или, если ее действительно хотели ограбить, при опознании сняла бы (с него) подозрения».

Гражданку вызвали, но она, естественно, не явилась «по причине занятости в театре». Новых вызовов не последовало: факт совершенно немыслимый и более чем красноречивый. Не знаю, использовал ли как-то защитник Васецкого — потом, во время процесса — это беспрецедентное нарушение закона. Но сам разгневанный капитан, не склонный с рабской покорностью идти на эшафот, в устной и письменной форме потребовал «оградить» его — «честного офицера Краснознаменного Балтийского флота, имеющего боевые награды» — от «клеветнических измышлений и шантажа», от попытки «повесить» на него преступление, возможно, совершенное кем-то другим.

Вместо ограждения следователь военной прокуратуры Гулько предложил ему, «не торопясь, получше подумать», а потом чистосердечно признаться, с какой целью он «разгуливал с заряженным и готовым к выстрелу пистолетом по центру Москвы в ночное время», пообещав, в случае отказа от покаянного признания, «впясть, кроме разбоя, еще такую статью, от которой тот закачается». Васецкий думал, не торопясь, но ни в чем не признался.

Гулько сдержал обещание. То есть — впял.

Мама к тому времени уже перешла в адвокатуру, покинув — не по своей воле и не по своей вине — пост начальника юридического отдела Всесоюзного Радиокomiteта. Работая на радио, она встречалась, а то и была близко знакома, со многими людьми искусства, прежде всего с музыкантами и вокалистами, но певицу, оказавшуюся в центре загадочной криминальной истории, о которой судачили московские сплетники, лично не знала. Зато имя ее знала отлично и слышала ее, конечно, не раз — и в театре, и в концертах, и по радио. Оттого и

сразу же согласилась на участие в процессе, где певица значилась потерпевшей.

Впрочем, место, которое маме было отведено, назвать участием в процессе можно было разве что с очень большой натяжкой. Маме позвонил ее сокурсник по университету Евгений Давыдович Лури, возглавлявший тогда юридический отдел Комитета по делам искусств, и попросил помочь знаменитой солистке. «Она залетела в интересное положение», — такую он, хохмач и пересмешник, дал дефиницию той роли, которую на этот раз певице предстояло занять. Не на сцене, а в зале суда. С точки зрения юридической положение было не так уж и интересным, зато, безусловно, странным и непонятным. Хотя бы уже потому, что в обвинительном заключении певица именовалась и потерпевшей, и свидетельницей одновременно.

В качестве потерпевшей ее явка на суд не была обязательной, свидетель же уклониться от явки не мог ни под каким предлогом. Певица не желала являться «даже в наручниках» (так пошутил Евгений Давыдович): в том, чтобы избавить ее от этих «наручников», хотя бы и символических, как раз и состояла деликатность той ситуации, в которой пребывала не столько сама певица, сколько мама, ее адвокат. Ведь свидетелям адвокаты не полагались, так что в этом несуществующем качестве места в процессе у адвоката не было никакого. В него можно было бы вступить на правах представителя интересов потерпевшей, но певица (весьма раздраженно, как рассказывала мне мама впоследствии) разъяснила по телефону, что «никаких интересов» в исходе дела не имеет и иметь не желает, а спасти ее от явки на суд в качестве потерпевшей не было и во все нужды.

Напомню: лично присутствовать на суде потерпевшему или уклониться от явки — его монопольное право, никакой адвокатской подпорки для этого ему не нужно. Лури не мог этого не разъяснить перепуганной чем-то певице. Тем не менее она во что бы ни стало желала заручиться помощью адвоката, хотя ей-то уж во всяком случае ничего не грозило.

Выполняя просьбу своего приятеля и коллеги, а в еще большей мере движимая любопытством, мама все же получила ордер юридической консультации на ознакомление с делом в

качестве представителя потерпевшей. И сделала кое-какие выписки, не слишком подробные, поскольку знала уже, что в самом процессе ей участвовать не придется. Знала бы, что многие годы спустя сыну захочется о нем написать, — наверно, подготовила бы для домашнего архива куда более содержательное досье. Но довольствуемся и тем, что осталось: даже разрозненные листки, чудом уцелевшие на протяжении более полувека, высвечивают не только любопытные штрихи биографии давно забытой уже знаменитости, но и обогащают наши представления о нравах ушедшего времени.

Что касается нравов, — так ли уж далеко это время ушло?

Васецкий был предан суду военного трибунала по обвинению не только в покушении на разбой, но еще и в приготовлении к совершению террористического акта. Покушение, приготовление... Для таких обвинений доказательства в общем-то не нужны (обвиняемый ничего ведь не сделал фактически — всего-навсего готовился и покушался), зато звучит зловеще и неотвратимо. Бесконечные теракты и подготовка к их совершению были тогда дежурным пропагандистским блюдом — столь обиходным, что не вызывали ни малейшего удивления: чуть ли не вся страна состояла из террористов, диверсантов, шпионов и саботажников. Одним больше, одним меньше...

Если в покушении на разбой был хотя бы известен конкретный объект покушения, то «приготовление к теракту» отличалось полной размытостью: на кого покушался Васецкий, в чем оно, покушение это, хоть как-нибудь проявилось, где, как и когда собирался он свое намерение осуществить? Будь в деле хоть малейший намек на это, мама его бы отметила. Или запомнила, чтобы позже мне рассказать. Но в деле про это злодейство не было ничего, а защищавший Васецкого адвокат даже не позволил себе усомниться в достоверности грозного обвинения: с Лубянской не спорили, в «политических» процессах адвокату, если он сам не хотел загреметь, оставалось тогда лишь просить о пощаде.

Между тем сам Васецкий, которому нечего было терять, решительно вступил в неравный, обреченный на провал поеди-

нок, сразу же отвергнув все обвинения, которые были ему вменены. Все — до одного. Включая и то, с которого все началось: разбойное нападение на певицу. Ничуть не заботясь о ее репутации, а спасая свою — не репутацию даже, а жизнь, — он заявил, что знал певицу еще с военных времен (та приезжала на Балтику в составе фронтовых концертных бригад), что «встречался» с ней позже в Москве — «не очень часто, но несколько раз», — что в тот вечер у них было заранее назначено свидание на Петровском бульваре и что, естественно, ни о каком ограблении не могло быть и речи: «ее застукали с поличным, — записано с его слов в протоколе допроса, — и ей просто надо было как-то спасти свое доброе имя, не останавливаясь перед тем, чтобы оболгать ни в чем не виновного человека».

Довод этот был отвергнут без проверки — назван, как водится, клеветническим. Продиктованным желанием во что бы то ни стало уйти от ответственности! Хотя многое говорило о том, что объяснения эти похожи на правду (одинокая ночная прогулка певицы, театральность того благородного рыцарства, которое проявил грабитель, поведение ее и его при встрече с загулявшей компанией, показания лифтерши, эпизод с пистолетом и кинжалом в кармане — да все вообще обстоятельства дела, где, по версии потерпевшей, одна деталь никак не стыковалась с другой). Демонстративное нежелание героини встретиться лицом к лицу с «разбойником» тоже подвергало тогда и подвергает сейчас сомнению ее версию. Как и показания свидетелей из числа застольной компании — назову по имени лишь одного: известного певца Пантелеймона Марковича Норцова, лучшего, наверно, в те годы Евгения Онегина.

Это он жил в том же доме, что и пострадавшая певица, и, встретив парочку возле здания Моссовета, деликатно уклонился от дальнейшего ее сопровождения. «Оба казались очень смущенными, — рассказывал Норцов на следствии. — (Певица), вероятно, боялась подвергнуться насилию с его стороны, а он, вероятно, боялся, что она его выдаст и призовет нас на помощь». Вероятно... На самом же деле, эти объяснения «потерпевшей» и, по вполне понятной и извинительной причине, пришедшего ей на помощь коллеги вопиют о неправдоподобности, ничуть не встревожившей, однако, ни следователя, ни суд.

Но, с другой стороны, смущает полная беспомощность от важного Васецкого, яростно сражавшегося за свою жизнь и свободу и не подтвердившего в то же время ни одним убедительным доказательством свою версию событий. Он не объяснил, например, где и как встречался раньше с певицей, — ведь это легко подвергалось проверке. Не раскрыл способ контакта с нею (если по телефону, — мог бы назвать его номер). Обошел молчанием важный вопрос: как узнала она, что в его кармане кортик и заряженный пистолет, да еще и довольно большая по тем временам сумма денег. Не сказал вообще ничего, что могло бы изобличить ее во лжи. Неужто — из того же бутафорского благородства, в ожидании неизбежно сурового, а то и просто смертного, приговора, который вполне реально ему грозил?

Много позже, когда мама рассказала мне об этой истории, я спросил директора ЦДРИ (он уже стал к тому времени директором ЦДЛ) Бориса Михайловича Филиппова, возглавлявшего в годы войны концертные фронтовые бригады, ездила ли в их составе певица на Балтику. Филиппов решительно это отверг, сообщив к тому же, что, насколько он помнит, эта артистка вообще не входила ни в одну из бригад и на фронт ни разу не выезжала.

Тогда, может быть, все-таки ближе к истине была первоначальная версия, то есть принятые следствием как беспорная данность показания потерпевшей певицы, а сомнения, если они и возникли, то лишь потому, что эпизод с ограблением утонул в куда более привлекательном, куда более перспективном для карьерных юристов «деле о теракте»: за такие раскрутки давали тогда ордена и повышали в воинском звании. Эта липа сегодня, по-моему, не представляет ни малейшего интереса (были сколочены десятки тысяч подобных дел, и все на одну колодку), а вот эпизод с ограблением, имея он место на самом деле, психологически любопытен, как, кстати сказать, — с той же именно стороны — любопытна и контрверсия, предложенная Васецким: в обоих случаях певица оказывалась в ловушке («в интересном положении»), выскочить из которой могла, лишь предав капитана: без этой искупительной жертвы ей пришлось бы, наверно, не сладко.

Если Васецкий, допустим такое, действительно был ее кратковременным и случайным возлюбленным, то, не подняв милицию на ноги, она оставила бы встреченных у Моссовета гуляк в непоколебленном убеждении, что реально имеет потайную интимную связь. И значит, стала бы заложницей тех, кто владеет ее секретом.

Если же это был настоящий грабитель, то, отнесись к его нападению равнодушной оставь ситуацию без последствий, не призови на помощь милицию, она позволила бы гулякам остаться при том же своем убеждении. Они, конечно, ни за что не поверили бы ни в его, ни в ее благородство: рассказ об этом мог бы выглядеть не иначе, как плохо сработанной, рассчитанной на простаков, дешевой литературщиной. «Романтичной» фальшивкой...

Само собой разумеется, больше всего ее волновало не то, в чем ее заподозрят и что скажут «они», а в том, что подумает, как отреагирует «Он». Кремлевский ее покровитель, безусловно, узнал бы про скандальный, наделавший шума, хотя бы и в узких кругах, криминально-политический «казус», задевший его фаворитку: по части доносов службы работали безупречно. Конкуренция с флотским отставником вряд ли пришлась бы «Ему» по вкусу. И вряд ли он стал бы прощать такое ее вероломство. Не прощал куда более невинные вещи.

Так что — выбора не было...

Васецкий отделался легким испугом. Учтя, что «тяжких последствий» от его злодеяний не наступило, и приняв во внимание его воинские заслуги, трибунал за все про все (покушение на теракт, покушение на разбой, незаконное хранение оружия) выдал ему на круг десять лет лагерей с конфискацией имущества, которого у него и не было: не наказание, а подарок. Он, однако, расценил приговор по-человечески, а не «по-советски» — как издевательство. Прямо так и писал, качая права и взывая к «самому справедливому в мире суду».

Все его прошения не имели никакого успеха. Лет через пять он вообще перестал их писать, осознав бесполезность своих усилий. Лагерные друзья убедили его, что он и впрямь счастливо отделался и что лучше уж судьбу не гневить, не

мельтешить, не суетиться, а терпеливо дожидаться окончания срока.

Как ни противен такой прагматизм, думаю, они были правы. Тем более, если в молве, связавшей имя певицы с высоким ее покровителем, была хоть какая-то, пусть даже малая, доля истины.

В лагере Васецкий провел все же не десять лет, а чуть меньше восьми. Едва Усатый отбросил копыта, он с прежней энергией стал забрасывать высшие инстанции суда и прокуратуры возмущенными письмами. И своего добился: реабилитирован был одним из первых, когда колесо кровавой Фемиды только-только еще завертелось в обратную сторону.

Добиться-то он добился — с одним, правда, маленьким «но»... Маленьким, зато таким характерным!

Политическое обвинение, в силу уж полной его нелепости, было с Васецкого снято, притом без особых хлопот. А вот «разбой» на нем так и повис. Вникать в детали никто не стал: «инстанции» были завалены тогда, в оттепельную эпоху, миллионами прошений о пересмотре дел, и психологические изыски, имеющие отношение к «обыкновенному криминалу», никого не интересовали. Тем более что, избавившись от обвинения в терроре, Васецкий оказался на свободе и даже смог вернуться домой, к матери, которая его дождалась. Кстати, был он из Днепропетровска, где жить ему не возбранялось, и только время от времени наезжал в Москву, стараясь добиться полной реабилитации и возвращения орденов, которых его лишили.

Его дело в надзорных инстанциях вел адвокат из той же консультации, где работала мама, — Александр Вениаминович Залесский. От него мы позже узнали, что вышедший на свободу капитан третьего ранга пытался пробиться ко все еще процветавшей, блиставшей на сцене певице и, как водится, получил от ворот поворот. Домой к себе она его не пустила, к телефону ни разу не подошла, а когда он попробовал дождаться ее у служебного входа в театр, был задержан и препровожден в ближайшее милицейское отделение, где ему дали вполне разумный совет: избавиться, наконец, от мальчишества и не играть так глупо с судьбой.

Хотя высокий ее покровитель — подлинный или мнимый, это и до сих пор тайна за семью печатями, — уже пребывал не в Кремле, а поблизости, и вовсе не в том состоянии, когда мог бы ей чем-то помочь, связи, наверно, у певицы остались, и дразнить ее, притом без всякой надежды, не имело ни малейшего смысла. Вряд ли маленький милицейский чин, хотя бы по своему молодому возрасту, знал подробности ее биографии, но зато он знал о фаворе, в котором всегда пребывали звезды вокала, и быстро сообразил, чья в итоге возьмет, если Васецкий раздует скандал. Так что в его доброжелательности я не сомневаюсь. Встреча грабителя и жертвы не состоялась. Даже виртуальная, как сказали бы мы сейчас.

Васецкий, отчаявшись, видимо, быть хоть кем-то услышанным, оставил попытки достучаться до глухарей, очиститься до конца больше не пробовал, худо-бедно где-то устроился, пусть и с пятном в биографии. Понял, что нет никакого расчета тратить короткую, в общем-то, жизнь на то, чтобы лбом биться о стену. По слухам, дошедшим до меня окольным путем и скорее всего достоверным, умер он в самом конце семидесятых, так ничего и не добившись и, наверно, даже не зная, что осенью сорок пятого, хотя бы и безымянный, был на устах у московской элиты.

Зато певица прожила долгую, очень долгую и вполне благополучную жизнь. Никогда к тому злосчастному эпизоду не возвращалась. По крайней мере — вслух. И до самой старости носила норковое манто. То ли самое — этого я не знаю.

Почему бы и нет: норка — мех стойкий, при хорошем уходе годы ему не страшны.

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

— **Д**а, я виновен, — говорит он и опускает глаза. Они у него синие-синие, а в сумерке тюремной комнаты для свиданий кажутся еще синее. — Признаюсь полностью.

— Это известно.

Мы сидим уже битый час, готовясь к завтрашнему процессу, но могли бы и не сидеть, потому что толку от нашей беседы нет никакого. Он занудливо повторяет: «виноват», «в деле все подробно описано», «что Кузина говорит, то и было», — тяготясь разговором и ничуть этого не скрывая.

— Мне, Саранцев, одно непонятно: вас вообще не тянет на волю?

— Почему? — Он настороженно всматривается в меня, пытаясь понять, какой подвох его ожидает. — Почему же не тянет?

— Если бы тянуло, вы помогли бы мне вас защищать. Найти уязвимые места обвинения... Опровергнуть улики...

Лицо его снова становится скучным.

— Чего там бороться?! Зряшное дело...

Зряшное дело — это он прав. Преступление — дикое. Главное — дерзкое. Редкое по цинизму..

Душный июньский вечер. Льет грозовой дождь, но и он не приносит пролады. Женщина открывает настежь окно. Ложится спать. Сквозь дремоту ей слышится шум. Она открывает глаза и с ужасом видит на подоконнике чужого мужчину.

Ее крики напрасны: сильный ливень и толстые стены заглушают любой звук. Злоумышленник настигает ее, валит с ног, пытается овладеть. Но она не теряет присутствия духа, сопротивляется — яростно, в одиночку, почти без всякой надежды. И ей, наконец, удается его сломить: пьяный, утомившийся от борьбы, он засыпает. Тут же, в комнате, на кровати...

Так про это написано в обвинительном заключении и так же — в показаниях Саранцева. Они заканчиваются словами: «был сильно пьян, ничего не помню, заявление Кузиной подтверждаю».

Заявление было потом, а сначала — лишь крик: «Помогите!» Не ночной, заглушенный дождем и потому никем не услышанный, а утренний — на рассвете, когда, в халате и шлепанцах, она выскочила на улицу. Спотыкаясь, добежала до постового, утопив один шлепанец в дождевой луже: «Помогите! Скорей!»

Милиционер не заставил ее повторять — тотчас бросился вслед.

Она привела его на третий этаж четырехэтажного дома. Дрожащей рукой, с трудом попав хитроумным ключом в замочную скважину, открыла массивную, плотно обитую дверь. На цыпочках, боясь спугнуть преступника, провела в комнату.

Посреди кровати, одетый, в ботинках со следами засохшей грязи, спал молодой мужчина.

Милиционер постоял, посмотрел, оценил ситуацию. Потом подошел к телефону и вызвал конвой. И еще — неотложку: Кузину трясло, стакан с водой, который он принес из кухни, выпал из ее рук. В протоколе задержания отмечено: «Дать объяснения потерпевшая не может из-за сильного нервного срыва, в данный момент ей оказывается медицинская помощь. От общения с задержанным гражданином Саранцевым (паспорт найден в кармане пиджака и изъят) отказывается. Врач Поцелуйко Л. Е. возражает против дополнительных перегрузок, которые могут повлиять на состояние здоровья гражданки Кузиной. Последняя будет вызвана для дачи объяснений по согласованию с врачом, когда позволит здоровье».

Саранцев отрезвел часа через два. Долго не мог понять, где же он оказался. Отвечать на вопросы не пожелал. «Покажите

заявление той, кого вы называете потерпевшей, — потребовал он. — А иначе ничего не скажу».

Следователь, который начал вести его дело, показывать не хотел: раньше времени не положено. Но потом все-таки показал, чтобы не топтаться на месте и делу скорее дать ход.

Заявление было коротким: «Прошу привлечь к ответственности неизвестного мне мужчину, который влез в мою квартиру через окно и напал на меня».

— Да, я кое-что вспомнил, — сказал следователю Саранцев, прочитав заявление. — Не все, но кое-что...

— Вот вам бумага — пишите. Только по-честному. — Следователь многозначительно на него посмотрел, сузив для пушек строгости все видящие и все понимающие глаза. — Это в ваших же интересах.

— В моих, — кивнул Саранцев. — Конечно, в моих. Дайте время для размышлений. Чтобы собраться с мыслями.

Какие мысли рождаются во время таких размышлений? Больше думаешь — уходишь дальше от истины.

Следователю был, видимо, симпатичен этот влипший в историю простодушный лопух, которому его авантюра неизбежно обойдется годами тюрьмы. Поэтому он от чистого сердца решил ему дать добрый совет.

— Собраться с мыслями? Это уже интересно. А есть ли что собирать? — Он был очень доволен шуткой. Дружески улыбнулся. И — опять же по-дружески — перешел внезапно на «ты». — Слушай, Саранцев, мысли ты соберешь потом. А сейчас выкладывай факты. Понял? Факты! Ври, но не завирайся. А то даже я тебе помочь ничем не смогу.

— Вы хотите мне помочь? — изумился Саранцев. — Почему?

— Слышал поговорку? — вздохнул следователь, все больше проникаясь сочувствием к сидящему перед ним бедолаге. — Если помер, то это надолго, а если дурак, то — навсегда. — Он хитро прищурился, гордясь своей эрудицией. — Где они, мысли твои, раз так ничего и не понял? Жаль мне тебя, вот и все «почему». Жаль... Протри глаза — сколько кругом неохваченных! Любая на шее повиснет, только моргни. Не старик, не калека... А ты — в окно, пьяный, на третий этаж! К замужней... Зачем? Зачем?! Теперь приклеят на лоб десятку — будешь потеть. — Он

снова вздохнул. — Садись и пиши. И не вешай лапшу на уши. Ни мне, ни себе.

«Собственноручное чистосердечное признание. Явка с повинной».

Первую фразу этого длинного заголовка Саранцев придумал сам. Вторую ему продиктовал — опять же от искреннего расположения, а не по какой-то другой причине, — сам следователь. Продиктовал и — оставил его одного. Чтобы не подсказывать. Не давить, — если проще сказать.

«У меня, почему точно не знаю, объяснить не могу, возможно, от водки, возникло желание забраться в чью-нибудь квартиру. Намерения обокрасть не было, а просто забраться. Никакой другой цели я не имел.

Вечер был теплый, душный, многие спят с открытыми окнами. И я выбрал одно открытое окно на третьем этаже, почему точно это, а не какое другое, объяснить не могу, скорее всего, под пьяную лавочку. Уточняю: я вообще-то не пью, разве что иногда выпиваю, но для такого дела принял пол-литра, точнее, для храбрости. Еще уточняю: дом выбрал потому, что он невысокий и стоит в глубине двора, мимо никто не ходит, тем более в дождь.

Я залез на чердак, оттуда на крышу, это было довольно трудно, ноги не слушались, голова кружилась, хотя страха не было.

Помню еще, что по мокрому скату крыши пришлось ползти на четвереньках, хотя вообще-то я очень плохо помню, как все было и что точно я делал.

Скорее всего, добравшись до водосточной трубы, я спустился по ней и нащупал карниз. Он был узкий и старый, штукатурка сыпалась под ногами, хотя я плохо что помню. Раза два или три мне казалось, что я падаю вместе с ней. Однако я шел, упорно двигаясь к цели, потому что отступить было уже некуда. Потом я наткнулся на распахнутую створку окна и за нее зацепился, чтобы не упасть. В комнате я увидел женщину, которая спала, подложив локоть под щеку.

Больше я ничего не помню и о том, что было дальше, рассказать не могу. Вероятно, я сразу заснул от усталости, а также от опьянения, которое для меня непривычно, поскольку я во-

обще не пью, только, как сказал, изредка выпиваю совсем немного.

Считаю, что показаниям гражданки Кузиной, с которыми меня ознакомил следователь, можно верить. Как она показывает, так все и было».

Следователь дважды перечитал это «собственноручное чистосердечное признание». Оно же — «явка с повинной».

— Я ведь, кажется, сказал... — В его голосе появился металл, и он снова перешел на официальный язык. — Мы ведь, вроде, договорились: изложите не мысли, а факты. И без лапши. Чистосердечное признание... — Уголки его губ иронично дрогнули. — Не вижу ни чистосердечия, ни признания...

— Почему? — не понял Саранцев.

— Потому что вы лезли в окно не затем, чтобы красть. А с другой, вполне конкретной целью.

— Зачем же, по-вашему, я лез?! — Впервые подследственный допустил грубость. Не в словах даже, а в тоне. Замкнулся и сник.

Следователя вдруг осенило: совсем неожиданно дело повернулось к нему еще одной стороной.

— Получается интересно, — задумчиво произнес он. — Значит, вы еще и красть собирались. Этого следствие не знало, а теперь будет знать. Спасибо за признание. Но лезли вы — хоча сказать: в основном — все-таки не за этим. Вы лезли, — продолжил он чуть ли не по слогам, — чтобы насиловать.

— Ну, знаете... — вскипел Саранцев. Ему с трудом удалось взять себя в руки. — Этого вы от меня не дождетесь. — Саранцев помедлил, собираясь с мыслями. — Точно вам говорю: никогда.

— Тем хуже для вас.

Хуже, впрочем, Саранцеву быть не могло.

Покушение на изнасилование — это обвинение с самого начала как было за ним, так и осталось. Теперь он навесил еще на себя покушение номер два: квартирная кража.

— Если дурак, то навсегда, — напомнил следователь прилипшую к нему шутку. — Понял? Отвечай: понял? — Снова на «ты», но уже без всякой симпатии. Скорее наоборот.

ИЗ ПРОТОКОЛА ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

«В доме номер 17/2 по <...> улице имеется чердак, откуда через окно есть выход на крышу.. Водосточная труба пересекает декоративный карниз шириной 38 см, находящийся на уровне третьего этажа... Карниз проходит, в частности, под окнами квартиры номер 6, расположенной на третьем этаже <...>

ИЗ СПРАВКИ ДОМОУПРАВЛЕНИЯ

«Гражданка Кузина Елена Владимировна и ее муж гражданин Кузин Владимир Юрьевич проживают по адресу: <...> улица, дом 17/2, квартира 6 <...>

ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СУДЕБНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

«Спуск человека по водосточной трубе <...> является технически осуществимым, равно как его выход на <...> карниз и передвижение по последнему <...>

Преодоление трудностей при передвижении и принятие мер безопасности в значительной мере зависит от индивидуальных особенностей конкретного человека, в частности, от возраста, состояния здоровья и прочих факторов <...> Возможные препятствия субъективного характера, как-то: нарушение балансировки, динамические деформации, страх высоты и пр. — в расчет экспертизой не принимались».

Нарушений балансировки (убейте меня, если я знаю, что это такое), динамических деформаций (звучит красиво, но непонятно), а тем паче страха высоты и прочего медики у Саранцева не обнаружили. И психических отклонений — тоже. Вроде бы для нормального человека достаточно странен тот способ, которым Саранцев решился проникнуть в чужое жилье. Экспертиза, однако, признала: никаких отклонений в психике. Разве что малоконтактен. Не желает говорить о своем деле. Но это вовсе не отклонение. Скорее наоборот: осознал то, что сделал, говорить о своем позоре стыдится.

Да и странности, если подумать, нет никакой. Не с наших позиций, конечно — с позиций преступника. Разве воры не лазают через окно? И разве только первый этаж подвластен их отважным набегам? Уголовная хроника полна такими историями. Никого они не удивляют. Возмущают — да. Но не удивляют.

Защита Саранцева была поручена мне. Это была именно защита по поручению — обязательная, гарантированная законом. Близких у Саранцева не оказалось — никто не искал для него адвоката, и выбор у нашей коллегии пал на меня, тогда еще совсем молодого и, стало быть, совсем не капризного. По возрасту и по статусу. Деньги за такую работу платили, мягко говоря, символические, охотников обычно не находилось, а привередничать мне еще было совсем не с руки.

Да, по правде говоря, не очень-то и хотелось. Я взялся за поручение с легким сердцем — особых хлопот оно не сулило: преступник сознался, раскаялся, впервые судим, у него отличное прошлое, а преступление не причинило тяжких последствий. Саранцев не мог, конечно, рассчитывать на оправдание, но на снисхождение — безусловно. Доказать это, добиться для него приговора помягче не составляло, пожалуй, большого труда. По крайней мере, так мне казалось.

— Вот и отлично, — вяло произносит Саранцев, когда я знакомлю его с планом защиты. — И, пожалуйста, без подробностей, без длинных речей. Сколько дадут, столько дадут. Я на вас в претензии не буду.

Он-то не будет, ну а я сам?.. У меня еще ни опыта, ни имени, ни того профессионального равнодушия, которое порождает многолетняя рутина. Зато навалом юного честолюбия. Хочется отличиться — хоть как-то. Заявить о себе.

Весь вечер хожу по пустынным улицам, проговаривая свою завтрашнюю речь. Саранцев просит не длинную. Длинной не может и быть. Сказать-то, в сущности, нечего. Эти просьбы о снисхождении — адвокатский конек, опыстылевшая банальность!.. Они ведь лежат на поверхности. Доступны любому. Большого ума не надо, чтобы их изложить. Характеристику раздобыл не я: ее приобщил к делу следователь, нарочито подчеркнув все доброе, что сказано там о подсудимом.

Дело и вправду простейшее, только вот роли в нем мне не оставлено никакой.

Ноги сами приводят меня в этот двор. Тот самый, в глубине которого укромно стоит злополучный дом о четырех этажах. Уютный московский дворик, точно сошедший с картины Поленова. Благодатный оазис среди городского шума и суеты.

Конец сентября, но почти по-летнему было тепло, заходящее солнце просвечивало через желтеющую, но все еще густую листву. В его лучах, отливая глянцем ладно пригнанных друг к другу латунных колен, броско выделялась водосточная труба. Не прогнившая, не превратившаяся в кучу ржавой трухи, до которой дотронься — и загремишь, нет, новенькая, словно только что из мастерской. Вполне способная выдержать тяжесть молодого и легкого тела.

И карниз не такой уж и узкий. Даже я, не то что Саранцев, мог бы, наверно, не слишком рискуя, спуститься с крыши по этой трубе и ступить на него.

Дверь на чердачную лестницу оказалась открытой. Я поднялся, свободно проник на чердак, где сушилось чье-то белье, выглянул в крохотное оконце. Солнечные лучи уже не проглядывали через листву, воздух вдруг посерел, но тоскливей не стало. Открывшийся сверху пейзаж располагал к созерцанию и покою. Если он и рождал какие-то ассоциации, то разве что о мирном чаепитии и неторопливой беседе.

Ну, а вдруг этот странный Саранцев все-таки невменяем? — думалось мне в чердачной пыли, над карнизом, который вел к раскрытому настежь окну. Если врачи попросту не разобрались. Как-то не вяжется его преступление с обликом — вынужден пользоваться тогдашней, советской терминологией — передовика производства, шофера первого класса, многолетнего члена месткома. С обликом человека, про которого все говорят, что он порядочен, честен и справедлив.

Но — с другой стороны... Какой же он невменяемый — при всех тех доблестях, которые я только что перечислил? Шофер без единой аварии, многократно испытанный медицинской комиссией, то есть психиатрами прежде всего. Неужели все ошибались? Впрочем, почему бы и нет?..

Водка могла его преобразить — это бесспорно. Особенно — сразу бутылка. Это ж надо решиться: шофер — и бутылка. Не шофер-забудыга — настоящий шофер. Но допустим, допустим... Если бы после этого Саранцев подрался, отколол неожиданный номер — даже залез бы в карман или угнал чужую машину, я мог бы это как-то понять. Объяснить себе самому, что его побудило так поступить.

Но тут я просто теряюсь. Отказываюсь понять. Ночью, в ливень лезть на крышу незнакомого дома? Случайно приехать с другого конца Москвы? Из тысяч и тысяч домов облюбовать именно этот? Спускаться по скользкой трубе, рискуя свалиться и сломать себе шею? Потом балансировать на узком карнизе, не имея конкретной цели, не зная, останется ли открытым окно, которое он присмотрел еще на земле, что ждет его в комнате, удастся ли и как именно, — опять по карнизу или все-таки через дверь — выбраться назад?..

И еще такой очень важный вопрос: почему он напился? Что заставило этого трезвенника (из производственной характеристики: «За одиннадцать лет работы в автопарке Саранцев никогда не замечался употребляющим алкоголь») выпить сразу пол-литра? Да и где, интересно, он их пил?

Дома? Опрокинул бутылку наедине с самим собой и — чешать на другой конец города в поисках открытого настежь окна! Просто бред — смешнее нельзя и придумать...

В ресторане? Даже по тем временам это очень сомнительно: целую бутылку одиночному посетителю ставить тогда на стол остерегались, боясь милицейских придинок. Хорошо, допустим и это. Зачем в одиночку он пошел в ресторан? Какое горе залить? Был в компании? Но где они, эти люди, от которых он вдруг отвалился? Напился и — отвалился... Следствие выясняло и это, установив лишь одно: никакой компании привычных друзей у него не было. Если он чем и отличался, то разве что своим «нелюдимством».

Тогда, быть может, он пил в подворотне? Приехал сюда километров за двадцать, выпил и полез на чердак... Тоже смешно. Нет, просто абсурдно! Вот уж, действительно, бред. Концы с концами не сходятся. И вряд ли сойдутся.

Вопросов много. Ответов нет ни на один.

Сплошные загадки.

Процесс начинается в пустом зале — при закрытых дверях. Такие дела всегда слушают при закрытых. Чтобы спокойно и неторопливо, без любопытных глаз, доискаться до истины? Да нет, всего-навсего потому, что на языке закона «обстоятельства» таких дел затрагивают «интимные подробности жизни».

До истины, это вполне очевидно, никто докапываться не будет. Сам Саранцев склонен к этому меньше всего. Он спокойно сидит на скамье подсудимых, ко всему безучастный, и даже не смотрит в ту сторону, где, в гордом своем одиночестве, надменно шуруется темноволосая женщина с узким ликом античной красавицы. Сиреневый ажурный платочек лежит у нее на коленях, и этим платочком она то и дело осторожно дотрагивается до своих пламенеющих щек.

— Саранцев, признаете себя виновным?

— Да, признаю.

— Желаете дать показания?

— Я уже все сказал.

— Значит, подтверждаете показания, которые вы дали на следствии?

— Полностью подтверждаю.

— Хотите их чем-нибудь дополнить?

— Нет, не хочу.

Он устало садится, не дожидаясь, когда судья ему разрешит. Мне почему-то хочется встретиться с ним глазами — вот сейчас, непременно сейчас, в эту минуту, сразу после того, как он дал свои показания. Если, конечно, несколько ничего не выражающих реплик можно назвать показаниями. Если их вообще хоть как-то можно назвать. Говорят, телепаты умеют вызвать напряжением воли взгляд того, кому направлен их волевой посыл. Но я, безусловно, не телепат. Воля явно не та: до Саранцева мой посыл не доходит.

Тем временем Кузина уже на трибуне. Повторяет то, что говорила на следствии: слово в слово, как записано в протоколе. Разве это не странно? Показания — не стихи, чтобы их учить наизусть. Для чего она, собственно, их заучила?

Я задаю этот глупый вопрос — судья тут же его снимает.

— Как вы можете, адвокат?! Насмешка над потерпевшей... Во время судебного заседания... Какая бестактность! Суд делает вам замечание с занесением в протокол.

И, действительно, как я могу? Мне вовсе не хочется над нею смеяться. Но в деле слишком уж много загадок. Кто же поможет их устранить? Саранцев явно не хочет. Кузина — и по-давно. Может, вопрос, который судья посчитал бестактным, заставит ее разговориться?

Нет, не заставит. Она смотрит на меня серыми, злыми глазами — холодно и надменно.

— Я говорю то, что считаю нужным, — поясняет она, и в этой не слишком вежливой фразе мне чудится какой-то второй, тайный смысл.

И только Саранцев ко всему безучастен. Он вяло слушает, вяло отвечает. Коротко. Односложно. «Да...» «Нет...»

Спешит к приговору.

Ну, зачем, зачем ему так спешить?

На жаргоне юристов свидетели не участвуют в деле, а «по нему проходят». По делу Саранцева «проходят» дворник (тогда еще были дворники!), милиционер (тогда еще — по старинке — их называли постовыми), врач неотложки и двое случайных прохожих, невесть зачем оказавшихся в то утро чуть свет на еще не проснувшихся улицах, — их пригласили тогда понятыми.

Все они лично видели, как Саранцев спал в комнате Кузиной. Да, на кровати. Одетым. Обутым. Окно было распахнуто. И сломан цветочный горшок. Черепки валялись на полу, вместе с комьями земли. Врач Поцелуйко долдонит одно и то же, в сотый раз повторяя, как Кузина «вся дрожала — зуб на зуб не попадал» и как непросто было ему привести ее в чувство... Так он нудно вещает, что судье приходится его оборвать: «Эти подробности для суда значения не имеют».

Еще помнят свидетели два перевернутых стула, смятую скатерть. И — пуговицу. Матерчатую крупную пуговицу — «скорее всего от халата», — утверждают свидетели. Она была вырвана яростно, с мясом — лежала посреди комнаты, мозоля глаза. Деталь, которую трудно забыть. А в пакете на судейском столе — он сам, домашний халат, превратившийся в убойной силы улику. На нем, действительно, не хватает верхней пуговицы — именно той, как сказано в заключении экспертизы, которая тем злополучным утром валялась в комнате Кузиной. Так эффектно валялась, что ни один свидетель ее не забыл.

Круг замкнулся. Улики значительны, и они впечатляют.

— Адвокат, вам что-то неясно? — доносится до меня голос судьи. — Есть еще вопросы к свидетелям?

Неясно мне очень многое. Но вопросов к свидетелям у меня нет.

Скорее — к себе самому.

Ливень кончился около часа (справка метеостанции), а Саранцев забрался в окно, когда дождь еще шел (показания Кузиной). К постовому Кузина прибежала без четверти шесть (милицейский рапорт — его подлинник в деле).

И часы, и минуты повторно уточнялись в суде. Ни один из опрошенных эти данные не оспорил. Кузина — в том числе.

Что же делала она все эти пять долгих часов? Сопротивлялась? Борьба с жертвой всю ночь напролет — на это у Саранцева силы хватило. Зато, когда хмель, после долгой борьбы, уже был должен уйти, борец почему-то беспробудно заснул.

Впрочем, возможно и это: просто устал. Все на свете возможно. Если хоть как-то в ладу не со схемой, а с жизнью. С логикой здравого смысла. Отвечает ли этим условиям такой любопытнейший факт: пять часов упорной борьбы — и ничтожный ее результат?!

Пуговица от халата, одна только пуговица, слишком нарочито оказавшаяся у всех на виду..

И ни малейших следов пятичасовой борьбы на самой потерпевшей! На лице, на руках, на теле. Вообще — никаких.

Тогда, может, ее и не было, этой борьбы? Ни пяти часов, ни часа и ни минуты? Если не было, почему Кузина обратилась за помощью с таким опозданием? Что мешало ей крикнуть хотя бы во двор из окна? Ливень кончился в час — ни в два, ни в три, ни в четыре он не мог уже заглушить ее крик. Наконец, в квартире есть телефон. Почему она просто не набрала ноль-два?

Пока я ставлю себе эти вопросы и пытаюсь найти ответ, судебное заседание продолжается.

Ученый эксперт с чертежами в руках авторитетно доказывает, что путь, пройденный Саранцевым от крыши до окна, «технически не невозможен». Этот варварский канцелярит

никому, похоже, не кажется диким. Даже мне, пересмешнику. Впрочем, мне уже сделано предупреждение: любая новая шуточка может дорого обойтись.

— Адвокат, у вас есть возражения? — Судья предельно корректен и ни в чем, абсолютно ни в чем не ущемляет защиту.

— Возражений нет.

— Вопросы?..

Вопросов нет тоже.

Судья удовлетворенно кивает: ему явно нравится такая мирная атмосфера. Благожелательность, вежливость, такт...

Еще один эксперт на трибуне. Он приводит десятки примеров, когда совершенно пьяные люди сохраняли равновесие, двигаясь по неустойчивой, узкой доске.

— Адвокат, у вас есть возражения?

Нет у меня никаких возражений! Бог с ними, с другими примерами. Нам они не указ. Нам важен Саранцев, его путь по карнизу — к спящей женщине, которую он раньше не видел, не знал.

Кто она, в сущности, эта Кузина? Из дела известно о ней так мало... Почти ничего. Ей двадцать семь, у нее диплом инженера-мелиоратора, но по специальности она никогда не работала. И не работает. Она вообще нигде не работает. У нее в этом нет ни малейшей нужды. Так она и сказала — с неожиданным и ничем не оправданным вызовом, отвечая на мой совершенно невинный, без подвоха, вопрос.

— У меня в этом нет ни малейшей нужды.

— Адвокат! — Судья на посту, и он бдит. — Вам ведь уже было сделано замечание. Не забудьте, пожалуйста: мы не рассматриваем дело Кузиной. Слушается дело по обвинению гражданина Саранцева. Прошу вас держаться в рамках процесса.

— Буду держаться. — Это — судье. И сразу же — Кузиной: — Почему у вас нет надобности работать?

Строго говоря, вопрос действительно не по существу. Но кто знает в точности наперед, что окажется важным для уголовного дела?

Ей нельзя отказать ни в находчивости, ни в остроумии.

— Боюсь, вы еще не были замужем, — спокойно, ничуть не тушуясь, отвечает она. — У жены хватает хлопот на полный ра-

бочий день. Даже если — я предвижу ваш следующий возможный вопрос... Даже если у нее нет детей.

Молодец! Превосходно держится и за словом в карман не лезет.

Да, я знаю, что детей у нее нет. Знаю и то, что она замужем. Но — за кем? Мне начинает казаться, что это имеет значение. Почему и какое, — я пока что не знаю. Но — имеет! Я уже убежден, что имеет.

Кто он — Кузиной муж? Какие у них отношения? Почему его не допросили? Куда ушел он в ту ночь? Как случилось, что Саранцеву так неслыханно повезло: забрался в квартиру, где не оказалось мужчины? Где вообще никого не было, кроме острой и находчивой жертвы?

Все эти вопросы я задаю в своей речи. Только вопросы, потому что ответов на них у меня нет. Но если есть вопросы и если они для дела существенны, без ответов нельзя вынести обвинительный приговор. Только этого я и хочу — подождать с приговором, провести новое следствие, устранить те пробелы, что слишком зияют в ладно скроенном деле. Ведь там, где пробел, возможна ошибка. А ошибка в суде очень дорого стоит. Так дорого, что цену лучше не называть.

Кузина демонстративно уходит из зала. Вдруг встает и — уходит. Кроме нее, в зале нет никого. Наверно, поэтому ее уход особенно впечатляет. Он настолько эффектен и, если хотите, даже красив, что я... Я постыдно немею. Замолкаю на полуслове и смотрю ей вслед.

Саранцев еще ниже опускает голову и совсем скрывается за барьером. Прокурор недоуменно пожимает плечами. И только судья всегда на посту.

— Адвокат, почему вы замолчали? Ну, вышел человек — дело хозяйское. Чего это вы растерялись?

— Мне нечего терять, — бормочу я совсем невпопад.

Игра слов неожиданно обретает двойной смысл. Ведь мне действительно нечего терять — что бы я ни сказал, хуже Саранцеву все равно не будет.

— У вас еще надолго? — судья нетерпеливо глядит на часы.

— У меня все, — окончательно сдаюся я, сознавая, что дальнейшая речь уже ни к чему. Она кончается не точкой и даже не

вопросительным знаком, а каким-то беспомощным многоточием. Я ли в этом повинен? Или кто-то другой?

— Саранцев, что вы скажете в последнем слове?

— Ничего, — хмуро произносит Саранцев и садится еще до того, как судья разрешает ему это сделать.

— Как? Совсем ничего? — Даже выдавший виды судья, весьма довольный, что дело катится по наезженной колее и никто не пытается скольжению помешать, даже он, мне кажется, немного растерян. — Вы что, отказываетесь от последнего слова? Может, просьбы какие к суду.. Ну там, не наказывать слишком сурово... Или что-нибудь в этом роде... — подсказывает он Саранцеву привычные блоки «последних слов». — Есть у вас просьбы?

— Просьб нет, — небрежно бросает Саранцев, не утруждая себя даже слабым движением, чтобы привстать.

«Семь лет», — оглашается приговор, и Саранцев согласно кивает: хорошо, пусть будет семь. Что он хочет сказать этим кивком? Что — хорошо, все-таки не «червонец»?

— Осужденный, приговор вам понятен?

Этот вопрос положено задавать каждому осужденному после оглашения приговора: таков закон. Зачем? Что может быть в приговоре неясного? Какой недоумок не отличит трех лет от восьми? В этом зале, по крайней мере, таковых заведомо нет.

— Понятен... — Во взгляде тоска и полнейшее безразличие. — Вполне.

Нет, определенно, тут что-то не так. Не может нормальный человек, случайно попавший в такой переплет, покорно принять приговор, который ломает жизнь. Даже если действительно виноват. Самоубийца он, что ли? Но ведь до всей этой истории его знали иным. Весельчак, заводила, рубаха-парень, скорей ловелас, чем аскет, собиратель джазовых записей, любитель компаний, спортсмен и даже немножко лихач — с чего это вдруг он записался в святые?

Утром — звонок из тюрьмы: Саранцев просит о встрече со своим адвокатом.

Надо пойти, таков порядок, но я взбунтовался. Что он мне голову морочит, в самом-то деле?! Докопаюсь до истины, вот

тогда и пойду. В моем распоряжении еще неделя — таков законный срок обжалования приговора. За эту неделю мне надо узнать много важных вещей.

И я их узнал.

— Вы хотели мне что-то сказать? — спрашиваю Саранцева, придя к нему на свидание в последний день кассационного срока.

— Да, хотел... — Его голос тревожен. — Вы подали жалобу?

— Нет, еще не подал.

— И не подавайте.

— Это почему же?

— Не подавайте, и все! В конце концов, вы меня защищаете, а не себя. Так что решаю я.

Он всерьез думал, что может мною повелевать. Что я призван служить не истине, не правосудию, а лично ему.

— Вы могли, — говорю, — отказаться от моих услуг. Но не отказались. И теперь мне придется до конца исполнить свой долг.

Слушаю себя, сгорая от стыда: надо же, потянуло на звонкую демагогию! На патетику, над которой сам же смеюсь. Да притом не в торжественной обстановке, не на трибуне, а при общении с человеком, который, как бы ни пыжился, несомненно страдает. Которому просто не с кем еще отвести душу. При котором я что-то вроде духовника.

— Да, да, — вбиваю в него эту мысль. — Буду вас защищать, воюя с вами самим.

— То есть... Как?..

Похоже, к такому повороту он психологически не подготовлен. Бормочет растерянно:

— Кто дал вам право со мной воевать?

— Закон! Закон! — торжествую я, не в силах избавиться от митингового тона.

И кладу перед Саранцевым сложенный вдвое листок. Пришлось, действительно, попотеть, чтобы стать его обладателем.

Еще во время процесса я твердо решил: не отступлюсь, пока не дознаюсь, чем занимается Кузиной муж и почему в ту ночь его не было дома. Общаться с потерпевшей я не мог, тогдашними правилами, унижавшими адвоката и сковывавшими его по

рукам и ногам, это решительно запрещалось. Да и не было бы запрета — вступать со мною в контакт она бы не захотела. Хотя в чем-нибудь помогать — тем более. Был путь и прямее: позвонить домой самому Кузину и вызвать его на разговор. Позвонить, конечно, я мог, но чувствовал: разговаривать со мной он не станет. И будет по-своему прав. Надо искать обходные пути... Какая удача: обходным оказался как раз самый прямой.

В жэке (по-тогдашнему: домоуправление), куда я решил заглянуть, чтобы справиться о месте работы жильца по фамилии Кузин, меня просто отшили, словно я пришел выведать страшную тайну. Нашлась, однако, простодушная женщина — техник-смотритель. Порывшись в лохмотьях амбарной книги, она отыскала какую-то запись. Года два назад Кузина проводила лето где-то на юге, когда в доме полным ходом шел ремонт: старые трубы совсем прохудились. Кузин оставил техничке служебный свой телефон, чтобы в случае крайней нужды его можно было бы вызвать.

— Вряд ли вам пригодится, — сказала мне простодушная женщина. — Адреса нет, только почтовый ящик, справок по телефону они не дают.

Я позвонил без особой надежды, но ниточка потянулась. Не называя себя, спросил, по какому адресу можно сделать служебный запрос. Видимо, «ящик» был не самой строгой секретности, поскольку адрес мне дали немедленно, а судья, уже вынесший приговор, безропотно согласился сделать запрос от суда. Притом — на фирменном бланке. Я не скрыл, что приговор я обжалую, и был почему-то уверен: в душе судья на моей стороне. Ведь загадки так и остались загадками, он понимал это ничуть не хуже, чем я...

Запрос отправили с нарочным, он же привез и ответ. Копию выдали мне.

— Читайте, Саранцев, читайте, — похоже, я ликовал и не мог от него это скрыть. — Читайте, не пожалеете: очень уж интересное чтение.

В листке, который лежал перед ним, всего несколько строк: «На ваш запрос сообщаем, что Кузин Владимир Юрьевич в ночь с 7 на 8 июня находился на ночном дежурстве с 22 до 6 часов утра».

Саранцев долго вчитывается в эти строки. Думает. Кусает губы. Не так, чтобы очень... Без особого стресса. Мое ликование ему непонятно. Поднимает голову:

— Ну и что?

— Этот документ вам не кажется важным?

— Нет, не кажется. — Он просто очарователен в своей верности избранной маске. — Что тут важного? Объясните.

Душа не лежит у меня разыгрывать дальше этот спектакль. Тем более не на публике, а с глазу на глаз.

— Хорошо, а вот это? Важно или не важно?

«Это» — просто блокнот. Не блокнот, а блокнотик. Записная книжка с оборванным корешком, мятая, грязная, местами засаленная, с загнутыми углами. Мне отдали ее в диспетчерской автопарка, когда разговор, почти ничего мне не давший, уже подошел к концу.

Я поднялся, прощаясь, и уже на пороге, скорей по привычке, чем ради дела (ведь в тюрьму мало кто вхож, здесь «оказия» редкость, грешно не узнать, есть ли нужда), спросил:

— Послезавтра увижу Саранцева. Может, что передать?

Обычно в таких случаях отвечают: «Привет передайте», «Пусть пишет, не забывает». Мне протянули блокнотик. Объяснили: он валялся в столе. Блокнотик Саранцева с адресами и телефонами.

— Передайте. Возможно, ему там пригодятся...

Кто-то шутливо возразил:

— Телефоны навряд ли...

— Зато адреса...

— Передам, — неуверенно пообещал я, потому что передавать любые записи я, конечно, не вправе. Но теперь, после того, как приговор состоялся, администрация КПЗ вряд ли отказала бы в пустяковейшей просьбе. — Разве следствие его не изъяло?

— Никто сюда не приходил, — пожал плечами старший диспетчер. — Да и зачем? Какой интерес для дела?

Мог ли он знать, какой интерес?!

Саранцев протягивает руку. Потом опускает ее.

— Не надо, — говорит он устало, — я понял.

Он понял: в его потрепанном блокнотике записан телефон будущей жертвы. Незнакомой женщины, к которой по чистой случайности и неизвестно зачем он забрался через окно. Записан давно: это неопровержимо установила бы экспертиза.

Он был молод и одинок, любил музыку, которую тогда называли эстрадной, любил шум и веселье. Зимой пропадал на катке, весной и летом на тащплощадках — жалких островках развлекаловки по-советски. Дискотек тогда не было, их заменяли огороженные деревянные настилы, где в тесноте и сутолоке, в пыли, поднимаемой сотнями усердно работавших ног, проводила вечера молодежь. Это называлось «культурным досугом», хотя и дозволенным, но всегда подвергавшимся дежурным нападкам райкомовских горлопанов и газетных писак за идейную ущербность, которая отвлекает молодых строителей коммунизма от общественно полезных дел и неизменно присущих им созидательных порывов.

Тут, в безыдейном безделье, был его мир, его стихия, тут он знакомился, сходилась, ссорился, мирился. С беззаботной легкостью заводил подруг и с такой же их покидал, отнюдь не страдая муками совести. Он не был грубым или циничным, но и слишком шепетильным он не был тоже, жил в свое удовольствие, чураясь семейных уз и пуще всего боясь «по-серьезному втрескаться», чтобы не оказаться в ловушке.

Однажды он, как всегда, пришел на танцы к восьми, сел в уголке и стал наблюдать. Площадка быстро заполнилась. Все были свои, завсегдатаи — знакомые, примелькавшиеся лица. И вдруг он увидел чужую. Заложив руку за спину, она стояла у барьера в неестественно напряженной позе и скользила глазами по танцующим парам. Никто ее не приглашал — скорее всего, потому, что слишком уж выпирала ее чужеродность, ее принадлежность совсем к другому кругу, к тем, кто на танцплощадки не ходит, обретая «культурный досуг» не тут и не так. С чего бы вдруг прибилась сюда эта залетная птичка? Об этом Саранцев не думал — просто смотрел, как стоит она, не шелохнувшись, — на что-то, как видно, надеется. Чего-то ждет...

Они танцевали все танцы подряд, без передышки. Потом гуляли по весеннему парку, выбирая тропинки, где не было ни

фонарей, ни людей. Сквозь листву проглядывала река, дрожали отраженные в ней огоньки. Собирались тучи, с реки потянуло прохладой. Тревожно зашуршавший в листве ветер обещал близкий дождь.

Саранцев привычно обнял свою спутницу и накинул на ее плечи пахнувший бензином пиджак.

Час спустя они уже были в той самой комнате на третьем этаже четырехэтажного дома — в той самой, где вскоре ему пришлось пережить свой позор.

Первая любовь пришла к нему, прямо скажем, со слишком уж большим опозданием. Ему самому в нее было трудно поверить. Прошли дни и даже недели — не поверить уже было нельзя.

Они редко встречались — больше в те вечера, когда муж уходил на дежурство. О муже Саранцев не спрашивал, она-то и вовсе про него говорить не хотела. «Где работает?» — «В ящике...» Вот и весь разговор. Телефоном шофер не обзавелся — тогда это было целой проблемой, а кто он такой, чтобы ему еще ставили телефон? Поэтому иногда она писала ему письма — холодные, деловые: встреча тогда-то... Но все же писала! Про встречи — значит, они ей тоже были нужны.

Они встречались — и расставались. Чаще всего надолго. Опять тянулись постылые дни, надо было ждать и таиться, но ни ждать, ни таиться он не умел. Не умел и не хотел.

Случалось, он звонил ей сам — сопел в трубку. Или ждал на углу — чтобы мельком увидеть. И даже стоял во дворе под окном. Ему было стыдно себя самого и в то же время ничуть не стыдно, потому что в любви, как известно, не бывает стыда — только страх любовь потерять.

А терять ее ему не хотелось. Он теперь и представить себе не мог, что все пройдет и начнется прежняя жизнь. Прежней больше не было и никогда не будет. Но будет ли новая? Любит ли Кузина так, чтобы бросить солидного мужа с его внушительной и таинственной должностью, беззаботность, обеспеченность и комфорт, стать женой недоучки, простого парня из ярославской деревни?

Саранцев решил спросить и пришел, наконец, для серьезного разговора. Только самого малого ему не хватало: смело-

сти первого шага. Потому-то и загодя выпил: иного способа развязать язык он просто не знал.

В милиции ему показали заявление Кузиной. Саранцев несколько раз перечитал беглые, размашистые строчки. Подделки не было: ее почерк он узнал бы из тысячи других.

«...Неизвестного мне мужчину...» Это он — неизвестный, он, Саранцев, которому она открывала дверь, едва заслышав на лестнице его шаги?

Это он напал на нее — напал, ни больше, ни меньше?! — он, Саранцев, который трижды лазил на крышу через чердак, спускался по водосточной трубе и ходил с закрытыми глазами по осыпающемуся карнизу, не один раз, а трижды, чтобы ей доказать, что ради нее готов абсолютно на все?

Да, готов. И сейчас — тоже. Ведь это он сам виноват, что так зверски напился. Так зверски, что не смог пробудиться даже под утро, когда вот-вот с таинственного дежурства должен вернуться муж...

Что ж, если ей это нужно, пусть так и будет. Он спасет ее от позора любой ценой.

— И чего вы добились? — говорю я ему. — Себя погубили. Ради чего?

— Ради любви...

— Чьей, Саранцев? Чьей любви? Ее? Но разве порядочная женщина может так поступить с любимым? Да что там с любимым?! С кем угодно... Это же подлость. Понимаете, подлость!

Он строго меня обрывает:

— Я прошу вас при мне не говорить плохо о Вере. Зачем судить ее строго? Ну, растерялась... Не была готова к тому, как все получилось... Неприятностей не хотелось...

— Да вы думаете, что говорите?! Сопоставьте ее неприятности и ваши семь лет.

— Кто же так сопоставляет? — Он смотрит на меня свысока, удивляясь тому, что я не понимаю простых вещей. — Слабость в конце концов извинительна. А любовь способна выдержать все.

— Любовь!.. Каких романов вы начитались? Да кому она будет нужна, ваша любовь, — через целых семь лет? Если бы Ку-

зина вас любила, стала бы бояться она неприятностей!.. Сказала бы мужу всю правду и ушла бы к вам. Разве не так?

Саранцев пожимает плечами:

— Не все так просто...

Кажется, я нанес ему слишком жестокий удар. Не может быть, чтобы эти мысли не приходили в голову и ему. Но одно дело рассуждать самому, наедине с собой, впадая в отчаяние и озаряясь надеждой. И другое — когда с логической беспощадностью тебе говорят всю правду в глаза.

— Знаете что... — Желобки морщин на его лбу стали, кажется, еще глубже. — Давайте так: вы пишете, что хотите, а я — ничего. И пусть будет, что будет. Если у вас не получится, значит, не судьба.

Видно, была не судьба.

Кассационная жалоба отклонена. Надзорная — тоже. Мои формальные обязанности давно исчерпаны, но я — сам понять не могу, почему, — я не унимаюсь. Жалоба за жалобой отправляются по инстанциям. И приходят ответы, одинаковые ответы. Бланк отпечатан заранее: «оснований... не найдено...»

Не пора ли бросить эту бесплодную переписку? Признать бой проигранным, утешая себя, что сделано все возможное, что и в суде бывают ошибки?

Бывают. Но там, где решаются судьбы людей, их быть не должно. Я ловлю себя на том, что не только вслух, но и про себя говорю лозунговыми блоками, и за это мне почему-то несколько не стыдно. Может быть, потому, что иные блоки ничуть не бездарны. Разве они виноваты в том, что горластые болтуны превратили их в ходячую пошлость?

Как доказать, что все эти улики, показания свидетелей, доводы экспертов не более чем нагромождение случайностей, результат богатого воображения, плод лени мысли и некритической оценки поступков и слов?

Ведь на каждую улику нужна противоулика.

На показания свидетелей — показания других, опровергающие то, что вроде бы подтверждает вину.

Нельзя требовать, чтобы суд отверг доказательства, подкрепленные к тому же добровольным (нет сомнения в том,

что действительно добровольным!) признанием самого подсудимого. Это азбука юстиции, смешно объявлять ее устаревшей.

Где же найти противоулики?

Где раздобыть истинных свидетелей?

Не сам ли Саранцев постарался, чтобы их не было: ведь к Кузиной он всегда пробирался тайком. Ни один человек не знал об их связи. Кого же теперь он может позвать на помощь?

Неужели так-таки некого? Разве Кузина и Саранцев встречались в пустыне? Разве они были совсем одни?

А что, если призвать в свидетели стены?

Заставить заговорить мебель?

Услышать голос посуды, одежды, книг?

А что, если сама Кузина уличит Кузину во лжи?

Выход прост до предела. Теперь, когда все позади, кажется, что он очевиден. Что не нужно никакой мудрости, чтобы этот выход найти. Невозможно поверить, что он явился так поздно. Лучше поздно, однако, чем никогда. Все кажется несложным, когда победа одержана. Но дается она нелегко. Каждое дело требует напряжения сил, внимания и размышлений, поисков и мастерства. А сил иногда не хватает. И мастерство приходит не сразу.

Да и такая еще помеха: сам подсудимый. Он упорно не хочет помочь себе самому.

— Саранцев, мне уже надоело! Хватит, черт побери! Перестаньте валять дурака. Вы расскажете всю правду. И поможете мне, наконец. Мне и себе.

Это я говорю тоже в комнате для свиданий. Но в другой. Прошел почти год. Саранцев в колонии. Работает. Соблюдает режим. Мне не пишет. По-прежнему ко всему безучастен. Палец о палец не хочет ударить, чтобы вернуться домой, где ждет его мать, которую мне удалось перетащить в Москву из ярославской деревни. Сторожит оставленную им комнатку, в которую, похоже, его вовсе не тянет.

Я приехал к нему — на Урал, в далекую даль, и я не уеду отсюда, пока не заставлю его написать. То, что знает только он сам. Он один, и никто другой.

И он пишет. Все, что помнит, — про «жертву». Про квартиру и мебель, про картины, статуэтки, сервизы... Он описывает гардероб «потерпевшей» — платья, кофты, жакеты. Он припоминает домашние тайны, о которых она ему рассказала, — тайны, известные близким, но отнюдь не пьяным насильникам, влезшим через окно. Перечисляет изъяны на чашках, пятна на стенах, трещины на стульях — все эти ничего не значащие детали, которые должны его спасти, потому что, взятые вместе, они доказывают самое главное: Саранцев и Кузина были знакомы. Близко. Давно.

Опускаю подробности своих хождений по высоким инстанциям: ведь это рассказ о Саранцеве, а не обо мне. В ту далекую пору безвестному адвокату совсем мальчишеской внешности попасть на прием к жрецам советского правосудия было почти невозможно. Быть внимательно выслушанным и понятым — еще того менее. Но пробился, пробился...

Был выслушан и, в конце концов, понят. Спасла, я думаю, экзотичность сюжета — ни на что не похожего, выходящего вон из ряда. Докладывая «содержание дела», я сам так увлекался, что, наверно, увлекал и тех, кто какой бы то ни было увлеченности был лишен хотя бы по статусу. Тех, для кого любое проявление человеческих чувств было бы очевидным признаком профнепригодности.

Решились-таки проверить все наши доводы!.. Сподобились... И пришел еще один ответ. Не бланк с заранее напечатанным текстом, а отстуканное на машинке письмо, и в нем слова: «Не виновен».

Из колонии Саранцев сначала приехал ко мне, смущенно обнял, заплакал. Теперь он уже не скрывал, чего ему стоил этот год и как он настрадался. Только мать не дождалась сына — умерла в одночасье. От горя. В медицинских справочниках такая болезнь не значится, но в реальности она есть, и об этом все давным-давно знают.

Опечатанную комнату Саранцеву вернули. В автохозяйстве его ждали — сразу подыскали работу. Иногда мы говорили по телефону. Раз от разу голос его становился все бодрее, он шутил, подтрунивал над собой и даже сказал, что с прошлым по-

кончено, что пора начинать новую жизнь. Я пожелал ему второго дыхания, он понял меня, рассмеялся и пообещал доложить об успехах.

Но «доклада» все не было, время шло, дело Саранцева вытеснили из памяти другие дела — незавершенные, а значит, и более важные. И тут вдруг он объявился, позвонил, сказал без гордости: «Завтра женюсь». Добавил: «Вы мне как крестный. Будьте моим кумом. Ну, свидетелем в загсе». На воскресенье у меня были другие планы, но отказать не хотелось, к тому же я сам его подбивал все забыть и начать с нуля. Он послушался, и теперь мне предстояло скрепить своей подписью его новую жизнь.

По дороге в снегу забуксовала машина, желающие помочь, подтолкнуть нашлись далеко не сразу. Когда я приехал, церемония уже подходила к концу. Саранцев бережно поддерживал под руку свою невесту, на которой не было подвенечной фаты — наряд ее, строгий и скромный, говорил о культуре и вкусе. Я вгляделся в невесту и обомлел: не может быть! Да это же Кузина!.. Конечно, она...

— Какую фамилию желаете носить в браке? — спросили ее.

— Саранцева, — раздалось в ответ.

Голос ничем не напоминал мне тот, что я слышал в зале суда. Но точеный античный профиль, темные волосы, гордо посаженная голова, холодный взгляд серых глаз, устремленный куда-то в пространство, — все это осталось. Словно и не было ничего позади.

Потом вызвали подписаться свидетелей. Я подошел к столу, взял ручку, и тут почему-то мне стало смешно. Чувствую — не могу удержаться. Да еще Саранцев подмигивает, кусая губы.

— Как не стыдно, свидетель, — с укором сказала мне женщина, которая ведала церемонией. — Взрослый человек, а держать себя не умеете. Нашли, понимаете, где смеяться...

ДЫРЯВАЯ КАСТРЮЛЯ

Кто не помнит классическое начало «Анны Карениной»? Еще бы! Его еще в школе заучивали. По крайней мере в той, где я учился: она отличалась особо высоким для тех времен уровнем преподавания словесности. «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Лев Николаевич это здорово придумал. Во-первых, афористично: начало романа сразу стало половицей. Во-вторых, ужас как завлекательно: читателю сразу ясно, что его ждет запутанная семейная интрига, где супруги будут несчастливы (уже интересно!), да к тому же не так, как другие, а совсем по-особому, и, чтобы узнать, как именно, надо читать внимательно. И обязательно до конца. Под стать первой и вторая фраза романа, ставшая тоже половицей: «Все смешалось в доме Облонских». После нее только и остается усесться поудобнее на диване и следить за тем, как там у них все смешалось и к чему это в конце концов приведет.

Две семьи, в счастье-несчастье которых нам предстоит разобраться, сначала полностью соответствовали первой половине категорической формулы классика. Они были счастливы — в той мере, в какой может быть счастлива семья, живущая в коммуналке от зарплаты до зарплаты, где муж выпивает только по праздникам и — случай, из ряда вон выходящий! — в погоне за посторонними юбками почти не замечен. Во всяком случае, не настолько, чтобы из этого мог получиться даже незвонкий скандал. Что же до второй половины суждения Льва Николае-

веча, тут, пожалуй, можно поспорить: две семьи, к знакомству с которыми мы приступаем, вроде бы его опровергли, поскольку и в несчастье своем, по крайней мере сначала, никакой оригинальностью не отличились. Ну, не сложилась жизнь, была любовь да и вышла: банальнее ничего не придумаешь.

И лишь неожиданный поворот в их судьбах, предвидеть который был бы не в состоянии даже самый лихой сочинитель сюжетов, смог все же классика реабилитировать. В итоге все получилось точно по его модели, разве что с небольшим коррективом: счастливые ничем не отличались от несчастливых. Они никак не походили на других таких же. Тем и отличаются обычно семейные драмы, доходящие до суда: все не так, как у всех...

Впрочем, в нашей истории, когда она подойдет к концу, вообще будет сложно понять, кого — в данном конкретном случае — можно назвать семьей и каким содержанием, применительно к нашим героям, наполнить затасканные, лишённые внятного смысла понятия «несчастье» и «счастье».

Всего в коммуналке на Стромынке жило четыре семьи, из них две дружили домами, не выходя из своей квартиры, а две другие находились, напротив, в лютой конфронтации с дружившими, хотя и не ладили между собой. Но давно ведь известно, что, во-первых, общий противник сближает его недругов, а во-вторых, зависть сближает еще больше.

Завидовать, впрочем, нашим героям, если, конечно, злоба не слепит глаза, было вроде бы нечего. Совершенно! Жили они, не в пример своим злопыхателям, скромно — даже по аскетическим советским критериям. Перебивались, как сказали бы в досоветские времена, с хлеба на квас. Зато, опять же не в пример злопыхателям, не грызлись, друг на друга не лили, сор из своих изб-комнатушек не выносили, хотя и было что выносить, дело житейское, — держались от своих сожителей по коммуналке в стороне. Только друг с дружкой...

Появившийся позже пошловатенький, но прилипчивый шлягер «Плачу по квартире коммунальной», то есть по мифическому братству пропавшего мокрым бельем общежития с одним сортиром на двадцать персон, — этот ностальгический всхлип мог у них вызвать разве что кривую усмешку. Ситуация

исключительно не советская, тем более что длилась она многие годы. Братство — да, но не общее, не одно на всех обитателей, а исключительно сепаратное. Два разных братства, враждующих между собой, — в пределах одной и той же квартиры.

Вдруг все рухнуло в одночасье. Рухнуло в тот праздничный вечер, когда Катунины (Кира, он же Кирилл Васильевич, и Аня, она же Анна Касьяновна) — одна из тех счастливых семей — отмечала серебряную годовщину: двадцать пять лет совместной безоблачной жизни. По этому поводу созвали гостей, которым, как ни теснись, было не уместиться на четырнадцати квадратных метрах, заставленных комодами, этажерками и супружеским ложем. Расхожее правило советских времен «в тесноте, да не в обиде» на этот раз не работало, ибо и теснота имеет свои пределы: двадцать три сотрапезника, включая, конечно, и самих юбиляров, могли разве что расположиться — с рюмками и тарелками — в коридорной кишке, что полностью исключалось по причинам, отмеченным выше: коммунальная оппозиция не могла допустить такой самоволки.

Пришли на помощь друзья.

Близкая юбилярам по духу семья Сурыкиных с готовностью отдала для торжеств свои двадцать шесть, убрав ширмы, делившие пространство на две половины, и разделив бремя предъюбилейных хлопот: женская часть сурыкинской семьи честно трудилась бок о бок с виновницей торжества над изобилием праздничного стола. Соседи-недрузи приглашены на застолье не были, что, ясное дело, предельно накалило и без того раскаленную коммунальную атмосферу. Еще того хлеще: Катуниним и Сурыкиным официально было заявлено, что в двадцать три ноль-ноль, и ни минутой позже, будет вызван по телефону милицкий наряд — в том, естественно, случае, если из их дверей донесется до общего коридора хотя бы один слабый звук. Не говоря уже о не слабом...

И все-таки праздник состоялся. Пришли все приглашенные гости, включая племянницу Катуниных Любу с мужем ее, Фимой Тришкиным, мастером на все руки, непременной палочкой-выручалочкой, как только что-то не ладилось в унылом тогдашнем быту. По первому зову он безотказно являлся и устранял любую помеху — в плите, в унитазе, в электропроводке

или в чем-то ином. И только он — своей внушительной фигурой, руками мастерового и голосом, столь же мягким, сколь и могучим, — мог сдерживать порывы страстей вечно всем недовольных соседей, поскольку у них такой вырuchалочки не было: им и здесь не везло.

Застолье уже перешло свой зенит, гости еще доедали салаты и, косясь на часы, пели гнусаво что-то вроде бы общее, а на деле каждый свое, когда недобрым предчувствием кольнуло сердце Шуры Сурыкиной (Александры Егоровны, если помнить о ее сорока шести), и она хватилась вдруг дорогого супруга, который только что, минуту-другую назад, был буквально же под рукой. И неожиданно сплыл. Зоркий глаз ее тут же подметил, что среди распевавших и распивавших не оказалось почему-то еще одной гостьи: Люба Тришкина тоже исчезла. По редкой случайности свободным оказался тот закуток, который один мой старорежимный знакомый деликатно именовал кабинетом задумчивости, так что списать исчезновение кого-то из двух на протекший сортир, куда по вероятию мог удалиться пропавший, тоже было никак невозможно.

Поиск велся недолго. Дверь пустовавшей на время застолья катунинской комнаты была взломана без труда, благо и заперта была изнутри лишь на хлипкий крючок, там-то и оказались — под градусом, разумеется, — совсем потерявшие стыд оба пропавших. Не то чтобы в слишком неподобающих позах, но однако же в таком положении, которое полностью исключает любые сомнения насчет их далеко идущих намерений.

К черту намеки и тем более к черту подробности: читательское воображение легко их нарисует и без моей подсказки! Все рухнуло сразу: юбилейные торжества, дружба домами, да и вообще все то, что еще минуту назад считалось незыблемым и вызывало шипящую зависть у других обитателей того же болота. Крик стоял оглушительный, но ликующие соседи на радостях не воззвали к милиции, дав возможность взъярившимся вволю излить свои чувства. Многие из гостей, даром что захмелели, предпочли поскорее слинять, не желая быть сопричастными тому неизбежному, что не могло не последовать.

И последовало, пусть и не столь жестоко, как ожидалось: кровь из носа разлучницы — единственно зримый Шурин тро-

фей, сразу ею добытый в порыве взметнувшихся чувств. Но то было только начало... Шура сразу же вслух обнажила, на свой, конечно, манер, истинное нутро дорогих юбиляров. То, которое они так долго скрывали. В дефинициях не стеснялась: сводники, воры, лжецы! Разрушители крепкой советской семьи! (Перевожу на бесцветный язык тот красочный, который звучал тем вечером в коммуналке. Допотопное воспитание: все еще не могу позволить себе ту лингвистическую свободу, которая стала нормой в нынешней литературе.) Как потом оказалось, не все в этой визгливой брани было далеким от истины, поскольку о неплатонической дружбе племянницы с соседом Юрой Сарыкиным супруги Катунины «кое-что» знали и раньше. Не придавали значения, как они оба — муж и жена — говорили потом на суде: с кем не бывает?

Зато та, что оказалась и обиженной, и униженной, значение новому повороту событий придавала большое. Вчерашние соседи-друзья превратились в лютых врагов. Муж Сарыкиной, Юра (Юрий Львович, если по паспорту), не мог оставаться под общим супружеским кровом, подвергаясь не только брани, но и физическому воздействию со стороны горячо любимой жены, и, пока суд да дело, нашел приют на тех самых четырнадцати квадратных метрах, где был пойман с поличным. Худо-бедно пристроился на диванчике... А вот Фима, тот не завелся, не дрогнул. Поразмыслил, прикинул, вспомнил ту самую народную мудрость — «с кем не бывает?» — и простил заблудшую грешницу, остался с ней в общем жилище, где было сподручней и проще иметь надзор за дальнейшим ее поведением. Взывал и к рассудку Сарыкиной, ставшей ему подругой в общей беде, но та не вняла, рассудка явно лишившись: его застлали обида и ревность.

Миную тот, неведомый мне в деталях, период, который прошел между тем, что уже описано, и тем, который снова — и судьбоносно! — круто развернул этот житейский сюжет. Додумать и восполнить недостающее не представляет никакого труда, но я рассказываю только о том, что мне достоверно известно, избегая обогащать фантазией строго документированную в судебном деле последовательность событий. Не знаю, как точно это произошло и как долго длилось взрывоопасное

состояние, но вдруг все чудеснейшим образом повернулось, превратив зрешую уже и казавшуюся неизбежной трагедию в рождественскую идиллию. Траурный марш — в пастораль...

Траурный марш — не для красного словца сказано, не потому, что автора потянуло на безвкусную дешевку. Из того же судебного дела с непреложностью вытекает (и это никем не оспорено), что под горячую руку, которая ни за что не хотела остыть, и в бессильной ярости от того, как подло и неожиданно была она обманута теми, кому доверяла, Шура Сарыкина, «вступив в сговор с обвиняемым Тришкиным Е. С., предложила последнему убить своего мужа, потерпевшего Сарыкина Ю. Л., и, получив принципиальное согласие на это со стороны обвиняемого Тришкина Е. С., подробно обсуждала с ним способ совершения убийства».

По ее разумению, устранением разлучника устранялась (сразу для обоих сговорщиков!) и сама проблема: изменника-мужа настигло бы справедливое возмездие, охмурившая его распутница осталась бы без любовника, а Фима, даром что и сам имел бы от этого моральный профит, получил бы еще от заказчицы вряд ли большое, но какое-то вознаграждение: оно вроде бы предполагалось, но сумма, увы, в материалах дела отсутствует. Эта деталь почему-то следствие не интересовала.

О том, как долго могла бы в такой ситуации вообще удержаться тайна убийства, ослепленная гневом Сарыкина, похоже, не думала вовсе. Но, к счастью, кровавый проект так на уровне замысла и остался, поскольку именно Фима, а не кто-то иной, нашел спасительный выход, который (он потом в этом клялся!) был продиктован не только разумом, но еще и сердцем.

Следующий этап, отстающий от описанных выше событий приблизительно на полгода, застает нас при совершенно новом расположении действующих лиц. Создается ощущение, что дело происходит не почти полвека тому назад, а в наши дни, когда такие конфликты разрешаются здраво и спорно, поскольку заинтересованные лица не слишком отягощены старомодной щепетильностью и обременительными моральными кандалами.

Происходит всего-навсего легкая рокировка. Фима Тришкин, презрев возрастные барьеры (он моложе Шуры на одиннадцать лет), предлагает ей свить общее семейное гнездышко, как товарищам по несчастью, и тотчас получает согласие разом воспрянувшей духом униженной и обиженной: получается, что от всей этой истории она больше выиграла, чем проиграла. Не теряя времени, Фима сразу переселяется в те самые, освобожденные мужем, двадцать шесть квадратных метров, где разразился семейный скандал, а Юра Сарыкин получает возможность съехать из-под чужого и не слишком удобного крова Катуниных, соединившись с той, что разрушила так славно живший квартет. И те самые двадцать шесть квадратных метров, где чуть ли еще не вчера кровь могла пролиться не только из носа, снова принимают, хоть и в значительно усеченном составе, желанных гостей: две пары, слегка поменяв места за столом, празднуют начало обновленного семейного счастья. Таким немислимым хэппи-эндом вполне мог бы завершиться сюжет сентиментальной трагикомедии, сколоченной по голливудским рецептам. С той лишь разницей, что он не явился плодом фантазии сочинителя, а взят — без малейшего отклонения от истины — из самой жизни.

Но в том-то и дело, что взаправдашняя жизнь весьма далека от голливудских лекал. Тем более наша, советская, конца пятидесятых годов. Другие нравы, другая генетика, другое кипение страстей. Да все, все совершенно другое!..

Как, видимо, любой адвокат, я всегда начинал читать судебное дело с конца. То есть с обвинительного заключения, которым венчается следствие, и дело поступает для рассмотрения в суд.

Суду были преданы двое: Александра Егоровна Сарыкина и Ефим Николаевич Тришкин. О том, что они содейли, в обвинительном заключении было сказано так (языковая несъедобность — отличительная черта прокурорских грамотеев того времени. Только ли, впрочем, того? Надо смириться...): «Несмотря на то, что обвиняемый Тришкин, после первоначального согласия с предложением обвиняемой Сарыкиной А. Е. убить из мести гражданина Сарыкина Ю. Л., отказался от исполнения

этого замысла и, сойдясь с обвиняемой Сарыкиной А. Е., стал проживать вместе с нею в незарегистрированном фактическом браке, мысль об отмщении Сарыкину Ю. Л. за супружескую измену не оставляла обвиняемую Сарыкину А. Е. Примирение, которое состоялось между ними, носило неискренний, лицемерный характер. Желание довести до конца свой замысел обострилось после того, как она узнала о беременности Тришкиной Л. А. и о том, что по этой причине рассмотрение заявления Сарыкина Ю. Л. о расторжении брака с Сарыкиной А. Е. с целью последнего своего оформления брака с Тришкиной Л. А. будет произведено в ускоренном порядке. Категорическое требование обвиняемой Сарыкиной А. Е. не давать развода Тришкиной Л. А. обвиняемый Тришкин Е. Н. отверг, считая, что при сложившихся обстоятельствах это не имеет перспективы и что, наоборот, он желает в скорейшем порядке зарегистрировать брак с нею, Сарыкиной А. Е. Но, вследствие все нарастающего желания отомстить мужу за супружескую измену и разрушение их семейного союза, обвиняемая Сарыкина А. Е. настаивала на убийстве Сарыкина Ю. Л., требуя от обвиняемого Тришкина Е. Н., как от пострадавшего вместе с нею, этот план осуществить. /.../ Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, непримиримости обвиняемой Сарыкиной А. Е. в этом отношении и ее нежеланию прислушаться к доводам обвиняемого Тришкина Е. Н., который сначала ей возражал, во многом способствовала ее повышенная ранимость и чрезмерная возбудимость в связи с тем, что от ее брака с Сарыкиным Ю. Л. у обвиняемой Сарыкиной А. Е. не было детей, и что теперь ребенок будет у него и у ее соперницы, с чем она не могла примириться».

Можно было бы, наверно, целиком переписать сохранившееся у меня обвинительное заключение, все происшедшее описано в нем, хоть и на кошмарном прокурорском жаргоне, но весьма досконально, однако же — лучше воздержимся: там слишком много никому не нужных деталей, да и продираться сквозь запредельное косноязычие аутентичного документа не слишком большая, мне кажется, отрада для чтения.

Скажу лишь, что Сарыкин действительно был убит ударом ножа («типа охотничьего», как определили его криминалисты)

прямо в сердце. Причем смерть, уточнили судебные медики, наступила мгновенно в результате «удара большой силы». Убит он был в той самой комнате коммунальной квартиры, где происходят все события, которые описаны в этом рассказе, и где он прожил с Шурой Сарыкиной без малого четверть века. Пришел, чтобы забрать какие-то вещи, договорившись предварительно с бывшей женой, которая ради этого отпросилась с работы. Надеялся мирно поговорить о предстоящей бракоразводной процедуре. Все это утверждала потом на следствии и в суде разлучница Люба. А как было на самом деле, никто не знает.

Пришел туда, стало быть, Юра — и уже не вышел. Убит был, по версии следствия, Фимой Тришкиным в сговоре с Шурой Сарыкиной, которая в обвинительном заключении названа подстрекателем и соучастником преступления.

На мою долю выпало защищать самого убийцу. Я был тогда еще совсем молодым адвокатом. Молодым и неопытным, хотя чуть ли не с детства учился этому непростому искусству у матери, охотно вникая в дела, которые она вела: у нее была богатая и обильная практика. Зато моим партнером на скамье защиты оказался, напротив, юрист многоопытный, один из корифеев тогдашней адвокатуры, Леонид Александрович Ветвинский. Он защищал Шуру Сарыкину. Обиднее всего, что нам предстояло быть не только союзниками по общему делу, но еще и оппонентами по отношению друг к другу: интересы двух подсудимых на этом процессе не совпадали, порой даже находились в жестокое противоречии, хотя оба и отрицали какую бы то ни было свою причастность к убийству. Отрицали — вопреки собранному следствием доказательствам, а также, что гораздо важнее, вопреки логике и здравому смыслу. Сомнений на этот счет у меня не было никаких.

По обвинительной версии убийство произошло так. Шура, как сказано, знала, что Юрий придет «за вещами и чтобы поговорить» (кавычки здесь и далее означают цитаты из следственных документов). Бывшие супруги восстановили к тому времени «хорошие отношения» и даже, об этом тоже уже говорилось, провели общее застолье по случаю семейной рокировки. Часто перезванивались, обсуждая «вопросы, представлявшие для них

общий интерес». Ничто не предвещало трагической развязки, поскольку «обе вновь образовавшиеся семьи с общего согласия постепенно налаживали нормальную семейную жизнь». Однако Шура приняла решение именно в этот раз осуществить задуманное, полагая, что другого подходящего случая может не быть.

После некоторых колебаний Фима с ней согласился. Он решил использовать для убийства острый «клинкообразный» нож (признан экспертами холодным оружием), который служил ему «во время производства столярных, слесарных, монтерских и прочих работ по дому», и нанес пришедшему Фиме смертельный удар в сердце. «Убийца воспользовался тем, — пришло к выводу следствие, — что в дневное время рабочего дня все жильцы квартиры находились на работе», а для того чтобы «обеспечить себе алиби», и Шура, и Фима «зафиксировали свое присутствие по месту службы одного (Фимы. — *А.В.*) и у знакомых другой (Шуры. — *А.В.*) приблизительно в то же самое время, когда совершилось убийство».

Обвинительную версию подкрепляло еще немало других улик. Ножа (орудия убийства) на месте преступления не оказалось, он был тщательно спрятан: его нашли при обыске у сестры Фимы Тришкина, Ксении, завернутым в тряпье и засунутым в неприметную коробку из-под дамских сапог. В ходе микроскопического анализа на нем обнаружили следы крови той же группы, что и кровь убитого Юрия, а также пальцевые отпечатки на рукоятке, оставленные Фимой. Никаких других отпечатков там не нашлось. Экспертиза установила еще, что ножевое ранение было нанесено именно этим ножом «или ему идентичным», хотя, как отмечено в ее заключении, использование в данном случае другого ножа, который совпал бы «по всем признакам» с тем, который изъят при обыске, допустимо «лишь теоретически, а фактически представляется маловероятным».

Леонид Александрович Ветвинский, с которым мы предварительно обсуждали общий план защиты — в тех пределах, в которых она действительно могла быть у нас общей, — ничем мне, да в сущности и себе, помочь не мог, хотя, признаться, я на эту помощь рассчитывал. Он весьма скептически оценивал наши шансы на предстоящем процессе, утешая меня лишь тем,

что адвокату все равно приходится защищать своего клиента даже в самых безнадежных делах и что именно таких дел — «безнадежных заведомо и абсолютно» — в его практике всегда было явное большинство. Все это, увы, я знал и без подсказки многоопытного коллеги. Как и то, что адвокат связан позицией самого подсудимого: если тот, сколь угодно наивно и бездоказательно, отвергает предъявленное ему обвинение, у адвоката не остается ничего другого, как вторить человеку, которого он защищает. Не может же он стать для своего подзащитного еще одним обвинителем...

Ничего внятного в пользу Тришкина я сказать на суде не смог бы. Даже, к примеру, того, что он, при всей своей силе и стати, личность, несомненно, безвольная, что попал под влияние бой-бабы Сарыкиной, которая сломит и не такого. Приведем я этот довод, он означал бы, что Тришкин все же убийца, но заслуживает снисхождения из-за своей бесхарактерности. На этой дорожке мы, наверно, схлестнулись бы с Ветвинским, но пойти по ней я был не вправе. А по какой же тогда пойти?..

Адвокатская рутина тех времен — всегда в одной и той же последовательности: сначала ознакомление с делом, потом визит в тюрьму, лицемерно называвшуюся камерой предварительного заключения (КПЗ), и там — только там! — первое знакомство со своим подопечным в унылой комнате для свиданий, где металлический стол и такие же стулья заботливо привинчены к полу. Знакомство именно первое: ведь пока не наступил у нас расцвет демократии, адвоката никаким боком не допускали ни к материалам следствия, ни к самому клиенту. Тот оставался со следователем один на один — до тех пор, пока сам следователь не признал свою работу законченной и не предоставил подследственному возможность узнать результаты его работы. Об адвокатской помощи арестованному в ходе следствия не могло быть речи, чтобы тот, не ровен час, не снабдил обвиняемого какой-либо мудрой подсказкой. Не научил защищаться...

Фима все еще сохранил какие-то проблески своей прежней стати, но был какой-то обмякший, рассеянный, вялый, смотрел на меня без всякого интереса — скорее отбивал повин-

ность, чем всерьез был готов обсуждать со своим адвокатом план будущей защиты. В отличие от многих других, кого приходилось мне защищать, никаких таких слов он вслух не произносил, но они читались в его глазах: ни ты, адвокат, ни я, подсудимый, мы оба никогда никому не докажем, что никакого отношения к убийству я не имею.

Мне же, наоборот, хотелось ему втолковать: и ты, мой защитный, и я, твой адвокат, мы оба прекрасно знаем, что — имеешь, голубчик, имеешь! И еще какое! И лучше бы не морочить друг другу голову, а подумать, как в этой тупиковой, совершенно безвыходной ситуации хоть немного облегчить твою участь. Но ничего подобного я Фиме не сказал, потому что, с точки зрения адвокатской этики, такую грубую прямоту не сочли бы корректной. А я, молодой адвокат, не мог отважиться на подобную вольность, которую, безусловно, себе бы позволил, окажись наедине с Фимой не защитником, связанным бездной запретов по рукам и ногам, а свободным и независимым журналистом.

Впрочем, нет, какие-то слова, подрывающие, на его взгляд, здание обвинения, Фима все-таки произнес, хотя и мне пришли они в голову без всякой подсказки. Вот такая, к примеру, свежая мысль — она промелькнула уже в нашем рассказе.

— Вы думаете, я не мог сообразить, что первое же подозрение падет на меня и на Шуру? Или на кого-то из нас? Я что, по-вашему, самоубийца? Любой на моем месте понял бы, что от этой грязи ни за что не отмыться. Сколько ни три... Прочистили бы мозги: зачем рыбе галоши? Ведь у нашего квартета все, наконец, устроилось. Все помирились. Поставьте себя на мое место: в честь чего мне его убивать? Ну, трахнулись, ну и что?.. Мне бы Юрке спасибо сказать, что ее подхватил, а не — нож в сердце... Пусть бы маялся с нею, как маялся я. У нас, между прочим, рядом с домом гараж, так она еще до Юрки всех шоферюг обслужила. Ни один не в обиде. Уж если мне кого убивать, так не Юрку, а Любку. И не теперь, а когда еще!..

Пришлось напомнить: ведь он же действовал по наущению Шуры Сарыкиной, а не по своей воле, был лишь орудием ее мести, а не мстил сам — так это прямо записано в обвинительном заключении. Стало быть, довод его бьет мимо цели.

— Там еще и не это напишут! Что я — тряпка какая? Ноль с половинкой?.. Ладно свистеть! С чего это взяли, что Ефим — чучело на веревочке? Мои винтики пока что не стерлись...

— Какие винтики? — прервал я его. — Какое чучело? Не уводите меня в сторону — вам же будет хуже... Все гораздо проще: вы оказались под нажимом новой жены. Не смогли ей отказать. В этом хотя бы есть какое-то объяснение. И надежда на снисхождение.

Он вскинулся:

— Это что же за объяснение?! Я не кусок дерьма, чтоб барахтаться в проруби. Ну, хоть вы пораскиньте мозгами: кто за кого держался? Я за Шурку или она за меня? Мне-то с какого бока быть у нее на подхвате?

— Вы хотите сказать?.. — Надо было вернуть его на почву реальности, увести от общих рассуждений, приблизить к делу. — Вы хотите сказать, что она вообще никак на вас не влияла?

— Почему не влияла? Влияла! Я даже уверен: не на меня одного. Идет по жизни, как броненосец по озеру... Ей дай рельс, она его за ночь перегрызет, и не поперек, а вдоль.

Такой вот, с его слов, получался портретик драгоценной супруги... Большой любви к новой своей половинке я что-то у Тришкина не заметил. Да к тому же еще — не забудем! — кто кого на одиннадцать лет моложе?.. То-то и оно... Что же тогда его к ней привязало?

Похоже, он ждал этого вопроса. Усмехнулся, давая ясно понять, что опыта житейского у меня маловато.

— Мамаша мне так говорила: «Жизнь свою не устроишь, — пойдешь ко дну, как дырявая кастрюля». Когда все пошло кувырком, надо было куда-то прибиться? Вот и прибился... И крыша, и уход, и тепло — все сразу, и без хлопот. Ну, какой расчет мне тонуть? Теперь вижу: если кастрюля с дыркой, все равно не заклепаешь, как ни ловчись. А ей-то чего шевелиться? Молодого мужика получила — лежи себе и не мяукай. Она ведь тоже не дура, поймите это в виду.

В его рассуждениях была опять-таки не только логика, но и неоспоримая житейская правда, и все же с такой психологической, не более того, аргументацией в суде было нечего делать. Чего она стоила, эта аргументация, против найденного ножа,

против показаний сестры Ефима Тришкина, Ксении: «Брат пришел озабоченный, попросил тряпку, чтобы завернуть нож, сам забросал барахлом, чтобы было незаметно, и велел молчать». Чего она стояла против того несомненного факта, что прежде чем «все устроилось», убийство Юрия действительно замышлялось! И не кем-нибудь, а именно Фимой и Шурой. И орудием убийства по общему выбору должен был стать тот самый нож... Хотя бы этот факт не оспаривали ни он, ни она. И, наконец, та нарочитость, с которой они оба готовили себе алиби...

Ведь правда же! Как объяснить, что с таким нажимом, на который все обратили внимание, «заинтересованные лица» просили запомнить (Фима — на службе: он работал нормировщиком на небольшом заводе; Шура — у знакомой портнихи: она к ней вдруг, «ни с того, ни с сего», забежала в неурочное время) час и даже минуты, когда их видели на этом месте, а не на каком-то другом. Главное — вдали от квартиры, где был потом обнаружен Юрин труп. Экспертиза с достаточной точностью установила время убийства, и тогда, действительно, получалось, что предполагаемые убийцы в это самое время никак на месте преступления быть не могли. В такой, слишком уж гладкой, несовместимости, то есть в классическом алиби (хоть в учебник вставляй!), следствие усмотрело инсценировку, и мне, не могу этого скрыть, показалось тогда, что в самом деле без нее тут не обошлось.

— Вот и зря! — срезал меня Ветвинский, когда я поделился с ним своими мыслями. — Вы поспешили поддаться привычным стереотипам. То, что слишком уж просто, что легко объясняется, всегда вызывает подозрение: а вдруг тут что-то не так? Почему эта мнимая нарочитость стала главным козырем следствия, я понимаю. А почему она так поразила вас? Ведь ни портниха, ни заводские коллеги вашего подзащитного — сами-то они ничего нарочитого не заметили. Просто Тришкин, которого все время упрекали на работе в частых и длительных перекурах, напомнил начальнику, что вот он, пожалуйста, никуда не отлучился — находится в положенное время на рабочем месте и выполняет свою работу. Сарыкина, без предупреждения примчавшись к портнихе, у которой, кстати, нет телефона, принесла отрез на платье и просила не удержи-

вать примерку, поторопиться, потому что она-то как раз сбегала с работы. Что тут такого уж нарочитого? Иллюзорная нарочитость возникла в сознании не свидетелей, а следователя, да и то лишь после того, как он стал собирать доказательства с откровенно обвинительным уклоном именно против Тришкина и Сарыкиной. То есть, когда уже сложилась определенная версия, и все улики стали под нее подгоняться.

— А нож? — напомнил я, сраженный логикой коллеги, которая показалась мне ничуть не менее убедительней, чем логика обвинения. — Пальцевые отпечатки... Способ укрытия...

Ветвинский — он был очень невысокого роста и всегда, даже сидя, опирался двумя ладонями на покрытую лаком массивную трость из драгоценного дерева — вскинул голову и взгляделся в меня, не скрывая своего удивления. В глазах его я прочитал с непреложностью только одно: быть неопытным адвокат, разумеется, может, но вот лопухом — никогда.

— Отпечатки?! — Он произнес это слово с брезгливостью. — Какие, по-вашему, должны быть на ноже отпечатки, если им пользуется только один человек? Других отпечатков на нем нет, ибо никто иной его в руках не держал. И орудием убийства этот нож не был. — Пауза, которую он выдержал, была сделана лишь для того, чтобы я не ввязался в бесплодный спор, а оценил по достоинству его мысль. — Мог быть? Конечно. Но мог быть и был — это две разные вещи. Мог — это лишь материал для поиска подтверждающих улик. Был — это должно быть доказано категорично, неопровержимо, а вовсе не предположительно. Так ведь не доказано!

— Ну, а способ укрытия? — напомнил я. — Зачем не убийце прятать нож, который к тому же не был орудием убийства?

Леонид Александрович призадумался и примолк — кажется, он вступил в диалог с самим собой, и я не стал ему в этом мешать.

— Наконец, я понял, Аркадий, ваш замысел, — сказал он, когда безмолвный тот диалог завершился. — Вы проверяете на мне ход ваших мыслей и репетируете линию защиты. Вы хотите знать мои аргументы, чтобы они не застали вас врасплох. Но мы с вами окажемся противниками лишь в том случае, если примем версию обвинения и станем спорить о том, чья вина

большее: вашего Тришкина или моей Сарыкиной. Но если мы отвергнем эту версию, целиком, без каких-либо оговорок, а мы только так и можем поступить, то спорить нам не о чем. Мы объединимся против прокурора, и в этом будет наша сила. — От него не укрылось, как видно, мое робкое сомнение, и это лишь укрепило его в своей правоте. — Следовательно безмотивно отверг объяснения наших подзащитных, другого от него я и не ждал. А вот почему вы тоже их игнорируете, это мне непонятно. Вчитайтесь внимательно в их показания — они весьма и весьма убедительны. Тришкин, действительно, прятал оружие убийства. Но не того убийства, которое в конце концов состоялось, а того, которое могло бы произойти, если бы сгоряча, в угаре, он поддался на первоначальное предложение Сарыкиной. То, которое они не отрицают и от которого оба добровольно отказались. Значит, по закону не могут быть за это судимы. Зная ее характер, ее настойчивость и импульсивность, Тришкин и спрятал нож у сестры: от греха подальше. Можно было, конечно, выбросить, так надежнее. Но совсем расставаться с ним ему не хотелось: нож был незаменимым подспорьем в работе, а вы же знаете, как непросто у нас достать или смастерить самому то, что считается холодным оружием. Кстати, боюсь, что от этого обвинения никуда не уйти: за хранение холодного оружия вашему Тришкину все же придется ответить.

Если бы только за это!.. Я восхищался анализом Ветвинского, стройностью той линии защиты, которую он собирался избрать. Но встретит ли она понимание у суда?

— Конечно, не встретит! — чуть ли не с радостью подтвердил он. — У вас есть другая?

Увы, увы... Другой у меня не было.

Народу на процесс собралось — ни встать, ни сесть. Небольшой зал городского суда на Каланчевке был переполнен сверх всякой меры. Прямо ли, косвенно — к делу было причастно сразу несколько семей со всеми их знакомыми и знакомыми знакомых. Да и слух прошел по Москве про убийство из мести и ревности при таком экзотичном раскладе главных действующих лиц: не совсем обычный все же квартет, в этом ему не откажешь...

Судил Иван Михайлович Климов, тщедушный старикашка со впалыми щеками и землистым цветом лица. И до этого дела, и после мне довольно часто приходилось взывать к правосудию, воплощенному в его аскетичном лице: хоть бы раз удалось... Климов был известен в узком кругу юристов своим ледяным спокойствием, непроницаемым взглядом, тишайшим голосом и полной — внешней, конечно — безучастностью к тому, что разыгрывалось перед его судейским столом. Никого не одергивал, никаких эмоций не проявлял, сидел, как истукан, и — внимал. Эта маска почему-то создала ему репутацию судьи справедливого, объективного, для которого главное — докопаться до истины. Стлал-то он мягко, да спать было жестко: Климов, как мне объяснил тот же Ветвинский, который знал его гораздо дольше, чем я, всегда отличался особой суровостью выносимых им приговоров, но при этом никто не мог обвинить его в предвзятости, некорректности или в чем-то еще. Он с легкостью удовлетворял чуть ли не все ходатайства защиты, не торопил, не покрикивал: его ровный, убаюкивающий голос расслаблял, успокаивал, заглушал шаги безжалостной Немезиды, которую он же собою и представлял.

Странно, я с точностью помню имя судьи даже почти полвека спустя, а вот имя прокурорши, полнотелой, рыхлой, как растаявшее желе, с выпученными глазами и медным голосом, — его я напрочь забыл. А это она в лицо смеялась над нами, когда мы с Ветвинским пытались опровергнуть (по-моему, и не пытались вовсе, а действительно опровергли) всю, грубо, но крепко — на первый, разумеется, взгляд — сколоченную постройку, именуемую обвинительным заключением. При перекрестном допросе обвинение рассыпалось на глазах, Климов согласно кивал головой, словно вдохновляя нас не снижать напора, и я уже внутренне ликовал, ожидая оправдательного приговора, а значит, и освобождения наших подзащитных прямо в зале суда. Когда в перерыве я высказал это Ветвинскому, он, при всей своей деликатности, меня осмеял. Не грубо — интеллигентно.

— Наша профессия, коллега, — не столько назидательно, сколько печально произнес он, — требует большей самокритичности. И большего хладнокровия. Она не позволяет закрыть глаза на те условия, в которых мы с вами работаем.

Теперь-то я понимаю, что он не просто меня остудил, а сказал даже больше того, что можно было выразить вслух. Без иносказаний. Объяснением этой смелости (ведь мы с ним были мало знакомы) может быть разве что та эйфория, которая точно тогда охватила страну: процесс этот шел почти сразу после Двадцатого съезда — в тот крохотный (исторически!) промежуток, который с легкой руки Ильи Эренбурга получил название «Оттепель». К исходу нашего процесса эта самая оттепель ни малейшего отношения не имела, но, притупив былой страх, чуть-чуть, самую малость, позволила развязать языки.

— Не закрывайте глаза! — еще раз посоветовал мне Леонид Александрович, и я воспринял его слова всего лишь как отгослок перестраховочного сознания. Времена-то теперь другие, лихо подумалось мне, когда я снисходительной улыбкой ответил на предупреждающий знак умудренного опытом коллеги.

Особое впечатление произвело на меня выступление одного из свидетелей. Борис Приходько был одним из тех соседей, которые находились в глухой и стойкой вражде с семействами Катуниных и Сарыкиных. Всех соседей вызвали в суд, что было совершенно естественно, поскольку убийство, пусть даже и в их отсутствие, произошло в общей квартире. И оба застолья, без подробного рассказа о которых нельзя было толком разобраться в случившемся, проходили тоже у них на глазах. Не совсем, но — почти... Жена Приходько, их дочь Элла, семнадцати лет, и другие соседи, Светличные, не постеснялись излить всю свою желчь, давая характеристики Шуре Сарыкиной, а походя, и обоим Катуниным, хотя те к ответственности не привлекались. Невозмутимый Климов дал волю свидетелям говорить все, что у тех так страстно рвалось наружу. Прокурорша, та вообще не скрывала восторга, слушая их обличения, не имевшие — скажу это снова — никакого отношения к делу.

Зато Борис Приходько, самый остервенелый из всего коммунального братства, который в квартирных скандалах не только в карман за словом не лез, но кулаками, случалось, орудовал еще хлеще, чем словом, — тот, к очевидному огорчению прокурорши, вовсе показал свою беспристрастность. Рыдала, слушая его, Люба Тришкина — в тон ей надрывался от крика

младенец: закутанный в одеяло, он лежал у нее на руках. Нарушителей порядка пришлось удалить из зала.

— Граждане судьи! — сказал Борис Приходько, проникновенно глядя при этом в глаза не Климову, а прокурорше. — С гражданкой Сарыкиной мы находимся даже не в неприязненных отношениях, как я признался следователю, а тот это занес в протокол... Нет, могу прямо сказать, жили хуже, чем кошка с собакой, потому что она и ее бывший муж, гражданин Сарыкин, царство ему небесное, так же как и граждане Катунины, вели себя по отношению к нам, соседям, развязно, ущемляли наши права на кухне и в местах общего пользования, нарушали правила соблюдения тишины и вообще создавали просто невыносимые условия для совместного проживания. Ни в какие рамки не лезли... Но я человек честный, грех на душу не возьму. Ни за что не поверю, что гражданка Сарыкина могла такое себе позволить, чтобы поднять руку на мужа, с которым прожила столько лет, вырастила сына, который служит в настоящее время в рядах советской армии. Она никогда не показала себя способной на такое безобразие. Как это так: убить человека?! Как это возможно? Гражданка Сарыкина, ответственно вам заявляю, на это совершенно не способная, я ее знаю много лет. Она ругаться, конечно, ругается, этого от нее не отнять, но рукой до мухи и то не дотронется. Она, я сам от нее это слышал, отошла после обиды, зла на Юрия, в смысле гражданина Сарыкина, не держала. Почему? Потому что ей, как их брак надломился, сразу достался человек обходительный, уравновешенный человек, гражданин Тришкин, который, не в пример ей самой, оказался соседом спокойным и уважительным, к которому у нас нет никаких претензий. Тришкин Ефим культурный человек, с головой у него все в порядке, в честь чего ему убивать Сарыкина? Я за ним ничего такого не замечал.

— Даже у шакалов иногда просыпается совесть, — шепнул мне Ветвинский, и я, конечно, не мог с ним не согласиться.

Но толку от этой проснувшейся совести не было для нас никакого. Личное мнение соседа — хоть за здравие, хоть за упокой, — раз оно не опиралось на какие-то факты, имеющие значение для дела, не могло склонить чашу весов ни в пользу обвинения, ни в пользу защиты. По существу же сосед-свидетель

тель все-таки лил воду на мельницу прокурорши: очень обстоятельно разъяснил, что во всей коммунальной квартире в тот день и час не было никого. Даже Элла, старшекласница, пребывала на каком-то школьном мероприятии, а войти в квартиру, не оставив следов, кому-либо постороннему было никак невозможно, поскольку входная дверь не взломана, а подбор ключа или отмычки к хитроумному их замку вообще исключался.

По закону, даже тогдашнему, прокуратура должна была доказать «состав преступления», то есть причастность к нему подсудимых и их вину, тогда как адвокатам достаточно было доказать, что ничего не доказано. Так было и так есть — по закону! Но кто и когда ему следовал? Разве что в лекциях агитпропа...

Словом, от нас, от защитников, потребовали, чтобы мы не ограничились критикой обвинения, а предложили свою версию: кто же тогда убил Юру Сарыкина, если не бывшая его жена и не ее нынешний муж, против которых собрано столько грозных улик? Прокурорша в своей реплике (так называется на юридическом языке слово, на которое единожды имеет право обвинитель после речей защиты) так нас прямо и приложила: критиковать, восклицала она, все горазды, тут, мол, большого ума не надо, а есть ли у защиты «что-нибудь конструктивное»? То есть, проще сказать, почему защита не представила в суд «своего» кандидата в убийцы, если те, кого нашло следствие, ей «не подходят»?

Ожидая такого поворота событий, я готов был предложить сразу несколько иных версий, ни одна из которых не была рассмотрена следствием (в частности: Сарыкин, допустим, пришел не один и был убит сопровождавшим его лицом в результате ссоры; его взаимоотношениями с сослуживцами, родственниками, знакомыми следователь вообще не интересовался — не тут ли зарыта собака? Какими были на последнем этапе жизни его подлинные отношения с Тришкиной, мы тоже ничего не знали...) Но Ветвинский настоятельно рекомендовал не лезть в чужую епархию: закон не требует от адвоката никаких обвинительных версий, так что незачем сражаться с проку-

роршей на ее поле, тем более что именно туда она явно нас завлекала.

Просьба у защиты к суду была только одна — привычная для «соцзаконности», но дикая для тех, кто жил с неповрежденным правосознанием: вместо оправдания подсудимых (а требовать было нужно именно оправдания «за недоказанностью вины»), мы просили всего-навсего вернуть дело в прокуратуру для проведения нового следствия. И Сарыкина, и Тришкин глядели на нас с укором: они-то ждали, конечно, что мы будем требовать оправдания. Но, чего бы мы там ни требовали, исход все равно был предreshен, и молчаливо укорявший нас Тришкин сам все это хорошо знал: ему дали десятку, Сарыкиной — восемь. «Легко отделались!» — раздался чей-то отчетливый возглас, когда Климов огласил приговор. Не то с укором, не то с одобрением...

Кассационную жалобу поддерживал в республиканском Верховном суде вместо меня мой коллега: как раз в это время я уехал в мою первую литгазетскую командировку — на северный Урал. Но Ветвинский участвовал — с тем же, естественно, результатом. Он переслал мне потом короткую записку от Тришкина, который подал заявление с просьбой разрешить ему присутствовать при рассмотрении кассационной жалобы, чтобы дать свои объяснения. И, представьте себе — случай редчайший! — разрешение получил: ходатайство его поддержал, проявив и тут безупречную свою объективность, не кто иной, как тот же Климов, отправлявший жалобы на свой приговор в Верховный суд. Знал, что на исход дела это никак повлиять не может.

Так вот, в Верховном суде, когда определение, оставлявшее приговор в силе, уже было оглашено, Тришкин попросил разрешения передать через Ветвинского записку своему отсутствующему защитнику. Судья прочитала записку — и разрешила. С чего бы не разрешить? Вот ее текст: «Уважаемый гражданин адвокат! Не занимайтесь больше напрасным делом и никуда не жалуйтесь. Я же сказал Вам: дырявая кастрюля должна идти ко дну. С уважением Е. Тришкин».

Строго говоря, просьба Фимы была излишней. Я был для него так называемым «адвокатом по назначению», то есть таким, который полагался любому подсудимому по делам с уча-

стием прокурора, даже если не нашлось никого, кто сам нашел ему защитника и оплатил его услуги. За это коллегия (то есть, в сущности, я — сам себе) раскошеливалась на три рубля за каждый день работы по делу. Об этом я уже писал в каком-то другом рассказе. Зато и мои обязательства ограничивались подачей кассационной жалобы. Так что, проси меня Фима или не проси, никаких движений по его делу я сделать больше не мог. Даже если бы захотел...

Ветвинский же был «адвокатом по соглашению», его нашли и пригласили мать, сестра и тетя Сарыкиной, нисколько не верившие в преступление Шуры и заявившие в своем коллективном письме на Высочайшее Имя, что «лягут костями», но докажут ее невиновность. Во всю меру — скромных, по тем временам — адвокатских возможностей Ветвинский старался избавить их от такой перспективы и снять с Шуры Сарыкиной тяготевшее над ней обвинение обычным путем: жалобой, жалобой и снова жалобой. Во все инстанции, какие существовали. Стоит ли говорить, что ничего у него не вышло? Такие понятия, как «улик недостаточно», «обвинение не доказано», существовали только в учебниках. К реальной судебной практике никакого отношения они не имели.

Прошло всего-навсего несколько лет. Никак не больше пяти. Тем не менее я давным-давно успел уже забыть о деле, которое было для меня «проходным» и не оставило яркого следа ни в памяти, ни в душе. Встретившись с Ветвинским на каком-то заседании в президиуме нашей адвокатской коллегии, я узнал от него про новый, совершенно немыслимый поворот, который обрел тот злополучный, едва ли не занудный, во всяком случае невзрачный — так мне казалось — сюжет.

Канву событий я могу восстановить только по рассказу Ветвинского.

Элла Приходько — ей исполнилось уже двадцать два — в дым разругалась с отцом и в пылу жестокой ссоры, на глазах у почтенной публики, среди которой, естественно, нашлись любители почесать языки, прокричала нечто такое: «Ты бы лучше заткнулся! Убил Юрку, сломал жизнь мне, а теперь хочешь снова сломать? Не дожدهшься!»

Катунины, как я понял, при этой ссоре не присутствовали, но — имеющий уши да слышит! Что-то до них донеслось, не оставили их без информации добрые люди. Ошеломленные, но ничуть в нее не поверившие, они все же поделились жаркой новостью с Любой Тришкиной. Ну, а дальше — пошло-поехало... Труднее всего было пробить лбом прокурорскую стену. Как-то все-таки удалось. Словом, возобновили следствие «по вновь открывшимся обстоятельствам». Как оно шло — не знаю, гадать не хочу. Зато знаю итог.

Юра Сарыкин (тот, что убит) — тихий, скромный, «в погоне за юбками не замечен», адюльтерчик с Любой не в счет: просто попутал бес, — так вот, Юра Сарыкин как раз по женской части, ко всеобщему, надо сказать, удивлению, оказался парень вовсе не промах. Пока соседи старшего поколения враждовали между собой, младшие — в лице Эллы-подростка — жили своими страстями. Эти страсти и кинули ее в объятия Юры, когда все взрослые члены коммунального муравейника пребывали на работе. Кинули раз и потом кидали неоднократно. Даже в то время, когда Юра нашел тихую пристань под Любиной крышей. Дошло до того, что, не будь своевременно приняты меры, вполне мог бы оказаться дважды отцом: зримый результат потайной любви Юры и Эллы должен был явиться на свет приблизительно в те же самые дни, что и ребенок Юры и Любы.

О грозящей беде сначала узнала от Эллы мать, а следом, понятно, отец. Узнал, но шума не поднял: разработал свой план. Рисковый, но жесткий. Поговорил «по-хорошему» — с Юрой. Один на один. Предложил (могу представить себе, в каких словах предложение было сделано!) покрыть грех законным браком, благо Юра и Люба «расписаться» еще не успели. Получил отказ. Притом, как сказал мне Леонид Александрович, отказ унижительный. В чем состояло особое унижение, я так и не понял, но догадаться несложно: в форме, я думаю, и в интонации. Впрочем, это не суть важно. Главное — схлопотал морально по морде. Защищая честь дочери-школьницы, Борис сказал совратителю, что придется ему пенять на себя. Попенять не успел: осатаневший от ярости папа просто его пришил, посчитав — не без оснований, как видим, — что спишут все на Ефима и Шуру.

Самым блестящим ходом в этой тщательно разработанной операции была, конечно, его страстная речь в защиту тех, в чью сторону и ему самому хотелось направить тупое следствие. А потом и суд... То есть, по примитивной логике, должен был их поносить. Но примитивностью не отличился. Понимал, что, действуя «от противного», не навлекает на себя подозрения. Совсем наоборот — отвлекает. А в случае чего сможет даже на этом сыграть.

Так бы оно все и закончилось, если бы не одна подробность, о которой Борис Приходько, как оказалось, даже не подозревал. Дело в том, что за честь дочери он вступился тогда с большим опозданием. Иначе сказать, совершенно напрасно. Эта самая честь была ею потеряна еще до того, как попала Элла в объятия Юры, и тоже вопреки мышиною возне московских Монтекки и Капулетти. Пробудил в ней плоть Славик Сарыкин, сын Юры и Шуры, тот самый защитник родины, про которого вспомнил Борис в своей патетической речи перед советской Феמידой. Славик был на два года старше Эллы — с его помощью, в недрах все той же квартиры, когда в дневные часы та пустовала, и познала впервые юная Элла всю сладость запретной любви.

Когда Славик отбыл исполнять по призыву свой гражданско-патриотический долг, на сыновнюю вахту бодро заступил его папа. Возможно, считал, что именно в этом и состоит родительский долг. Правда, Ветвинский заверил меня, что о шалостях сына папа-Сарыкин, как и папа-Приходько о шалостях дочери, просто не знал. Не отследил. Что ж, очень возможно. На интригу, однако, его знание или незнание существенно не влияет.


Итак, Славик Сарыкин, набравшийся во время служения, кроме армейского, еще и постельного опыта, возвратился домой в свои, пустовавшие, пока он отсутствовал, но не потерянные, двадцать шесть метров. Отец убит, мать все еще в лагере (в колонии, на стыдливом языке советского новояза). Ему-то, солдату, благодаря, эта комната за Сарыкиными и сохранилась. Иначе ушла бы в жилфонд... Элла замуж не вышла — у нее был всего-навсего «молодой человек». К вновь обретшим соседство бывшим любовникам, которым решительно напле-

вать на былую вражду их родителей, возвратилось прежнее чувство. Правда, чувством это я бы назвать остерегся. Скорее — чем-то таким, что превратило их тяготение друг к другу уже не в мимолетную связь.

Наступил момент, когда решились они связать себя узами Гименея. И об этом, естественно, — но и только тогда! — узнали оба Приходько: мать и отец. Вердикт Бориса: «Только через мой труп!» быстро сменился другим: «Только через труп Славики!» Угроза убить «совратителя чести» прозвучала для Эллы не просто как поспешная реплика сгоряча — в семейном скандале. Она-то знала, к чему однажды почти такая же привела. Как был разрублен туго затянутый узел. Здесь, в той же комнате, теми же руками, по такому же поводу... А она беременна, и второй аборт ей вовсе не улыбается. Как и судьба матери-одиночки... Вот на этом заминированном поле семейный конфликт и достиг своей кульминации. Здесь и прозвучало злое слово Бориса Приходько. И здесь же — ответный вопль Эллы Приходько, про которую можно сказать, что она, в самом буквальном смысле, ради красного словца не пожалела родного отца.

Все остальное, по-моему, интереса не представляет. Кто на новом следствии врал, кто говорил правду... Кого освободили и как все вместе встретились друг с другом... Кому сколько дали и что было потом... Ничего я про это не знаю. Задним числом восстанавливать истину не хотелось тогда, не хочется и теперь. Новые дела, ничуть не менее интересные, оттеснили то, что вернулось, пусть только в рассказе коллеги, с таким немыслимым поворотом. Неправдоподобным, как любят ронять с высоты сочинители «правдоподобных» — гладких, как обструганная доска. С деталями, ладно пригнанными друг к другу.

Ржавую кастрюлю все-таки, кажется, запаяли, и она, кое-как залатанная, поднялась на поверхность после того, как несколько лет пролежала на дне. А та, которая запросто могла перегрызть рельс за одну ночь, своим способностям не изменила. Так что не удивлюсь, если их случайный брачный союз дал течь — вот он-то, пожалуй, уж точно пошел ко дну, как дырявая кастрюля.



Идиллическая история стромынского «братства» часто вспоминается мне, когда я слышу ностальгические всхлипы про ушедший мир ночлежек, где все жили — да, в тесноте, но ни в коем случае не в обиде. И где так сладко, нестройными голосами, но в унисон, пели общие песни — про дружбу, естественно, и про любовь.

Тоскую и плачу. Как нам их не хватает, коммунальных квартир...

ЖЛОБИК И КРЫШЕЧКА

Директоров — вообще начальство — обычно не любят. Не знаю, как сейчас, но раньше, в мое время, не любили уж точно. За самым ничтожным, скорее всего, исключением. Начальство — оно на то и начальство, чтобы его не любить. Подчиненность сама по себе не пробуждает возвышенных чувств и не располагает к сентиментальности. Сознательно или непроизвольно (бывает, конечно, по-разному) подчиненность это дистанция, но главное страх и настороженность, боязнь оплошать, не вмастить, не угодить, оступиться, да хоть и на апельсиновой корке, и получить за это разнос, если чего не похуже. Ностальгические байки о «нашем прекрасном директоре», о «нашем замечательном шефе» рождаются обычно потом, когда служба под началом «прекрасного» давно позади, когда благополучно пройдены все рифы, и не осталось уже ничего, кроме тоски о прошедших годах. То есть о том, что ушло безвозвратно и, значит, дорого хотя бы только поэтому. Знал я немало людей, прошедших даже Гулаг и вспоминавших о нем чуть не полвека спустя отнюдь не с зубовным скрежетом, а с грустной улыбкой. Какая-никакая, то была молодость, и уже этим прекрасна, поскольку другой больше не будет.

Директоров обычно не любят, но нелюбовь к тому, о ком пойдет наш рассказ, все же меня поражала. Нельзя сказать, что была она совсем уж неадекватной (воспользуемся модным ныне словечком). Чувства, владевшие небольшим коллективом — всеми вместе и каждым в отдельности, — можно было понять,

но как-то уж слишком дружным и даже запальчивым был тот порыв отчуждения. Никто директору не посочувствовал, когда страхась с ним беда. И даже у его дочери, которая пришла ко мне за помощью, я увидел скорее потребность исполнить свой долг, чем искреннее желание отвести удар от самого близкого человека.

Константин Софронович Желобков возглавлял неприметный внешне, но имевший в былые времена хорошую репутацию, мясной магазин, расположившийся в осевшем от времени, но все еще добротном и крепком доме (домике — по нынешним понятиям) на Садовом кольце, возле Колхозной площади. Двухэтажке было, наверно, лет полтора, да пусть только сто, такой старины в центре Москвы к тому времени почти не осталось, но гляделась она среди новостроек вполне органично и привлекала именно тем, что несла память о прошлом. И до нашей эры, если началом «нашей» считать семнадцатый год, располагалась здесь тоже «Мясная лавка», получившая при Советах более краткое, энергичное и четкое имя: «Мясо». И лавочки, и лавочников — все и всех изничтожили, слова эти обрели статус «арх.» — архаичные, значит, то есть вышедшие из оборота и пригодные теперь для употребления лишь в иносказательном смысле, непременно с оттенком презрения. Как ярлык — политический или криминальный.

Со словом расправиться легче, чем наполнить замену достойным ее содержанием. То, что я видел в те годы на прилавках этого магазина, заменившего прежнюю лавку, побуждало, пожалуй, дать ему имя иное. Не «Мясо», а «Кости» (хорошо монтировалось бы, кстати сказать, с именем самого директора). Ничего другого мне, заходившему изредка в сей магазин еще до того, как он стал предметом моего профессионального интереса, там видеть не доводилось. От них, от костей, шибало чем-то настолько вонючим, что, едва зайдя внутрь, хотелось тут же выбежать вон.

Но недаром же эта бывшая лавка имела хорошую репутацию — по тогдашним, конечно, критериям. Желобков наладил такую систему пресловутых «заказов», при которой сотрудникам расположенных неподалеку (и даже, случалось, вдали) учреждений, контор и прочих организаций дозволялось, хотя и

нечасто, но зато регулярно, получать вполне пристойное мясо, да еще и в пристойном количестве. Для тех, кто пока не забыл любимое словечко советских времен «дефицит» (на арго агитпропа: «перебои снабжения» и «временные трудности»), тот поймет, что значила для счастливых («прикрепленных») эта система.

У каждого начальства, если только оно не верховное, есть тоже начальство. Вот оно-то Желобкова не только чтило, но и ставило всем в пример. И оно же, а не сотрудники, дало ему лестные аттестации даже после того, как грянул гром. Да как же не дать?! Когда впервые, за успехи в так называемых пятилетках, стали — по квоте для каждого ведомства — широко раздавать побрякушки (именовались они, естественно, орденами), Желобков тут же схлопотал «веселых ребят» (изображенных на нем рабочего и колхозницу) — так был окрещен остряками наименьший тогда по рангу и однако же орден, называвшийся «Знак Почета» (попробуйте разобраться: орден все-таки или знак?): как бы там ни было, а «правительственная награда»! Еще один, кстати, советский курьез: побрякушки раздавало отнюдь не правительство, а Президиум Верховного Совета, но наградой это считалось почему-то правительственной. И то верно! Кто их мог тогда отличить — одну вывеску от другой, руку благодетеля от руки палача, полчище номенклатурщиков, с их, по-разному звавшимися, постами и креслами из разных, казалось, структур: все, как один, с той же грядки!

Не будем отвлекаться на боковые детали, хотя что ни слово, тут же возникает неизбежная цепочка ассоциаций, высвечивая то одну, то другую нелепость прошедшей эпохи, даже в мелочах проявлявшей дурной вкус, дремучую пошлость и неистребимую потребность коверкать великий язык, чем, собственно, и был сразу отмечен бунт взбесившейся черни, который его подстрекатели назвали, естественно, революцией — великой и всенародной...

Начальство — то, что повыше, — имело, пожалуй, все основания держать Желобкова на лучшем счету и ставить его в пример многим другим. Чтило оно директора «Мяса» как раз за то, за что подчиненные его терпеть не могли. Не могли, а все же терпели, ибо сменить директора было им не под силу, а оста-

вить такое хлебное (мясное, какое же хлебное?!) место, когда кругом одни «перебои», — на это мог решиться только безумец.

Здесь на Желобкова, они были кругом не правы, а он, в своем жестком и даже подчас жестоком максимализме, был кругом прав. Таким противостояние это виделось со стороны, но кто же способен на объективный взгляд, когда судишь себя самого? Хлебное (мясное) место тем и особенно, что, при длящихся вечно временных трудностях, таит неисчислимо много соблазнов. Порадеть одному за счет другого (продать с черного хода кусок мяса «своему», обделив, стало быть, «чужого») это еще полбеда. Даже совсем не беда — ведь так поступали все, кто распорядился хоть каким-нибудь дефицитом. Но Желобков и такую невинную (конечно, невинную, я и сегодня так думаю) заурядность считал посрамлением высокого звания работника советской торговли. Он был неутомим в своем бледении и не спускал даже малейшего отступления от тех правил — юридических и моральных, — которые считал неукоснительными абсолютно для всех.

Он ни в коем случае не был тупицей — понимал, что вообще не найти персонала, который, будучи у пирога, не претендовал бы и сам на его кусочек. Для себя и для близких. И поэтому каждый, кто в магазине работал, получил дозволение назвать поименно и в письменной форме трех самых ближайших (только родных, знакомые не допускались!) — ну, и себя самого, конечно, четвертым, — дабы включить их в список тех, кто прикреплен: пусть себе — наравне со всеми, легально, а не по благу, — получают заказы. То ли два, то ли три раза в месяц, точно не помню. И лично проверял, какова в реальности степень родства: вдруг за родственничка захочет пройти «лицо постороннее»? Скрепя сердце ограничился строгачом для электрика магазина, который под видом кухни вознамерился подсунуть в заказчицу даму сердца. Считаться женой она не могла. Мужа своего ни при какой погоде менять не собиралась. Обожала жарить ему бифштексы — было бы мясо. Электрик терпел, сознавая, как видно, что любовь ее запросто рухнет, окажись он вдали от мясного прилавка. У него были золотые руки и золотой характер, иначе строгачом бы ему за такой обман ни за что не отделаться.

Но и сам Желобков являл образец безупречной строгости к самому себе и к своим близким, не давая ни малейшего повода обвинить его в каком-то двойном стандарте. С женой он развелся и новой не обзавелся. Из сбивчивых рассказов дочери я понял, что магазинные нравы — строгость, порядок и аскетизм — он пытался насадить и в семье. Жена терпела-терпела, а потом собрала вещички и ушла, не простившись. Скорее всего, к кому-то случайному, куда ее дочери не было доступа. Так и пришлось ей остаться с отцом. В подробности я не влезал, к судебному делу прямого отношения они не имели, а дочь (помню странное имя — Жанетта; не удивлюсь, если в школе дразнили ее «ЖэЖэ») к душевным разговорам склонности не проявляла.

Я понял только, что сам Желобков не любил кулинарить и дочь тоже к этому не приучил. Дарами «Мяса» пользовался простейшим образом: отварив кусок вырезки, питался потом холодным мясом неделю — до очередного «заказа», получал вместе со всеми новую порцию и так жил до следующей. Бутерброды с отварной говядиной, иногда уже полузасохшей, были его единственной пищей в течение рабочего дня: это видели все и над этим же все потешались. Даже в соседнюю забегаловку, куда продавцы в перерыв отправлялись за щами и за сосисками, директор-аскет на их памяти ни разу не заглянул. Об этом они честно доложили и следствию, и суду. Честно — поскольку эта деталь выставляла Желобкова скорее в привлекательном, хоть и комичном, виде, а потребности в том, чтобы ему подставить плечо, у его подчиненных не было никакой. Скорее наоборот.

За дело Желобкова, где мне предстояло стать его защитником, я, конечно, не взялся бы ни за что, если бы не оказался в безвыходном положении. Все больше и больше втягиваясь в труд литературный, я порой забрасывал адвокатуру, не имея возможности делить время между письменным столом и залом суда. Зато мое начальство (у меня ведь тоже было начальство, и я тоже его не жаловал, как и оно меня, между прочим) не хотело терпеть балласт — юриста, который просто числится членом адвокатской коллегии, не принося ей никаких доходов.

Время от времени я должен был иметь хоть какой-нибудь гонорар, чтобы коллегия могла с него получить свои шестьдесят процентов.

И тут, в самый критический момент, когда на моем адвокатском счету вдруг оказался круглый ноль, внезапно подвернулось это самое дело, в которое меня просто впихнули. Когда-то я с успехом завершил защиту человека, доводившегося Желобкову не то приятелем, не то просто товарищем по общему делу, и он через следователя потребовал от дочери, чтобы та разыскала непременно меня. Следователь даже несколько раз звонил заведующей нашей консультацией Нине Сергеевне Кривошеиной (мое начальство), чтобы та обязала меня в приказном порядке (именно так!) немедленно приступить к работе: следствие завершено, адвокат и обвиняемый должны ознакомиться с собранным материалом. От любых других адвокатов Желобков решительно отказался, я задерживал следователя, которого ждали уже иные дела.

Не взялся бы ни за что... Не потому, разумеется, что мне чем-то не понравился мой неожиданный клиент — я еще и в глаза-то его не видел, а потому, что такие сюжеты вообще не терпел, они всегда отличались занудством и отсутствием интриги, да и просто живой судьбы. Смятения чувств, в котором хочется разобраться: только этим и манила меня некогда профессия адвоката... Если нет ни судьбы, ни интриги, чем же увлечься? А не увлекшись, — как защищать? Судебная защита — в моем, разумеется, представлении, — сродни творческому процессу: на одной рутине, просто с набитой рукой, далеко не уедешь. Мог ли я предположить, что все это будет — и судьба, и интрига — в так называемом «хозяйственном» деле?

Началось далеко и банально. Где-то раскрыли группу (на языке совжурналистики — шайку), поставившую в глубинку целыми вагонами-рефрижераторами «левое» мясо и торговавшую им практически прямо на запасных железнодорожных путях. В спекулятивную аферу было вовлечено множество людей, и однако весьма долгое время никакому разоблачению эта «шайка» не подвергалась. Из дела я понял — по уклончивым и невнятным намекам, — что были причастны к ней все те, кто мог и должен разоблачать: каждый имел свой кусок мяса, но

главное свою долю от денег, полученных за другие «куски». Дело тех, кто причастен (птиц сравнительно крутого полета), было выделено в особое производство, а то и вовсе спущено на тормозах: такое искусство было в ходу уже и тогда. В какой-то момент вроде бы слаженная система дала неизбежный сбой: слишком много осведомленных, значит, провал неизбежен. Рано или поздно.

Когда цепочка стала разматываться, внимание следствия привлекла фамилия Желобкова. Всего-навсего в качестве друга тех, кого уже замели: его телефоны имелись в их записных книжках. Причем у тех, прежде всего, кто стоял во главе операции, составляя ее боевой штаб. И в кое-каких показаниях он мелькал еще под убийственной кличкой «Жлоб». Обыгрывалась ли только его подлинная фамилия или тут был иной, куда более важный, подтекст, сказать не могу. В суде, когда одному из «подельников» я задал этот вопрос, он ответил раздраженно и с удивившим меня удивлением: «Откуда мне знать? Все его так звали, и я так звал. Как же его называть — не в кабинетах, конечно, а между собой? Константин Софронович? Язык отсохнет...»

Константин Софронович слушал этот ответ, сидя на скамье под конвоем. Решеток тогда еще не было и в помине, скамья подсудимых, огороженная лишь небольшим барьером, была обычной деталью убранства судебного зала, не отделяя с такой подчеркнутой неумолимостью обреченных от всех остальных. Желобков слушал и печально качал головой, давая понять, как страшна постигшая его несправедливость. И — должен сказать — имел для этого основания, а я, его адвокат, имел отличную позицию, чтобы защищать страдальца в полную меру, не поступаясь совестью. Ибо никаких доказательств его причастности к хищению мяса, в астрономических к тому же размерах, обвинение не представило. Сам он свою вину с негодованием отвергал, документального подтверждения предъявленного ему обвинения не было вовсе, а показания прямых участников хищения — в той части, в какой касались они Желобкова, — были столь расплывчаты и неконкретны, что рассматривать их как доказательства могла разве что советская юстиция. И никакая другая.

«Мне говорили, что у Желобкова большие связи, поэтому его участие в нашем деле было просто необходимо», «Не знаю, кто точно, но знаю, что Желобкова пригласили для участия в сбыте мяса», «Мы не боялись разоблачения, потому что нас прикрывал какой-то Жлоб, потом я узнал, что это директор одного из магазинов Желобков», «Я хорошо знаю, что нам помогал Желобков, который был в главке своим человеком», «Со Жлобом не потеряешь, сказал мне, точно не помню кто, когда я высказал свои опасения...» — вот такие показания, солидные числом, надо сказать, но абсолютно ничем не подтвержденные, лежали в основе того обвинения, которое, посчитай его суд доказанным, грозили Желобкову отсидкой сроком в пятнадцать лет.

Жанетта, дочь Желобкова, не обременяла меня посещениями и даже на суд явилась раза два или три, хотя процесс длился почти полтора месяца. Продолжая работать в какой-то архитектурной мастерской, она ждала второго ребенка, так что объяснение ее мнимому равнодушию напрашивалось само собой. Когда мы все-таки разговорились, я понял, что оно действительно было мнимым: не столько потрясение, сколько недоумение было тем истинным чувством, которое испытала она при известии об аресте отца. Точнее, о сущности того обвинения, которое ему предъявили.

— Это настолько глупо, — уверяла Жанетта, — что такое и в голову прийти не могло. Вся жизнь его была на виду, спросите любого, вам каждый скажет, что скромнее, чем он, вообще жить невозможно. Тем более при его возможностях и хорошей зарплате. Не для показухи, а на самом деле. Вы видели опись имущества? Ну, и что там есть?

Там не было ничего. Документ этот даже нельзя было назвать описью в собственном смысле слова, ибо нечего было описывать. Предметы первой необходимости — кровать, стол, стулья, платяной шкаф, книжная этажерка и все иное, подобное этим вещам, — по закону вносить в опись не дозволялось. А ничего другого — не то что предметов роскоши, но и просто предметов «второй необходимости», — в квартире вообще не нашлось. За неимением ничего другого описали дышавший на ладан, старенький телевизор и ламповый приемник еще дово-

енного производства с зеленым глазком настройки. И сберкнижку, на которой значилась, правда, не очень малая сумма: ее составили ежемесячные вложения, которые, всегда в одном и том же размере, делал Желобков, чтобы иметь какой-то запас.

— Папа откладывал треть с каждой зарплаты, — пояснила Жанетта. — Он говорил, что накопит деньги и даст нам с мужем для первого взноса на квартиру: ему обещали в главке устроить нас в хороший кооператив на Юго-Западе. Уже и место подобрали, вот-вот надо было оформляться. Он как раз накопил для первого взноса, и тут его взяли.

Только в этот момент, и лишь единственный раз, я увидел слезы в ее глазах.

Жанетта жила с мужем (и дочерью) в квартире его родителей — хорошей, трехкомнатной, но тесной для семьи из шести человек (шестой была тетя мужа, инвалид, занимавшая комнату, которую ни с кем не могла делить). У Желобкова же, одного — после того, как ушла жена и съехала дочь, — осталась двухкомнатная в старом доме постройки начала века. Комнаты были смежными, так что кто-то один должен был жить «на проходе». Зять не захотел — это было непременно условием его женитьбы, невеста не воспротивилась, отец не удерживал: очень ладненько все обошлось.

С замужеством Жанетты был связан, кстати сказать, один эпизод, который зафиксировали еще в следственном деле. Он вносил в портрет Желобкова, да и в базу для его обвинения (скорее — защиты), одну весьма красочную деталь. О ней рассказала мне сама Жанетта.

— Папе очень понравился Игорь (это жених), он был доволен, что тот из семьи ученых и сам готовился стать ученым-геологом, учился в заочной аспирантуре. Папа не раз повторял, что главным его достоинством считает скромность. От участия в расходах по свадьбе наотрез отказался: и денег на это нет, так он объяснил, и вообще это мещанский обычай. Расточительство и ничего больше... Вместо этого дал деньги на свадебное путешествие в Ленинград — он очень любит этот город. Сказал: пьянка забудется, к тому же все пьянки, по любому поводу, походи друг на друга, а поездка в Ленинград останется в памяти

на всю жизнь. В точности рассчитал все расходы чуть ли не до рубля: сколько будут стоить билеты на поезд в купейном, сколько гостиница, сколько еда в закусочных и сколько экскурсии. Потом договорился с одним знакомым, тоже из их системы, тот дал нам комнату в своей квартире на Петроградской стороне, так что расходы на гостиницу отпали сами собой. И действительно, поездка была замечательной, он оказался прав, а что свадьба была домашней, почти без гостей, об этом я не жалею.

Голос дрогнул, но обошлось без слез.

Конечно, следователь вовсе не был таким лопухом, как могло бы показаться из того, что рассказано. Ясное дело, прокуратура вряд ли отважилась бы отправиться в суд, располагая лишь смехотворными показаниями других подсудимых: «мне говорили, что» и «мне сказал не помню кто». У нее было доказательство убойной силы, и, наверно, с него и надо было начинать, но я все оттягивал рассказ о нем, следуя закону плетения интриги. Вот как звучало оно, доказательство это, изложенное суконным языком судебного документа. Назывался он «протоколом обыска и изъятия», я привожу из него лишь самые существенные фрагменты.

«...При вскрытии северной (капитальной) стены в запроходной комнате (речь идет о квартире Желобкова. — *А. В.*), на расстоянии 8,5 сантиметров от внешнего покрова, обнаружен тайник... Он представляет собой углубленную на 6 сантиметров нишу, высотой в 9,5 сантиметров и шириной в 24 сантиметра, с выровненными стенками, обработанными цементным раствором... Почти полностью, до самого верха и во всю ширину, ниша заполнена денежными купюрами разного достоинства на общую сумму один миллион семьсот двадцать тысяч рублей...»

Уточню: дело происходило в 1960 году, за год до реформы, деноминировавшей тогдашние деньги в десять раз. Иначе сказать, в тайнике находилось 172 тысячи рублей по тому номиналу, который существовал до 1992 года. Чтобы представить сегодняшнему читателю покупательную способность названных чисел, могу поделиться маленьким личным опытом.

Еще в середине шестидесятых мне предлагали крепкий дом в Коктебеле за две тысячи, а двухэтажную дачу с большим участком в подмосковной Загорянке, которую я, дурак, не купил, за десять. Гигантская дача популярнейшего артиста в Красной Пахре, которую продавали его наследники, была куплена позже одним процветавшим переводчиком, а затем им же продана в связи с его эмиграцией в Соединенные Штаты, за двадцать тысяч: сумма, казавшаяся непостижимой...

— Ни малейшего отношения к этим деньгам не имею, — заявил мне Желобков, когда я пришел к нему для беседы в тюрьму.

Его несокрушимую позицию я уже знал из уголовного дела: он держался ее с самого начала и ни разу потом ей не изменил. Присутствуя при вскрытии стены и наблюдая за этой процедурой с видом человека, который сочувствует тем, кто делает трудную и абсолютно бессмысленную работу (об этом рассказывал потом на суде один из понятых, вызванный как свидетель), он выразил не возмущение, а несказанное удивление находкой и сразу же написал заявление прокурору, требуя разобраться в «совершенно абсурдной ситуации, которой не может быть никакого разумного объяснения».

Абсурдность ситуации — подлинная, а не мнимая, — как ни крути, имела место. Заключалась она в том, что в обвинительном багаже содержались никем не устраненные противоречия, и это, при всей ошеломительности находки, несколько, даже, пожалуй, существенно, снижало его доказательственную весомость.

Желобков поселился в этой квартире в 1946 году, капитальный ремонт был произведен, согласно данным Жилкомхоза, в 1949-м, никаких следов более позднего ремонта, перестройки, реконструкции этой злополучной стены («никаких деформаций», — сказано в заключении) судебно-техническая экспертиза не установила, а судебно-финансовая, с привлечением сотрудников Госбанка, констатировала, что самая ранняя эмиссия банкнот, обнаруженных в тайнике, относится к 1949 году, самая поздняя к 1956-му. Никакого выхода из этого лабиринта следствием предложено не было, так что и без помощи адвока-

та Желобков мог задать в ходе процесса вопросы, на которые суд в своем приговоре был обязан — по закону, по крайней мере — дать ответы.

То, что он дать их не мог, было очевидно для всех. Другим, ничуть не менее впечатляющим изъяном следствия, вменившего Желобкову обвинение в особо крупном хищении, было отсутствие каких-либо данных о механизме присвоения такой гигантской суммы. Концы не сходились с концами: то, что было реально доказано, применительно, правда, к другим подсудимым, притом всем вместе, не превышало и половины того, что лежало в тайнике Желобкова. Откуда взялась именно эта сумма и почему скопилась она именно у него?

— Логика ваших рассуждений, — сказал я Желобкову, — очевидна и безупречна. И я ею, конечно, воспользуюсь даже без вашей подсказки, ибо она лежит на поверхности. Только не надо терять чувства реальности. Вы же понимаете, как этот документ (я показал ему копию протокола обыска) будет влиять на судей. Пока вы не предложите хоть какую-то правдоподобную версию, откуда эти безумные деньги появились в вашей квартире и почему они замурованы в стене вашей спальни, этот акт будет работать против вас, какой бы критике вы его ни подвергли.

— Это я понимаю, — уныло кивнул он, не вступая в бесплодную полемику со своим адвокатом.

Желобков, должен заметить, произвел на меня хорошее впечатление. Он мало походил на устоявшийся образ работника прилавка — такой, который сложился и в моем представлении (с прилавочниками разного уровня я нередко встречался в судах), и в представлении советских кинематографистов: кто же не помнит, какими их изображал наш экран? Изображал, не слишком отступая от истины, если честно сказать. А вот Желобков был приятен на вид, несколько рыхл, но не слишком, речь его отличалась не просто грамотностью, но даже известной культурой, говорил он спокойно, мысль собеседника схватывал на лету, на все вопросы отвечал без уловок, не пряча глаз и без надрыва. Избегая обычных для подобных случаев возмущенных реплик, вообще без комментариев, признавался, что сознает свою обреченность.

— Попался в ловушку, — усмехнулся он, не горько, не печально, а отстраненно, словно речь шла не о нем самом. — Только вот кто загнал, не понимаю. И зачем — тоже не понимаю. И вы тоже не понимаете. Это ж сколько сил и умения надо, чтобы все это подстроить! Кому-то, стало быть, было нужно.

Меня он напрасно сделал как бы своим единомышленником. То есть человеком, который верит в нарочитость «подстроеной» кем-то ловушки, тогда как я просто был тем, кто по долгу службы обязан отстаивать именно эту версию. И все же зияющие провалы следствия, которое, растерявшись, не смогло устранить все нестыковки, позволяли мне быть не пешкой в этом заведомо провальном процессе, а действовать наступательно, требуя дополнительных доказательств участия Желобкова в групповом преступлении. В конце концов, бремя доказывания лежало на обвинителе, и я никак не вступал в конфликт с законом, настаивая на том, чтобы и он его соблюдал.

Накануне начала процесса Жанетта привела ко мне свою мать. Это была сильно, но не вульгарно накрашенная, увядающая женщина, слишком очевидно прятавшая свой испуг и свою незащитность за маской человека, недовольного тем, что его потревожили.

— Ничем не могу быть полезной, — чуть не с порога предупредила она. — Дочь очень просила, я не могла отказать.

Клавдию Алексеевну Желобкову, теперь Гурееву (она вернула себе девичью фамилию), уже допрашивали на следствии — показания ее были настолько бессодержательными, настолько лишенными сколь-нибудь ценной информации по существу уголовного дела, что прокуратура даже не сочла нужным включить ее в список свидетелей обвинения, подлежащих вызову в суд. Естественно, она понятия не имела о том, участвовал ли ее бывший муж в каких-нибудь махинациях, ничего не знала и не слыхала о каком-то долбеже стены, да и вообще все, что она сообщила, хоть и косвенно, но непреложно, говорило о том, что Желобков совсем не тот человек, который способен на подобную операцию, тем более столь масштабную, хитроумную и трудоемкую.

Надо было сбить ее напускную резкость, перевести разговор в спокойное русло.

— Я не просил Жанетту о вашем приходе и не думаю, что вы можете помочь в защите вашего бывшего мужа. Но это ее отец, так что вы помогаете, хотя бы только морально, не ему, а ей. Вашей общей дочери...

— Не думаю, что ей так уж хочется ему помогать, — криво усмехнулась Гуреева. — Мог бы, наверно, из своих миллионов подкинуть ей сотню-другую. Молодым не помешало бы... А теперь она же еще должна его тащить из ямы, куда он сам залез.

Жанетта молчала, давая этим понять, что ей нечем матери возразить.

Из монолога бывшей жены, сумбурного, скомканного и не слишком членораздельного, я уяснил лишь одно: во время их совместного проживания никакого достатка дома не было, хотя зарплата мужа позволяла им жить с куда большей свободой, чем они жили. Слова «жмот» и «скряга» — по отношению к Желобкову — не сходили с ее языка, и скорее всего именно это его стойкое качество, которое проявлялось им всегда и во всем, привело супружеский их союз к распаду. «Бежать от него сломя голову» — только об этом мечтала она многие годы, хотя бежать было некуда и бегство (оно, как мы знаем, все-таки состоялось) никаких щедрот ей не сулило. И не принесло.

Роль жалкой, почти невесомой гири на весах правосудия — в пользу, а не во вред Желобкову — ее показания могли бы, наверно, сыграть. Я сказал, что заявлю ходатайство о ее вызове в суд. Гуреева оборвала меня, даже не дав закончить фразу.

— Ни за что! И не надейтесь! Пусть вызывают, все равно не приду.

— Но следователю вы показания все же давали, — смущенный ее агрессивностью, напомнил я.

— Да, в отсутствие Жлоба. — Она заметила, как я вздрогнул. — Вы что, не знаете его кличку? Она за ним еще с детства, мне кажется. И он не обижался. Так вот — показания давала, но не при нем. А в суде будет сидеть он сам, слышать все, что я говорю, и даже сможет задать мне вопрос, а я должна отвечать, не так ли? — Гуреева демонстрировала неплохое знание правил процесса, кто-то уже ее поднатаскал. — Этого не будет, говорю вам совершенно точно.

И опять Жанетта ничего не сказала, даже бровью не повела. То ли просто смирилась с материнским злопамятством, то ли сама разделяла его.

Все, что можно было сказать в защиту Желобкова или, если точнее, в опровержение обвинения, я, конечно, сказал. Тщета этих усилий была заранее очевидна и мне, и ему — от замурованных в его стене миллионов не могли отвести судей никакие мои рассуждения, сколь бы ни были они убедительны с юридической точки зрения. И суммой, и способом своего сокрытия они неизбежно давили на судейское сознание, а упорное запирательство Желобкова, все отрицавшего и ничего толком не предложившего взамен (чьи же все-таки эти деньги и каким образом оказались в его квартире?), лишь усугубляли крайне негативное отношение к нему. Мне показалось еще, что особенно раздражал судей его ухоженный вид, опрятная, чистая одежда (у арестанта!), ровный, невозмутимый голос, которым он отвечал на вопросы или сам задавал их. Он не чувствовал себя жертвой, а если и чувствовал, то умело скрывал.

Словом, исход был предreshен и оказался он даже не столь жестоким, как я предполагал. Если, конечно, двенадцать лет пребывания в колонии усиленного режима можно счесть за «не столь жестокое» наказание. Прокурор требовал все пятнадцать — давила гигантская сумма, но суд, не объясняя причину, подарил ему эти три года.

Все, законом предусмотренные, этапы для обжалования приговора я исправно прошел, на последнем свидании с Желобковым, перед его отправкой в колонию, получил заверения, что он не имеет ко мне ни малейших претензий и даже благодарит за все усилия, которые были мною предприняты. На том — для меня, естественно, а не для него — дело это и завершилось.

Был еще звонок Жанетты — несколько лет спустя. Она сообщила, что «усиленную» колонию заменили для Желобкова на оставшийся срок «колонией-поселением», то есть бесконвойным пребыванием вне лагерной зоны. Хоть и с ограничениями в передвижении, но все же с правом жить в более человеческих условиях, встречаться сколько угодно с любым, кто к нему

приедет. Семейные, оказавшись на поселении, получали право вызвать жену и детей, организовать как-то свой быт.

У Желобкова такой возможности практически не было, я высказал это — с искренним сожалением, но в ответ услышал что-то вроде усмешки, сопровождаемой довольно невнятной фразой: папа не пропадет, он умеет устраиваться. И кого-то он, дескать, себе уже там нашел...

Вторгаться в столь интимные подробности чужой жизни, хотя бы и прежнего подопечного, — это ни в каком смысле не входило в мою компетенцию. Я не стал задавать лишних вопросов — просто выполнил то, о чем просил Желобков и чем был вызван звонок Жанетты: вернул те документы по делу, которые еще оставались в моем досье. У меня не было в них больше нужды, ему — могли пригодиться.

До моего пребывания в адвокатской коллегии оставались считанные месяцы, когда снова позвонила Жанетта. Не став отвечать на мои вопросы, попросила о встрече. По всем расчетам Желобков уже отбыл полностью отмеренный ему арестантский срок — или пребывал на свободе, или — неужто?! — попался снова. Любопытство — и адвокатское, и журналистское — разбирало до такой степени, что я с трудом дождался ее прихода несколько дней спустя.

Не напрасно обуюло тогда меня нетерпение. Нет, не напрасно! Новость, которую принесла Жанетта, поистине ошеломляла, как некогда ошеломил акт о «выемке» почти двух дореформенных миллионов. Желобков умер полгода назад, но, как ни стыдно в этом признаться, само по себе это не стало для меня потрясением: к таким печальным финалам, увы, привыкаешь. Но вот то, что последовало за его смертью и что вызвало этот ее визит!..

Женщина, про которую некогда Жанетта сказала: «Он там кого-то нашел», раскрыла свою анонимность, отыскала дочь Желобкова и вручила фотокопию письма, адресованного ей самой. Ей, а не дочери. Копия с копии сохранилась в моем архиве, так что я имею возможность воспроизвести полностью подлинный текст, не напрягая память и не довольствуясь пересказом.

«Дорогая, любимая моя Крышечка! Когда-нибудь наступит день, который нас разлучит навсегда. Хочу, чтобы ты знала, что я всегда любил и люблю только тебя, что только тебе я обязан своей жизнью, что только с тобой я чувствовал себя человеком, а не мясником, и что только ты одна понимала меня. Я хочу, чтобы ты знала, что я знал, да, знал, сознавал, думал об этом и ночью, и днем, как безжалостно погубил твою жизнь и на какие жертвы ты шла, соглашаясь на то унижение, которое терпела ради меня. Зачем все это я сделал, не знаю сам, но я это сделал, и ты безропотно подчинилась. Целую твои руки.

Я знаю, что ты в точности выполнишь мою последнюю просьбу, как выполняла все и всегда. Ни к чему тебя не обязываю, только прошу. Выполнить или не выполнить это вопрос твоей совести, а с ней у тебя полный порядок. Так вот, учти, что я чувствую огромную вину не только перед тобой, но и перед Клавкой, и перед Жанкой. Никому я не принес счастья, хотя желал его всем. Вчера Клавка меня бросила, хлопнула дверью, и я думаю, что по-своему она совершенно права.

Так вот, пожалуйста, прошу тебя все, что я доверил тебе и только тебе, все, что ты с таким риском сохраняешь, если удастся до конца сохранить, все, все честно разделить на три части и отдать поровну Клавке и Жанке, лично каждой из них, ту часть, что положена им, а третью часть оставить, конечно, себе. Надо ли мне оправдываться за то, что не все достается тебе? Зная меня, как никто другой, ты поймешь, почему я принял такое решение, не заставишь его обосновывать, а просто сделаешь так, как я прошу.

Вот и все, моя любимая Крышечка, вот и все. Я тебя очень люблю. Твой Жлобик».

Даты в письме нет, но установить ее не стоит труда: письмо написано на следующий день после того, как Клавдия Алексеевна, тогда еще Желобкова, покинула супружеский дом. Выходит, уже тогда (и задолго до этого) единственно любимой, притом явно давно, была дорогая Крышечка (по ассоциации, видимо, с крышей, крылом) — словом, защитой от всех и всяческих житейских бурь. Выходит, уже тогда он Крышечке — только ей — доверял то, что было для него важнее всего и что составляло уже и тогда его самую глубокую тайну. И, опять же

выходит, еще одно: именно эта женщина пробудила в нем те свойства натуры, которые он тщательно, упорно скрывал, выдавая зачем-то себя за сухого червя: эмоциональность и страсть.

«Все, что я доверил тебе и только тебе...» Точное содержание этой емкой и многозначительной фразы раскрывалось в другой записке, написанной его рукой, — без обращения к кому бы то ни было, тоже без даты, но зато с его подписью. В ней было только одно слово, еще одна буква и несколько цифр: «Здесь 1460000 р». То есть сто сорок шесть тысяч рублей по тому номиналу, который существовал с 1961 года: придется поверить на слово Крышечке, что речь в записке шла о дореформенной сумме, а в том, что она не солгала, сомнений не было никаких. Ни у меня, ни у Жанетты: ведь к тому времени, когда случилась реформа, он уже ничего оставить своей Крышечке не мог. Самое интересное: все купюры, сохранившиеся у нее, были нового образца, это значит, что каким-то непостижимым образом она сумела их поменять. Именно она, а не он сам, уже пребывавший во время обмена, снова напомню, в местах, достаточно отдаленных. И что ничуть не менее интересно и просто загадочно: пребывая в нужде, когда оба оказались на поселении, они не истратили ни копейки из той неприкасаемой суммы, которая хранилась в чулке.

Что же это был за «чулок»? Где хранился он столь долгие годы, особенно в ту пору, когда Крышечка вместе со Жлобиком добровольно (для нее добровольно) отбывала сибирскую ссылку? Что заставило Желобкова половину (даже больше!) своего, невесть откуда взявшегося, состояния упрятать в стене, подвергая тот клад куда большему риску, чем ту его часть, что хранилась у верной подруги? Тогда, может быть, в самом деле тайник принадлежал не ему, а его деньгами, тоже, ясное дело, несправедливыми, были лишь те, что хранились под крышей Крышечки, беспредельно верной ему? Да нет же: ведь модель конспирации и метод хранения одни и те же... Но — с другой стороны... Да и как удалось ему укрыть от всевидящих глаз свою потайную связь — так надежно укрыть, что о ней не узнал никто, дабы никто не смог проколотся. И ведь не прокололся!

Чем больше вопросов, тем меньше ответов. Но один зависел лишь от меня, и я должен был его дать, — за тем и пришла

Жанетта со своей ошеломительной новостью. Брать или не брать от Крышечки эти самые деньги? Взять значит поставить себя под удар: то, что деньги несправедливы, для Жанетты, как, впрочем, и для меня, было вполне очевидно. Чем грозит в таком случае ей этот шаг, если тайное вдруг станет явным? Приговор — покойному уже — отцу предусматривал конфискацию не только всего имущества (такового, как мы помним, не было вовсе), но еще и всех денежных средств. Найденные в стене, естественно, были уже конфискованы. Не подвергнутся ли вдруг конфискации и новые пачки купюр, если кто-то вдруг выйдет на след?

Дать совет противоправный — как обойти закон (взять заведомо краденое и промолчать), я, конечно, не мог. Вместе с тем, откуда мне знать, украдены ли эти деньги? Кем, когда, у кого? Незаконное происхождение именно этих денег еще не доказано, да и может ли быть доказано? И времени сколько прошло! Почти двадцать лет... Теоретически была и такая альтернатива: уведомить о полученной информации тех, кого следует. Но даже советский закон, по счастью, освобождал адвоката в таких случаях от неумолимых «свидетельств», так что совесть в разлад с законом вступить не могла. А уж с дочери-то — какой с нее спрос?

— Берите, — сказал я, взяв грех на себя. — В конце концов, отцовская воля. Все остальное не по вашей части. Вы не следствие и не милиция. Не пойдете же вы на посмертный донос. И не оставите Крышечке то, что отец предназначил для вас.

Мне кажется, она ждала от меня как раз такого совета. А кто на ее месте ждал бы другого? Тем более что ее мать, не терзаясь сомнениями и особенно не размышляя, сразу же выразила готовность принять свою долю из рук «потаскухи», которая «украдала» у нее мужа и «прикарманила чужие деньги». Вклиниться каким бы то ни было образом в эти их свары у меня никакого желания не было. Как и встретиться с «потаскухой», хотя мог бы, наверно, просечь, как украсил бы когда-нибудь несостоявшийся наш разговор этот рассказ. Впрочем, думал ли я тогда о том, что судьба Желобкова, по прозвищу «Жлоб», вообще станет рассказом?

Сколь бы много ни осталось лакун в этой истории, как бы много вопросов так и не получили ответа, одно я вижу с особой рельефностью, разглядывая ее из нашей сегодняшней яви. Ведь нынешним хозяевам жизни она должна казаться комичной и даже абсурдной. А то и вовсе ненаучной фантастикой. Прокурору, к примеру, который вблизи от моей загородной квартиры, на зарплату никак не большую, чем девять, да пусть хоть пятнадцать, тысяч (современных, не тогдашних!) рублей, выстроил огромный каменный дом и выставил рядом с ним на показ две, сверкающие лаком, свои новенькие иномарки. Заурядному офицеру из «чрезвычайки» — обладателю огромной латифундии в престижном подмосковном поселке. Знакомому мне помощнику депутата, сдающему богатым постояльцам несколько, им приобретенных, просторных квартир в центре Москвы. Государственному чиновнику, собравшему музейную коллекцию раритетов и азартно промышляющему астрономически стоящим антиквариатом в свободное от непыльной работы время. И все это у всех на виду, ничего и никого не таясь, не то чтобы с нарочитой демонстративностью, но и без малейшей необходимости приbedниться, создав себе образ человека, едва дотягивающего от получки и до получки.

Бедный Жлобик, который, конечно же, выбивался из сил, чтобы никто не заподозрил в нем богача! По советским меркам, — несомненного богача. Воровство ради самого воровства, ибо пользоваться наворованным было практически невозможно, — социальный тип, рожденный советской действительностью. Копил — для чего? Дрожал, ожидая тюрьмы, — зачем? Ломал голову, как получше запудрить мозги, как направить по ложному следу, как всю жизнь оставаться чужим среди своих. И даже самой любимой и верной не дать из-за этого получить от жизни ту радость, которую она в состоянии дать.

Смешно.

ПРОЩАЙ, ОДЕССА!

Если и рассказывать про это дело, то исключительно смеха ради. Ни детективной интриги, ни психологической глубины, ни сложных характеров, ни политической остроты — ну, просто ничего нет в комедийном сюжете, который мог бы, наверно, послужить основой для авантюрного романа из позднесоветских времен. Что-то вроде «Двенадцати стульев» эпохи зрелого брежневизма. Но такую ношу мне не поднять: я не Ильф и даже, увы, не Петров. Ограничусь всего лишь сюжетной канвой, которая, при всей ее краткости, вполне отражает перевернутое, под влиянием тогдашних реалий, сознание гомо советикус на разных этажах социальной лестницы и в разных географических зонах.

К моей собственной адвокатской практике это дело отношения не имеет. Полную абсурда, но вместе с тем совершенно подлинную, не требующую никаких дополнительных украшений историю рассказал мне один киевский коллега, а я, прочитав с его подачи само судебное дело, когда оно проверялось в Верховном суде СССР, дополнил рассказ выписками из содержащихся там документов. От заурядных дел о мошенничестве, каких через мои руки прошло великое множество, это отличается разве что масштабом крутившихся в обороте — виртуальных, как сказали бы нынче, — сумм, а также невероятным числом слетевшихся к пирогу искателей вождельных сокровищ, которые клюнули на легко различимый крючок блистательной авантюристки. И еще (по-моему, это

самое главное) тем простодушием, с которым умные (якобы!) люди беззаботно верили в чудеса.

Потом, когда настали иные времена, меня, в отличие от многих, не мог уже удивить порыв десятков тысяч людей, устремившихся в объятия всевозможных Властилин и Мавроди. Среди них были (не хочу называть имена) всенародно известные писатели, мыслители, художники, режиссеры. Про артистов не говорю — имя им легион: повышенная эмоциональность оказала лицедеям и комедиантам дурную услугу. Кое-кто из моих друзей не мог понять, какая сила отшибла разум у многих достойных людей, что могло завлечь даже кумиров толпы и властителей дум в примитивнейшую ловушку. Меня же тот массовый, трагикомичный стриптиз — с потерей всех своих сбережений, инфарктами и инсультами — нисколько не удивил. Мне-то было известно, как это бывает: блистательный фокус Агнессы Витальевны Жмур, знай о нем даровитые те простаки, послужил бы, возможно, противоядием от психоза, охватившего позже чуть ли не пол-Москвы, а то, глядишь, и страны...

Впрочем, мог и не послужить. Ведь сказано же поэтом: «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад».

Все началось в небольшой гостинице «Академическая», в центре Москвы. Судьба свела здесь, в одном гостиничном номере, двух женщин из двух городов. С наукой ни та, ни другая никаким боком связаны не были. Обе попали сюда, в этот ведомственный отель, по знакомству.

Двоюродный брат Лаймы Яновны Линц — той, что из Риги, — был женат на сестре администратора этой гостиницы. Связь с наукой экспедитора книготорга Агнессы Витальевны Жмур (она из Одессы) была еще более отдаленной: шурин (или деверь — никак не могу разобраться в этих родственных дефинициях) жены ее пасынка когда-то «дружил» с гостиничной кастеляншей и, расставшись, сохранил с ней добрые отношения. Таким вот образом две гостьи Москвы оказались в столичном приюте для иногородних ученых. Прямого отношения к последующим событиям эти детали вообще не имеют, но я решил остановиться на них, чтобы просто напомнить, как Его

Величество Случай рождает драматургию, которая не под силу фантазии ни одного сочинителя. Не под силу лишь потому, что сочинитель всегда стремится к правдоподобию, а правда с правдоподобием — жестокая реальность с искусным сочинительством — далеко не всегда совпадают.

Днем обе дамы были заняты своими делами. Вечерами, перед отходом ко сну, вели задушевные разговоры. Агнессе Витальевне особо рассказывать было нечего. Визит в Москву был связан для нее с вполне житейской, болезненной, мучительной даже проблемой. По каким-то причинам, из-за неких деформаций полости рта, ни один стоматолог в Одессе не смог ей сделать удобный протез. Все почему-то ломались, сползали, царапали, мешали жевать. Сменив четырех врачей и зубных техников, отчаявшись обзавестись подходящим протезом, Агнесса отправилась в Москву. Упала на всемогущую кастеляншу: имея связи в научных кругах, та могла ей найти мастера своего дела. Мастер вроде нашелся, слепок был сделан, оставалось ждать результата еще несколько дней. Своими надеждами Агнесса делилась с соседкой, предпочитая, однако, не говорить, а слушать. Ибо рассказ Лаймы Яновны был куда интересней, чем ее жалобы на стоматологов. Он захватывал дух и будил воображение.

Рижанку Лайму, чья профессия мне не известна, тоже привели в Москву бытовые дела, но они не шли ни в какое сравнение с тем, чем была озабочена одесситка Агнесса. В делах этих не было тайны: Лайма похвасталась своей компаньонке, какое счастье ей вдруг привалило. В Америке умер дядюшка, оставив племяннице часть своего небольшого наследства. После всех (бесконечных!) вычетов — комиссионных, налогов и пошлин — в сухом остатке значилось 1387 долларов США, каковые надлежало ей получить в виде чеков «Березки» в центральном агентстве Внешпосылторга.

Тот, кто будет мерить эту жалкую сумму на нынешние аршины, не сможет понять, какая радость вошла в дом скромной латышской семьи и что заставило Лайму ради этого мизера тащиться в Москву, стоять в очередях, толкаться у касс. И в итоге стать обладателем всего лишь нескольких сертификатов. Правда, без голубой и без желтой полос (чеки с полосами вы-

давались на валюту стран-сателлитов и так называемых слаборазвитых стран, выбор товаров для них был весьма ограничен). Недоступные простым смертным фирменный пылесос в придачу к роскошному холодильнику Лайма могла бы теперь получить прямо в Риге. Не говоря уже о сапогах или дубленке: пределе женских мечтаний в те недалекие времена. Этой нечаянной радостью она и делилась с Агнессой, то и дело доставая из сумки и любуясь реликвией — извещением Внешпосылторга. Дав посмотреть, она бережно возвращала его обратно, чтобы, не дай Бог, не смять, не порвать...

Наступил, наконец, день, когда обе соседки по номеру достигли цели своего приезда в Москву. Обе — в один день! Какая-то символика в этом все же была... Агнесса вернулась в гостиницу с удобным и прочным протезом, Лайма — с чеками без полосы. Синхронность удачи была обмыта знаменитым рижским бальзамом и, конечно, «Столичной». Их щедро выставила рижанка, на долю же одесситки выпала закуска, о которой она позаботилась, уезжая в Москву. Часть ушла уже кастелянше, но в записке что-то осталось. Теперь под скумбрию горячего копчения (попробуй достань такую в Москве!) две веселые дамы распили пол-литра, подкрашенного бальзамом, и пожелали другу счастливой дороги. Лайма возвращалась с драгоценными чеками, Агнесса с протезом. Да, с протезом, но еще и с прихваченным во время попойки извещением Внешпосылторга о переводе рижской подруге 1378 долларов США. Извещение это, превратившись в заветные чеки, для наследницы уже не имело цены, оттого, вероятно, она его нехватила. А возможно, и не заметила даже, что оно куда-то исчезло.

Второго рождения извещению этому предстояло ждать месяца два. Агнесса все досконально обдумала. Подготовилась к полному повороту всей своей жизни. Как сама она потом признавалась, никакого страха перед возможным провалом у нее не было. Ибо провал исключался. Потому исключался, что она знала ментальность своих сограждан. Ведь сама была сделана из того же самого теста.

О трофее, который она привезла из Москвы, сначала никто не имел никакого понятия. Даже мужу и детям, один из ко-

торых был не родной, Агнесса тоже ничего не сказала. В экспедиторе же книготорга проснулся талант психолога и стратега, просчитывающего каждый свой шаг. Ничто, по ее расчетам, не могло сорвать хорошо разработанный замысел. В одном Агнесса не сомневалась и убежденности этой не изменила: истину нельзя доверить никому. Никому — в буквальном смысле этого слова. Ни родным, ни друзьям...

Первым, спустя месяца два, о привалившем в дом счастье узнал ее стареющий муж. Ветеран войны, персональный пенсионер, коммунист с каким-то невысказанным стажем, он слушал супругу, любясь ее сверкавшим во рту новым протезом, и никак не мог врубиться в реальность той тайны, которую Агнесса наконец-то решила раскрыть. А кто на его месте смог бы врубиться? Перед ним лежало извещение Внешпосылторга, где черным по белому было сказано, что гражданке Тоцкой, она же Жмур (Тоцкая — девичья фамилия Агнессы), причитается наследство, открывшееся в Соединенных Штатах Америки, которое, после всех проведенных вычетов, составляет три миллиона сто тридцать восемь тысяч семьсот двадцать семь долларов и четырнадцать центов. Цифры прыгали перед глазами, ветеран хватался то за сердце, то за очки, веря и не веря своим глазам и плохо соображая, как это могло получиться и что за этим последует.

Одна тайна неизбежна влекла за собой другую, о которой он тоже не подозревал. Прожив со второй, куда моложе, чем он, женой пятнадцать без малого лет, Георгий Геннадьевич Жмур лишь по этому счастливому случаю узнал о существовании ее американского дядюшки. Мало того, дядюшки-миллионера, у которого, как оказалось, кроме Агнессы, не было никого, кому он мог бы оставить свое состояние. Плача и тоже глотая валидол, Агнесса призналась, что, естественно, знала о дяде, брате ее незабвенной мамы, сбежавшем вовремя от большевиков, но знала еще и о том, какая участь ждала в недавние времена тех, у кого имелась за границей родня. Тем более — богатеи...

Георгий Жмур занимал не слишком высокие, но все же номенклатурные должности — сначала в Киеве, потом в Одессе,

так что правда о дядюшке жены, процветающем в городе Желтого Дьявола, дойди она до надлежащих ушей, могла бы стоить ему карьеры и партбилета. Умолчанием Агнесса спасала его и семью, но теперь, когда правда уже ничем ему не грозит, когда «уши» и так узнали о ней, можно уже не таиться. И начать, пусть с немыслимым опозданием, новую жизнь. Ни в чем себе не отказывая. Себе и близким: ведь денег хватит на всех.

О привалившем счастье решили сообщать родным постепенно — не всем сразу. Первым этой чести удостоился пасынок — сын ветерана от первого брака. Потому что, давно уже будучи взрослым, отличался добрым характером и трезвым рассудком, мог дать разумный совет и помочь в предстоящих хлопотах: ведь ему было ясно, что с такой астрономической суммой наследства, будь оно хоть тысячу раз законно, прижимистая «Софья Власьевна» легко не расстанется. Но главное — потому, что основные надежды в реализации своих истинных планов, о которых не знал ни один человек, Агнесса возлагала на жену своего пасынка Тамару. Тамара работала диспетчером городской «скорой помощи» и знала не пол-Одессы, а — всю. Целиком...

Впрочем, поднимать шум в родном городе Агнесса не собиралась. За свою недолгую жизнь Тамара успела сменить двух мужей и три местожительства — в Киеве и Москве. Со всеми сохранила приятельские отношения и непорученные контакты. Свекровь и сноха пребывали почти в одинаковом возрасте и общались между собой без всякой субординации. Как подруги. И авантюрная жилка была у обеих, только у Тамары без такого размаха...

То, что хлопоты предстоят большие, да и расходы немалые, — это семейный совет понял сразу. Расходы — прежде всего. Хотя бы на поездки в Москву, на сбор документов, подтверждающих самоличность Агнессы и близкое ее родство с заокеанским дядюшкой. Лишь оно избавляло наследницу от еще больших налогов и удержаний: для неблизкой родни и совсем не родни тарифы были покруче. Так что просто терпения и просто крепких нервов, без чего нельзя было рассчитывать на успех, — всего этого оказалось мало. Прежде чем стать реальным обладателем несметных пачек «зеленых» (в их чеко-

вом эквиваленте), предстояло обзавестись, и тоже немалым, количеством «красных»: первому без второго оказаться в руках счастливой наследницы было не суждено. Оставался единственный выход: раскошелиться, чтобы обогатиться. Но раскошелиться, как известно, можно лишь в том единственном случае, если есть кошелек. Обеспечить такую возможность Тамара как раз и взялась.

Решение сложной задачи оказалось простейшим — его подсказала сама Агнесса. Взять деньги взаймы, возвращая их позже с непривычной для наших сограждан щедростью: не «красными», а «зелеными». Притом — в вещественном (и как-ком!) выражении: кооперативными квартирами особо высокого качества, автомашинами в экспортном варианте, гарнитурами мебели иноземного производства, импортной бытовой техникой, которая в магазинах не продается. Выгода — для заимодавцев — была настолько заманчивой, что пригласить к пирогу решили самых достойных, отобранных тщательно и проверенных досконально. С таких все и началось.

Первыми счастливыми стали те, кого заарканила Тамара, пасынкова жена: ее сестра, ее кузина и родители мужа кузины. У всех у них водились деньги. И у всех была одна и та же мечта: машина «Волга». Воображение советских граждан тех лет дальше не шло: «иномарок» никто не видел в глаза, а «Волга», незадолго до этого сменившая устаревший рыдван «Победа», считалась пределом технической мудрости и вершинной комфорта. «Живая» (по записи) очередь на это средство передвижения, похоже, не усыхала вообще и теоретически (отнюдь не практически) могла привести к желанному финалу не раньше, чем лет через двадцать, если не двадцать пять.

Каждый из завербованных счел за честь оказаться везунчиком, поклялся хранить великую тайну и ссудил Агнессу в счет будущих «Волг» кто семью, кто десятью, а кто пятнадцатью — тысячами. Пока что — рублей... Со времени денежной реформы 1961 года прошел уже не то год, не то два, и к новым деньгам как-то привыкли, но все-таки цифры эти, даже без упраздненного нуля, казались гигантскими. И все же, как видим, деньги у многих людей водились, только тратить их было не на что. Покойный заокеанский дядюшка принес, таким

образом, радость не только родной племяннице, но и целому кругу людей, притерпевшихся к вечному дефициту и теперь, неожиданно-негаданно, воспрянувших духом.

Круг этот все расширился. Ветеран вспомнил про дальнего родственника, поселившегося во Львове, и еще про боевого товарища из Днепропетровска. Оба нуждались все в той же «Волге», а киевлянка, невестка боевого товарища, имела куда более дерзкие планы. Только что овдовев, мечтала о новом замужестве. Обладая хорошей квартирой, она могла бы на что-то рассчитывать. Пребывая же в убогой своей комнатенке, пусть даже с деньгами, не могла рассчитывать ни на что. Вдова безуспешно стучалась в двери немногочисленных тогда кооперативов. Без связей и без положения в обществе потуги эти ни к чему привести не могли.

У обладателей бесполосных сертификатов (в достаточном, ясное дело, количестве) такой проблемы, естественно, не было, к тому же в Киеве как раз возводился для избранных (элиты, сказали бы в наши дни) кооперативный дом — в самом заманчивом месте: вблизи оперного театра. Вдова получила гарантии: квартира здесь ей обеспечена, лишь бы вовремя оформить наследство! «Пайщица» не скупилась: самолично доставила в Одессу десять тысяч рублей, завернутых в детскую фуфайку (почему-то мне запомнилась эта деталь). Сам боевой товарищ, ее бывший тесть, ограничился только шестью, дальний родственник из Львова — тот и вовсе пятью: больше у него не нашлось. Агнесса Витальевна, чуть покапризничав, согласилась взять в долг и эту скромную сумму.

Переговоры, которые шли вокруг киевской квартиры, навели саму Агнессу на вполне разумную мысль: зачем теперь ей, миллионерше, жить хоть и в южной, веселой, приморской, но все же провинциальной Одессе? Чем она хуже невестки боевого товарища ее престарелого мужа? Разве она недостойна переехать в столичный Киев и поселиться в доме, где ее соседями, это же вполне очевидно, станут лучшие люди республики?

Снова собрался семейный совет. Решение было единодушным: прощай, Одесса, только Киев! Пасынку и Тамаре, а если точнее — Тамаре с мужем (ведь это она была правой рукой наследницы и она же мешком с чужими деньгами!) досталась трех-

комнатная квартира, за которую Агнесса была готова, без возмещения, внести сполна ее пай: добросовестный труд заслуживает вознаграждения. Для себя же, вместе со своим ветераном, миллионерша облюбовала квартиру из пяти комнат плюс две лоджии, два балкона и два туалета. В советской домостроительной практике таких квартир тогда еще не было вовсе: случай первый и уникальный! На весь дом — по информации, которую Агнессе удалось раздобыть, — была только одна такая квартира, ее держали в резерве для безвестного «некто», который заплатит валютой. Тот самый случай! Удача сама шла в руки, упустить шанс было бы чистым безумием.

Но заполнить, пребывая на расстоянии, в одном и том же киевском доме сразу три первоклассных квартиры можно было лишь хорошо постаравшись. Не раз и не два съездить для этого в Киев. Сначала добиться права туда переехать: миллионы миллионами, а паспортный режим никто не отменял. Впрочем, за деньги все можно было уже и тогда. За деньги! Значит, их надо иметь. Сейчас, не потом. Без Тамары не обойтись.

Три будущих квартировладельцы отправились в Киев. Убедились: дом действительно строится. Даже только в каркасе он выглядел так внушительно, что всем троим стал сниться ночами. Долго спорили, какой этаж предпочтительней. У Агнессы выбора не было: пятикомнатная только одна. Тамаре достался четвертый этаж: не слишком низко и не слишком высоко. Если испортится лифт, нетрудно подняться пешком. Как может испортиться лифт в доме для самых избранных? Тамара была реалисткой. Знала: у нас все возможно. Даже и не такое. Только четвертый, и никакой другой! Невестка боевого товарища оказалась скромней и сговорчивей: согласна была на любой, лишь бы не первый и не последний. Битва за этажи в недостроенном доме чуть женщин не перессорила. К счастью, все обошлось.

Агнесса заказ приняла и отправилась по кабинетам. Никто не знал, кого именно она посетила, но вернулась с победой. Все желания будут обязательно учтены, придется только еще приехать не раз и, само собой разумеется, заплатить: стараться даром для миллионерши никто не собирался... Сморщив лоб и закатив глаза, она дала понять, какие безумные траты ей пред-

стоят. Намек был понят: Тамара начала поиск новых клиентов.

Прием заказов на киевские квартиры пришлось прекратить: все до одной разобраны, оповестила Агнесса, спасибо за то, что достались хотя бы три. Зато запись на «Волгу» ограничений никаких не имела. Пришлось отвергнуть очень выгодного соискателя из Риги. Кандидатура его, подысканная Тамарой, была Агнессой отклонена под каким-то невнятным предлогом. Могла ли она объяснить, что в этом городе слух о ее миллионном наследстве может дойти и до Лаймы, приведя к фатальным последствиям? Возникла еще одна небольшая заминка. Харьковский врач, на которого вышла Тамара, был готов расщедриться авансом, но поставил условие: «Волга» должна быть только в нежных тонах с каким-то серым и голубым отливом (не то «перламутр», не то «металлик», если я не ошибся). А Агнесса, словно назло, всем заказала черные: этот цвет означал в те годы принадлежность к начальству, на черных «Волгах» ездили только большие тузы, в обычной продаже их не было вовсе.

Агнесса, однако, была не из тех, кто отступает перед возникшими трудностями. За свой счет она повезла врача на завод, в город Горький, возвративший себе прежнее имя лишь многие годы спустя. Врач дождался ее в гостинице, пока она, прихватив его паспорт, утрясала вопрос. С первого раза не утрясла. Месяц спустя повезла врача снова, не взяв с него за проезд ни копейки. И он не устоял: разве кто-нибудь станет просто так швыряться деньгами, если не уверен на все сто процентов в благоприятном исходе? Значит, все честно! Со второй попытки каприз врача был услышан и понят. Опять же не даром, ясное дело... Счастливая Агнесса вернулась в гостиницу с размашистой, синим карандашом, резолюцией большого начальника на общем их заявлении: «Да». Больше сомнений не было: «металлик-перламутр» будущей «Волги» врачу обеспечен.

Время шло, никаких подвижек в деле с квартирами и машинами не было видно. Те, кто первыми сдали деньги в счет будущих благ, стали роптать: доколе? когда же? Объяснение: «Вы разве не знаете, какая у нас волокита?» казалось правдоподобным (в самом деле, кто же не знает?!), но сомнение все-таки не проходило. Всех недовольных Агнесса пригласила в Москву —

за ее, разумеется, счет. Здесь, в гостинице «Россия», она принимала клиентов. Каждый мог самолично увидеть извещение Внешпосылторга. И даже его подержать в руке. Некруглость суммы наследства, особенно эти четырнадцать центов, внушали доверие. Но — с другой стороны...

Подчистки и исправления бросались в глаза. Агнесса их не скрывала. Да, конечно, есть и подчистки. Есть исправления... Ведь они неизбежны. К примеру, в имени адресата. Агнесса дважды меняла фамилию — при первом браке и при втором. Дядя в своем завещании указал фамилию, полученную ею при рождении, потом Инюрколлегия, занимавшаяся делами о зарубежных наследствах, отыскала ее под фамилией первого мужа, и, наконец, для получения денег пришлось вторично менять документы и в извещении, соответственно, снова делать подчистки. Звучит бредово, но лишь для тех, кто, как мы, дорогой читатель, уже знаем, что имеем дело с мошенницей. Ну, а для жаждущих «Волг» прямодушный цинизм Агнессы звучал вполне убедительно. Снова напомним: «Ах, обмануть меня не трудно...»

Кто-то из самых нетерпеливых и мнительных заметил подчистки еще и в сумме наследства. Агнесса не скрывала и этого. Сумма, на голубом глазу сообщила она, была в полтора раза больше, но мироеды со Смоленской-Сенной, дом номер 32/44, где размещался Внешпосылторг, дважды ее сокращали. В это тоже было очень легко поверить. И никто не задался простейшим вопросом: почему бы Внешпосылторгу, после всех исправлений и удержаний, не выписать новое извещение, вместо того, чтобы старое драить резинкой, замазывать белилами слова и цифры, печатать что-то поверх?

На этот раз пронесло. Второго раза Агнесса дожидаться не стала, взяв инициативу в свои умелые руки. Упреждая новые рекламации, она известила всех клиентов, что первый этап борьбы за наследство завершился полным успехом, все документы собраны, приняты, признаны, остается сущий пустяк, пока все формальности не завершатся: как-никак три миллиона!.. Но финал первого — самого главного — этапа уже заслуживал того, чтобы все, кто ей помогал, перезнакомились и разделили с ней вместе, в дружеском, тесном кругу, общую

радость. В лучшей гостинице города — Лондонской, что на Приморском бульваре, был снят банкетный зал, где собрались все соискатели квартир и машин. Проезд из других городов — всем без исключения — и одну ночь в той же гостинице оплатила Агнесса. Мог ли кто-то поверить, что найдется транжира, который пустит на ветер такие огромные деньги?

Отсрочка была обеспечена, и все равно быть вечной она не могла. Неистощимая на выдумки, Агнесса решила подкрепить временную победу акцией поистине беспрецедентной. Я, например, доведись мне сочинять подобный сюжет, до нее бы никогда не додумался. Пусть о ней говорит документ. Судя по слогу, над его созданием трудился авторский коллектив: сама Агнесса Витальевна, без чьей-либо помощи, сочинить его никак не могла.

«ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР товарищу ПОДГОРНОМУ Н.В.

Дорогой Николай Викторович!

Обращаюсь лично к Вам, потому что Вы оставили незабываемо яркую память у всех жителей нашей республики как выдающийся руководитель украинского народа на протяжении многих лет. Ваша самоотверженная работа и Ваша отзывчивость снискали Вам любовь и уважение всех жителей нашей цветущей Советской Республики, которые желают Вам теперь, после выдвижения в Москву на самый высокий пост, больших успехов во благо всего Советского Народа.

Обращаюсь к Вам, потому что не верю сильно обюрократившимся руководителям Одесского горсовета, которые сами боятся принимать решения и привыкли только исполнять указания сверху, да и то почти всегда плохо. Я позволила себе обратиться прямо к Вам, дорогой Николай Викторович, потому что сама ни о чем для себя не прошу, ни в чем не нуждаюсь, мне ничего не нужно, кроме понимания, потому что хочется сделать что-то доброе для своего города и не получить за это в виде благодарности одни синяки да шишки, которые у нас, в Одессе, только и умеют раздавать отдельные бездушные чиновники, позорящие нашу родную Советскую Власть.

На мою долю неожиданно выпали большие деньги. Мой дядя, брат моей мамы, сразу после Гражданской войны изменил Родине, бежал за границу, оказался в Америке, где занялся, как я теперь понимаю, большим гешефтом и разбогател. Никакой связи с ним ни моя покойная мама, ни я не имели. У него, как я теперь узнала, не было семьи, детей он тоже не имел, и, наверно, он испытывал угрызения совести оттого, что порвал со своей Родиной. Когда дядя заболел и почувствовал, что вскоре умрет, то задумался о судьбе своих денег. И никого ближе, чем я, его племянница, во всем мире у него не нашлось. И тогда он решил завещать все деньги мне.

А деньги, дорогой Николай Викторович, огромные! Почти шесть миллионов долларов! Даже после вычетов налогов и коммиссионных на мою долю пришлось более трех миллионов! И я, обладая такими деньгами, не считаю возможным потратить их все на себя и своих близких. Это было бы несправедливо по отношению к родной Советской Власти, которая поставила меня на ноги, сделала человеком, а сейчас ставит на ноги моего, еще малолетнего, сына, которому предстоит стать пламенным патриотом своей Великой Родины и отдать все силы на ее процветание.

Мой муж, ветеран Великой Отечественной войны, старый коммунист, орденосеиц, и я, а также его сын от первого брака, инженер, автор нескольких рационализаторских предложений, молодой коммунист, мы все совместно приняли семейное решение передать из нашего наследства сто пятьдесят тысяч долларов США на строительство в Одессе интерната для детей-сирот.

У меня есть при этом одна просьба, которая Вам, душевному и мудрому человеку, не должна показаться слишком эгоистичной и даже, может быть, наглой. Я ставлю одно-единственное условие: чтобы детский дом носил мое имя. Мне кажется, это вполне естественное желание для человека, который на свои деньги построил для города интернат для детей-сирот и не хочет, чтобы его имя и его доброе дело было предано забвению.

Такие случаи уже были в истории нашей Великой страны. Третьяковская галерея носит имя купца Третьякова, который дал деньги на ее создание, и Советская Власть справедливо

хранит память об этом купце, она сохранила его имя для этой галереи. Я не купец, и мои заслуги гораздо скромнее, но у меня тоже есть достоинство и желание увековечить свое имя, которым смогут гордиться мой сын и его дети и которое будут помнить те дети, которым выстроенный на мои деньги дом даст путевку в Большую жизнь.

Надеясь на Ваше понимание, дорогой Николай Викторович, я прошу Вас дать указание тем, от кого в Одессе это зависит, чтобы мое пожелание было выполнено и дар мой принят на условиях, изложенных в этом письме. Возьмите, пожалуйста, это благородное дело под свой контроль и свое покровительство.

Простите, что отняла у Вас Ваше драгоценное время.

С бесконечным уважением и надеждой

Жмур Агнесса Витальевна.

Никаких следов личного вмешательства дорогого и бесконечно уважаемого Николая Викторовича в деле нет. И даже благосклонной реакции чиновников его аппарата нет тоже. Скорее всего, как водилось тогда, из канцелярии той декоративной инстанции, которую дорогой возглавлял, письмо было просто переправлено в Одесский горисполком и там осело без всяких последствий. Зато всем своим встревожившимся клиентам Агнесса разослала его копии, и это слегка остудило на какое-то время закипавшее их нетерпение. Отважиться на письмо по столь высокому адресу, предлагая государству огромные деньги, может лишь человек, абсолютно уверенный в несомненности обладания ими. Только так и могли рассуждать клиенты Агнессы, незадолго до этого обмывавшие ее миллионы в банкетном зале роскошной гостиницы (свое историческое имя «Лондонская» вновь обрела лишь недавно, в ту пору она называлась безлико: просто «Одесса»).

Поток денег не иссякал: Тамара, которой за ее хлопоты было обещано в дар не полтораста тысяч, как городу, а целых полмиллиона, доставала все новых клиентов. Произошла полная (точно рассчитанная, надо сказать) смена тактики. Жгучая тайна, которой долгое время была покрыта передача денег

взаимы, приоткрыла свои покровы: теперь, для поддержания версии, в которую клиенты пока еще верили, истории с дядошкиным наследством надо было придать максимальную гласность. Ведь мошенник никогда не афиширует то, как он пудрит мозги доверчивых простаков. С таким размахом — тем более. Значит, тот, кто поступает иначе, заведомо не мошенник. Гласность сама по себе становилась гарантией честности.

Каждый новый клиент, приносивший Агнессе (привозивший издалека!) в счет будущих благ свои капиталы, получал копию ее письма дорогому Подгорному. Этот, всеми и навсегда забытый товарищ (один из самых беспросветных тупиц и оголтелый «ястреб» в брежневском политбюро), чье имя на Украине, где он подвизался долгие годы, весило больше, чем в других регионах страны, понятия не имел о миллионах никому не известной Агнессы, но, сам о том не подозревая, исправно служил залогом серьезности ее обещаний. Такими именами в советские времена не бросались и не упоминали их всуе.

И все же, и все же... То, что когда-нибудь должно было случиться, на самом деле случилось. Какой-то московский таксист, которого через знакомых отыскала Тамара, отстегнувший шесть тысяч за черную «Волгу», потребовал деньги назад. Кстати, не потому, что в чем-то ее заподозрил или что-то там раскусил. Подошла его очередь на «Москвич», и он предпочел синицу в руке журавлю в небе. Агнесса безропотно вернула долг, но первый камешек увлек за собою второй. Знакомый шофера, из той же колоды (они познакомились в «Лондонской» на банкете и стали дружить), потребовал вернуть свои десять. Сговорившись или просто по чистой случайности, заявили права на долг еще двое: один киевлянин и один одессит.

Запахло уже керосином. Возникла потребность бросить на кон козырной туз. Никакого туза у Агнессы не было, но, раз обстоятельства требуют, фантазия заработала снова. Пришлось прибегнуть к мерам поистине чрезвычайным.

Агнесса Витальевна Жмур внезапно тяжело заболела. До такой степени тяжело, что даже название ее болезни вслух не произносилось. Ни ею самой, ни ее близкими. Больна — и все... Притом почти неизлучимо... По логике вещей (просчитать это было несложно) тяжелая болезнь наследницы должна

была всполошить всех, кому она задолжала, побуждая их презреть сострадание и тотчас потребовать деньги назад. Такой вариант имелся тоже в виду и был упрежден завещанием, которое заверил приглашенный на дом нотариус (закон предусмотрел для умирающих такую возможность).

Вот его текст.

«Я, Жмур Агнесса Витальевна, добрачная фамилия Тоцкая, в случае моей смерти завещаю полученное мною из Соединенных Штатов Америки наследство в сумме три миллиона сто тридцать восемь тысяч семьсот двадцать семь долларов и 14 центов следующим лицам и в следующих долях:

1/ Сыну Жмуре Юлию Георгиевичу — половину всей суммы наследства. По достижении им совершеннолетия перевести причитающуюся ему долю на его имя. До достижения им совершеннолетия распоряжение его долей исключительно в его интересах возложить, под контролем органов опеки, на его отца Жмура Георгия Геннадьевича с таким расчетом, чтобы траты на нужды ребенка не превышали двухсот долларов ежемесячно.

2/ Вторую половину разделить между мужем моим Жмуром Георгием Геннадьевичем (одну треть от этой половины) и женой моего пасынка Жмур Тамарой Васильевной (две трети от этой половины).

Возложить на Жмур Тамару Васильевну обязательство в пределах этой суммы получить все товары, заказанные по моим нарядам в магазинах Внешпосылторга, и предоставить их в полное распоряжение тем лицам, для которых они предназначались.

До раздела наследства в порядке, изложенном выше, выделить из наследственной массы сто пятьдесят тысяч долларов США, зарезервировав их для передачи на строительство в городе Одесса интерната для детей-сирот в случае принятия этого дара на условиях, содержащихся в моем официальном обращении на имя Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Подгорного Н.В. В случае непринятия дара на этих условиях указанные сто пятьдесят тысяч долларов США присоединить к доле, причитающейся Жмур Тамаре Васильевне».

Составленное в точном соответствии с надлежащими нормами наследственного законодательства и заверенное нотариусом, завешание было отправлено в копии всем, кто проявлял особое нетерпение. И сработало так, как было задумано. Аргумента сильнее нельзя было придумать: кто же позволит себе кощунственный обман на смертном одре!.. Коллега рассказывал мне, что все сопричастные просто молились за выздоровление благородной Агнессы Витальевны. Иные даже не в переносном — в буквальном смысле, хотя моления в те годы еще не стали приметой быта.

Голос страждущих был услышан на небесах. С той же внезапностью, с какой она заболела, Агнесса поправилась. Оказалось, что и неизлечимые болезни тоже излечимы. Могла бы, наверно, еще что-то придумать, если бы снова возникло ЧП. Но ничему возникать не пришлось. Пирамида, которая строилась с таким виртуозным тщанием и так долго держалась, рухнула от легкого дуновения ветерка.

Терпению одной из клиенток, причем самых последних, которая ждала заветного не так уж и долго, пришел конец через несколько месяцев. При том, что никаких подозрений Агнесса так и не вызвала. В добросовестности ее она не усомнилась. Хотела лишь одного: знать, когда же придет пора получить импортный мебельный гарнитур. Вселившись обычным способом в новую кооперативную квартиру на Юго-Западе Москвы, она решала житейскую проблему благоустройства: можно ли начать выкидывать старую мебель или пока подождать. От ответа о точной дате Агнесса несколько раз уклонилась. Пришлось действовать самой.

Просьба, с которой взволнованная клиентка пришла к дежурному адвокату одной из юридических консультаций, была из самых простейших. Она хотела направить запрос Внешпосылторгу, чтобы тот внятно ответил, как скоро будут оформлены права на наследство, полученное гражданкой Жмур А.В., поскольку этим задеты и ее интересы. Сознывая, что на ее личное письмо (постороннего человека!) Внешпосылторг вряд ли ответит, она попросила сделать запрос от юридической консультации — с никого ни к чему не обязывающей мотивиров-

кой столь необычного обращения: «в связи с рассмотрением в суде гражданского иска».

Услышав рассказ кандидатши на мебельный гарнитур, адвокат — едва вступившая в коллегии совсем молодая женщина — сразу поняла, что речь идет о заурядной (не знала масштабов) афере, и предложила обратиться не во Внешпосылторг, а сразу в милицию. Это предложение было отвергнуто категорично. Клиентка своими глазами видела и письмо Подгорному, и предсмертное завещание Агнессы, так что никакого сомнения в добросовестности одесской наследницы у нее быть не могло.

Адвокатесса пожалала плечами, молвила: «Ваше дело» и отправила тот запрос, о котором клиентка просила. Не один, точнее, а два: во Внешпосылторг и в Инюрколлегии — организацию, имевшую в советские времена монопольное право заниматься делами о зарубежных наследствах. И где-то дней через десять, один за другим, пришли ответы аналогичного содержания: никакого оформления наследства гражданки Жмур А. В. не производится за отсутствием такового.

Дальше была рутина: обыски, выемка денег, арест, поиск и вызов всех одураченных, долгое следствие, материалы которого составили восемнадцать томов. Ветеран Жмур слег с инфарктом: так и не смог врубиться, кто кого обманул — жена своего супруга, а заодно и десятки людей, или клиенты, нетерпеливые и неблагодарные, наклепавшие на Агнессу ложный донос. От тяжкого стресса несколько месяцев не могла оправиться Тамара. Большая беда пришла в дома и многих наших сограждан. Как подсчитало следствие, обманутым — общим числом двадцать семь, не считая счастливиц, успевших вовремя вернуть свои деньги,— Агнесса задолжала свыше двухсот девяноста тысяч рублей (их могло бы хватить, без доплат, на двадцать новеньких «Волг»), а нашли в ее тайниках только четыре тысячи с хвостиком. Куда делись все остальные, незаметно потратили которые в тогдашних условиях не мог ни один человек, так и осталось загадкой. Пришлось поверить на слово: все ушли на разъезды и на банкеты.

Агнесса держалась стойко и уверенно, страстно отвергая возведенную на нее клевету и представив себя не обманщи-

цей, а обманутой. Не преступницей, а жертвой. Она ут-
верждала, что извещение о наследстве лично получила по
почте и сама поверила в его достоверность, не имея никаких
оснований в нем усомниться. Ибо дядюшка, продолжала она,
в Америке был — это можно проверить. И наследство мог ей
оставить.

Мог быть, конечно, и дядюшка, могло быть и наследство.
Но — не было. Ничего проверять не стали: и следствие, и суд
эти ходатайства отклонили. Зачем проверять? Ведь и эксперти-
за, и Лайма, которую тоже нашли (ее показания есть в деле, я
их читал), объяснили вполне убедительно, как и что на самом
деле произошло.

И был приговор: пять лет лишения свободы.

На этом можно было бы поставить точку, если бы не еще
один документ, который эффектно завершает многотомное де-
ло, заменяя точку вопросительным знаком.

**«ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
гражданину ПОДГОРНОМУ Н.В.**

Дорогой и глубокоуважаемый Николай Викторович!

Нам, заключенным, запрещено к кому-либо обращаться
близким каждому Советскому человеку словом «товарищ». Поэ-
тому вот такое сухое и, я бы сказала, не совсем уважитель-
ное обращение с моей стороны «гражданин», в чем я не вино-
вата.

Полтора года назад я обращалась к Вам с письмом повлиять
на власти нашего города Одессы, чтобы они вспомнили про
несчастных детей-сирот и стали строить для них интернат,
деньги на который (150 тысяч американских долларов) я гото-
ва отдать из доставшегося мне от умершего в США дяди на-
следства и сделала по этому поводу завещательное
распоряжение. Я Вам писала, как Вы помните, что наши одес-
ские чинуши раздают направо и налево только синяки и шиш-
ки, а о людях совершенно не думают. Я как в воду смотрела,
потому что мне самой достались такие шишки, которые я и

врагу своему не пожелаю. Вместо того чтобы пожалеть несчастных детей-сирот, если других не жалеют, принять мой искренний дар и присвоить интернату для детей-сирот, построенному на мои деньги, мое честное имя, эти бездушные чинуши сфабриковали против меня грязное дело, вымазали с головы до ног, что никак не могу отмыться, оклеветали, опозорили и бросили за колючую проволоку вместе с воровками и проститутками.


Только на Вас одна надежда, уважаемый гражданин Подгорный, дорогой наш Николай Викторович! С наказавшими меня ни за что ни про что бездушными судьями, на которых я не в обиде, которые, я считаю, выполняли чей-то приказ, я справлюсь сама, найду правду в Верховном Суде, а Вас прошу позаботиться об интернате для детей-сирот в городе Одесса на мои деньги и присвоить ему мое имя, чтобы счистить с меня ту грязь, которой вымазали меня и всю мою семью. Ни за что ни про что.

Остаюсь с глубокой верой в Вас

з/к Жмур Агнесса Витальевна».

Вот это письмо, которое я, его публикуя, привел кое-как в соответствие с пунктуацией, писала, несомненно, сама Агнесса. Поскольку и следствие, и суд (дважды!) назначали производство судебно-психиатрической экспертизы (обе комиссии единодушно признали ее вменяемой), полагать, что у Агнессы помутился рассудок, я не могу. Нет для этого никаких оснований.

И между тем... В отличие от первого письма Подгорному, имевшему совершенно очевидную цель, ее второе письмо ни логикой, ни здравым смыслом объяснить, по-моему, невозможно. Специалисты — юристы и психиатры, — с которыми я держал совет, называли поведение Агнессы установочным, то есть опять-таки точно просчитанным, имевшим целью подержать абсолютно провальную в данном случае линию защиты, избранную ею сразу и навсегда. Мне же кажется, что она просто вжилась в свою роль, которую ей так интересно было играть, где она чувствовала себя в своей тарелке и с которой невозможно было расстаться: все равно, что покончить с со-



бой. Вжилась и окончательно поселилась на той сцене, которая дала ей возможность пережить бурный успех...

Она давным-давно уже, задолго до крушения империи и превращения Украины в «ближнее зарубежье», вышла на свободу и, я убежден, продолжала — возможно, совсем по-другому, в другой пьесе и с другими статистами — играть ту же самую роль. Ибо играть иную или вообще не играть уже не могла.

Так ли это на самом деле, мне не известно. Убежден лишь, что ни в Киеве, ни в Одессе никаких ее следов не осталось: разум не покидал ее и тогда, а сейчас и подавно. Недюжинные ее способности, богатая фантазия и неумная энергия в новых условиях не могли не найти себе применения. Как раз сейчас самое время.

ПОМОЙНАЯ ЯМА

История, о которой пойдет рассказ, относится к рубежу шестидесятых и семидесятых годов. Хорошо помню потому, что человек, который мне позвонил и вовлек в это дело, был на какой-то службе в Чехословакии за год или два до известных событий, мы мимолетно с ним встретились там в какой-то компании и обменялись московскими телефонами. Прежде чем перейти к сюжету, ради которого он решил меня разыскать, довольно долго витийствовал про гуманную миссию танков, прошедших по Праге. Мы было вступили с ним в перепалку, и он разумно ее оборвал, боясь, что явно назревающий конфликт помешает исполнению его просьбы. Никакого отношения к подавленной незадолго до этого «пражской весне» она не имела, разве что нуждавшийся в моей помощи кадровый дипломат, за которого он хлопотал, тоже когда-то работал в Праге. Теперь, находясь уже на другом посту, за океаном, дипломат приехал в Москву провести свой отпуск, отдохнуть от трудов и забот, но вместо этого стал жертвой трагедии и ни за что не хотел возвращаться к месту работы, пока дело, которое возбудила прокуратура, не сдвинется с мертвой точки. Мне как раз и предстояло, так он считал, теперь его сдвинуть, хотя я сразу же понял, сколь эфемерны эти надежды.

Телефонный разговор с ходатаем не мог не повлиять на чувства, с которыми я встретил своего посетителя. Но с первых же минут нашей беседы эти чувства исчезли. Симпатия нарочито

спортивного вида (он и в самом деле был горнолыжник), блондин лет сорока, напрочь лишенный той советскости, которая за бугром отличала всех «наших», позволяя безошибочно их опознать в любой иностранной толпе, мой новый клиент сразу же располагал к себе застенчивой полуулыбкой и печалью в глазах. И еще — достоинством, с которым истинно воспитанный человек, оказавшись в беде, стыдится ее афишировать, не требует жалости и сочувствия, гордо неся свой крест.

Он никак не мог приступить к рассказу, путался, перескакивал с одного на другое и наконец сдался, доверившись тем бумагам, которые принес. Бумаги, при всей их казенной занудности, были красноречивее, чем посетитель, — оставалось только надеяться, что при исполнении служебных обязанностей он не столь косноязычен. Впрочем, чего уж над этим подтрунивать: сильные душевные потрясения у кого хочешь отнимут язык, а клиенты с бетонными нервами мне что-то не попадались.

Если очень коротко, то сюжетец выглядел так: жена дипломата (дадим ему имя: Алексей Рябкин) была убита невесть кем и за что, и следствие, беспомощно путаясь в разных версиях вот уже два месяца с лишним, не смогло подтвердить ни одну из них. Следственное производство со всей очевидностью превратилось в «висяк» (так на прокурорском жаргоне назывались тогда, да и сейчас еще называются, дела, которые нельзя ни закрыть, ни укрыть: висят над следствием и портят статистику), и уж если кто мог ситуацию изменить, то, конечно, не адвокат с его куцыми, по тогдашним законам, правами. Разумнее всего, да и честнее, по правде сказать, было не обнадеживать, а сразу отрезать — рад бы, дескать, да не смогу, — тем более что никаких обязательств перед болтливым рекомендателем я на себя не брал, а бесполезные хлопоты... К чему бы? Зачем? На дела куда поважней и то времени не хватало.

Сработала интуиция: не попался ли в руки крутой литературный сюжет? За видимой нестыковкой судеб и обстоятельств, покрытых к тому же завесой тайны, часто прячется зверь, который бежит на ловца. Выступить предстояло в качестве адвоката, но реальный интерес к делу проявил литератор. Так получилось, что сошлись они в одном и том же лице.

— Ладно, попробуем, — вздохнул я, откровенно давая понять, что большого восторга от погружения в безнадежное дело испытать не могу.

— Спасибо, — уныло кивнул дипломат, подтвердив печальной улыбкой, что меня понимает и на успех не надеется. — Лишь бы знать, что сделано все возможное... Иначе просто не представляю, как дальше жить. — Я не заметил в его словах ни малейшей рисовки. — Просто не представляю...

В безнадежных делах, между прочим, я именно так себя защищал от укоров совести: помочь не помогу, но сделаю все, что возможно. Утешение слабое, и однако же утешение.

Нестыковка судеб и обстоятельств — это сказано не красоты слога ради. Она, эта самая нестыковка, выпирала слишком уж откровенно, маня загадками и ставя вопросы, ни на один из которых ответа — в материалах, мне предоставленных, — я не нашел.

По тогдашним меркам чета Рябкиных — Алексея и Нины — относилась если не к высшему, то по крайней мере к следующему за ним эшелону и уже только поэтому автоматически попадала в разряд советских счастливиц. Или хотя бы преуспевающих, если, отказавшись от одной банальности, воспользоваться другой.

Вот как это все началось.

Выпускник одного из технических вузов, не смевший, да и не очень старавшийся, уклониться от распределения в заштатный городок далеко от Москвы, отправляется перед отъездом на молодежную вечеринку, где встречает смазливенькую студентку инъяза, у которой к тому же — он это понял сразу — в голове явно не ветер. С ходу влюбившись (или решив, что влюбился), он тотчас делает ей предложение — на языке, естественно, современном, а не старомодном, — и сильно за полночь, куя железо, привозит к себе домой, представляя матери, спросонок плохо соображавшей, что происходит, не как подругу на час, а как спутницу жизни. Именует женой и — в подтверждение — жарко целует, вполне по-хозяйски, у матери на глазах. Плохо соображая, что происходит, и замирая от страха, объявленная женой звонит родителям — предупреждает: ночевать не придет. Остается у мужа...

Что смешнее всего — солнечный удар, по меткой дефиниции писателя Бунина, к утру не проходит. Он не проходит и через несколько дней. Минует еще неделя-другая — они становятся супругами уже в милицейском смысле. С печатями в паспортах. А еще смешнее даже не это: лишь на свадьбе ошалевший супруг впервые узнает, кто его тесть, и тут, наконец, имеет возможность с ним познакомиться. Тесть является к праздничному столу в генеральском мундире, при всех орденах, и сразу берет карьеру зятя в свои могучие руки.

Они, похоже, и вправду могучи, к тому же заслуженный воин явно не чужд театральным эффектам. Потребовав тишины и возвестив предстоящее вручение молодоженам свадебного подарка, генерал произносит возвышенный монолог — о том, что в его семью, как и положено, вошел комсомолец и патриот, готовый хоть на краю света служить великой советской родине, а дочь генерала — последовать за мужем, как декабристка за декабристом. Гости смеются и аплодируют, не слишком вникая в двусмысленность шуток: и верно ведь, свадебный стол не собрание, где надо обдумывать каждое слово и держать себя в рамках. Тут можно и пошутить. Гости смеются и рукоплещут, и уже тянутся снова к рюмкам, чтобы воздать по заслугам героям дня, патриотам и комсомольцам, но генерал властным жестом снова требует тишины.

Ор моментально смолкает, и тогда у всех на глазах, изорвав в клочки институтское направление в городок на Урале и разбросав, для пушей картинности, эти клочки по салатам и холдцам, генерал извлекает из кармана совсем другой документ — приказ о зачислении зятя в Академию внешней торговли, откуда, как любому понятно, путь лежит отнюдь не на край света, а напрямик в вожделенную всеми загранку.

Об этом свадебном застолье, с еще более яркими подробностями, которые, краткости ради, я вынужден опустить, рассказал мне какое-то время спустя сам Рябкин. Может быть, что-то приврал, но, скорее всего, лишь в деталях. Ностальгически вспоминая год за годом жизнь, прожитую вместе с погибшей женой, — жизнь, которая начиналась так лучезарно и завершилась так трагично, — он просил меня безжалостно обрывать его рассказ, если что-нибудь мне покажется не вполне объяс-

нимым, чтобы он мог тут же все уточнить и рассеять сомнения. Просил не щадить его, если увижу даже самую малость неправды или нечто такое, что заставит меня хоть в чем-нибудь усомниться.

В этом жестком максимализме по отношению к самому себе была не только тоска по перечеркнутой жизни, не только драма человека, внезапно — и так кошмарно — потерявшего любимую женщину, мать его сына, но еще и ужас (двойной, получается, ужас!) от того, что подозрение в убийстве сразу же пало именно на него, а высказал это в письме, адресованном прокурору, отец погибшей. Тот самый, теперь уже престарелый и отнюдь не свадебный генерал, который двенадцать лет назад с таким дивным эффектом вручил ему поистине золотую путевку в жизнь.

Загранка тогда себя ждать не заставила. У генерала, уже к тому времени отставного, сохранились хорошие связи — ради дочери они были пущены в ход. Совет экономической взаимопомощи (был такой СЭВ — еще не забыли?) отправил Рябкиных в Польшу, потом в Чехословакию. Внука, который уже появился, генерал с генеральшей оставили у себя, дочь, при двух ее языках, оформили референтом в какой-то советский офис, их тогда в странах-сателлитах расплодилось немерено и не считано. Но соцлагерь супругам быстро обрыд, захотелось на мировые просторы, да и торговля, хотя бы и внешняя, уже не считалась в ту пору делом престижным: подавай дипломатию!

Подали и ее.

Сначала пришлось помучиться в Африке на каком-то невзрачном посту, потом дошла очередь до Америки. Не знаю точно, где именно и кем именно Рябкин работал, знаю только — в самом логове зверя. В городе Желтого Дьявола. Не исключаю, что писал сумму прописью не только в мидовских ведомостях. Даже не сомневаюсь...

Но, честно сказать, меня это не очень-то занимало. Ко мне пришел человек, пострадавший от преступления, я стал защитником его интересов, получив ордер на ведение дела в качестве представителя потерпевшего: есть в законе такой юридический термин. И никакие иные параметры к моим

функциям касательства не имели. Куда важнее для этого дела была не служебная, а личная жизнь. Как складывались в Нью-Йорке отношения между супругами и имелась ли хоть какая-то связь между этими отношениями и тем, что случилось в Москве? Вопрос не был праздным и поставлен вовсе не мною: первым — с подачи генерала, схлопотавшего от горя инфаркт и прикованного к больничной койке, — попытался извлечь из него путеводную нить многоопытный следователь, которому досталось вести это темное дело. И был, несомненно, прав.

Отношения между супругами имели свою эволюцию и, пройдя через разные, весьма банальные, кстати сказать, этапы, достигли той напряженки, которая, если и не знаменует собой неперенный разрыв, то, как минимум, делает его весьма вероятным. Разобраться в этом было необходимо хотя бы уже потому, что иных причин для убийства, вне отношений в семейном кругу, найти не удалось, а сами отношения — своей размытостью и наличием множества вопросительных знаков — позволяли выстроить пусть и зыбкую, но хоть какую-то версию.

Главный вопрос был вполне очевиден: какая кошка пробежала между супругами? Когда и почему?

В том, что она пробежала, сомнений быть не могло. Без всяких видимых причин бросив Нью-Йорк, где она не работала, а пребывала в статусе жены своего мужа, Нина Рябкина внезапно прилетела в Москву за полгода до гибели, не дав никому объяснений этому, весьма неординарному, надо сказать, и весьма загадочному поступку. Тот, кто помнит, как позволялись и как финансировались такие полеты советских заграничников, знает, чем могла обернуться подобная самоволка. В любом случае для полета на родину, даже в законный отпуск, полагалось получить согласие «командирующей организации», но МИД на запрос прокуратуры ответил, что заявки из Нью-Йорка не поступало и о досрочном прилете министерству стало известно лишь после того, как «трагически погибла жена нашего сотрудника Рябкина А.В.».

Не знаю, как следователь, но я заподозрил, что заявка (фактически просто уведомление) могла поступить от мужа совсем в другую организацию, куда за справками не обращаются и которая их не выдает. Спросить у Рябкина не посмел, а тот, ко-

нечно, помалкивал. На мой вопрос ответил уклончиво (любимое словечко из следовательского аргю), что Москву — именно так, безлико: Москву, а не конкретную организацию (в данном случае — МИД) — ни о чем не запрашивал и ничего согласия не получал. Ведь жена не на службе! Просто жена...

И все же: зачем она поспешно вернулась и что делала дома те месяцы, которые отделяли ее прилет от прилета мужа, прибывшего вслед за ней в очередной, запланированный заранее отпуск? Рябкины жили отдельно от «предков» — квартиру им выбил все тот же генерал, для которого, видимо, не было преград ни на одном фронте. В какой-то момент мне показалось, что генеральское всемогущество не больше, чем ширма, легко объясняющая всем посторонним ошеломительные удачи, которыми отмечена биография росшего, как на дрожжах, дипломата. Но, опять же, такие подробности меня не касались.

Мать Алексея и отец Нины ничем помочь следствию не могли. Ошеломив их своим внезапным приездом, Нина забрала сына к себе и большую часть времени проводила дома, не слишком часто общаясь с отцом и сестрой, по которым вроде бы настолько соскучилась, что бросила мужа и примчалась в Москву. И все же какую-то ниточку генерал следствию дал. По его словам, Нине осточертел ее вечно занятый муж, лишенный каких-либо интересов вне службы, заточивший ее в нью-йоркской квартире и превративший жену, специалиста не хуже, чем он, просто в прислугу: тривиальный семейный конфликт, настолько частый и настолько изученный, что в его достоверность было очень легко поверить.

Но ведь не она убила своего тюремщика — убили ее! Допустим, что — Рябкин... Но за что, за что? За то, что ей надоел? Так ведь он — ей, не она — ему... Логика в этом звене явно хромала. Тогда, быть может, из мести за то, что вдруг сорвалась и улетела, сделав его посмешищем в глазах сослуживцев? Такая реакция называлась бы неадекватной, в расчет ее взять было нельзя, если речь шла о человеке с ненарушенной психикой. В том, что она у Рябкина не нарушена, сомневаться не приходилось. Ничего себе мечь: ведь он таким образом ломал свою жизнь, даже не будучи разоблаченным. Один лишь конфликт сам по себе, столь скандально себя обнаживший, да еще с та-

кими последствиями, делал Рябкина по советским критериям профнепригодным: дипломатов с подобным пятном в биографии за границу не направляли, да и дома для них, после такого афронта, тоже вряд ли нашлись бы приличные места. Тем более — без генеральской руки.

И все же одна фраза, отловленная следствием в заявлении убитого горем отца, побуждала насторожиться. «Дочь никого не пускала в свою личную жизнь, — писал генерал, — даже нас, родителей, и сестру. О том, что творилось в ее душе, мы ничего толком не знали, но из отрывочных разговоров я понял не головой, а своим отцовским сердцем, что Нине хотелось начать другую жизнь — с другим человеком. Этот человек мне не известен, она о нем не распространялась и никогда не говорила, что он вообще существует. Скорее, намекала. По-моему, ради него она и прилетела в Москву, и, наверное, этот негодяй Рябкин, которого я вытащил из дерьма и сделал человеком, что-то про него знал и убил Нину из ревности».

Модель, в общем-то, не слишком оригинальная, убийств по таким мотивам и с таким «анамнезом» в истории криминалистики сколько угодно. Но чем эту чисто абстрактную версию можно было бы подкрепить? Абсолютно ничем!

Сережа, сын Нины и Алексея, тоже попал в свидетели и на допросе сообщил, что мама из дома почти не отлучалась, разве что в магазин, когда он находился в школе. Они вместе ходили в кино, в зоопарк, на стадион, на закрытый каток: мать и сын обожали коньки. Никто из тех, кто раньше ему был не знаком, к ним в дом не приходил. Подруг у Нины в Москве не осталось, старые куда-то разъехались, новых не завелось, потому что вся жизнь прошла за границей, так что выговориться ей было некому, а значит, и некого допросить, чтобы постичь ее тайны.

Версия лопнула, оборвав ту тонкую нить, которая, казалось, могла бы вывести поиск из тупика. Но вывести она все равно не могла.

— Я ведь сам думал об этом, — говорит мне Рябкин, когда я прошу его опровергнуть главную версию следствия. — Что первым приходит в голову, когда жена от тебя бежит сломя го-

лову? Что бежит не от тебя, а к кому-то. Как иначе объяснить этот бросок через океан? Если начистоту — все мечтают туда, а она сигает оттуда. Скорее всего, без любовника не обошлось. Я понимаю, сильное чувство... Но могла ведь, кажется, и подождать, пока мы вместе приедем в отпуск, сказать правду в глаза, по-людски — не мы первые, не мы последние, ведь правда?.. Разве я такой недоумок, что не смог бы понять? Удар ниже пояса, но я пережил бы. Теперь в нашем ведомстве (без уточнений, в каком! — *А. В.*) не так жестко подходят к разводам. Если все культурно, законно, без дележа детей и имущества, с письменным объяснением и откровенным разговором в парткоме, — тогда обойдется. Хорошо, полюбила другого, ну а я-то чем виноват? Прочтут нотацию, погрозят пальцем — на том все и закончится. Главное, чтобы в характеристике было отмечено: «Причины развода парткому известны». И все! И ты чист...

Помню, это был трудный для него разговор. Он часто прерывал свой монолог, подолгу смотрел в окно — там, громохкая, неуклюжие уборочные машины плохо справлялись с опавшими листьями. «В Америке убрали бы в два счета», — заметил он, перехватив мой взгляд. Дрогнули уголки губ — улыбка тут же погасла, еще не родившись. От его внимания не ускользнуло, что я наблюдаю, как он разминает левой рукой пальцы на правой. Тут же прокомментировал: «У всех от волнения немеют на левой, а у меня все не как у людей — затекает правая». Не скрыл, что волнуется.

— Тысячный раз прокручиваю заново всю нашу жизнь — и никакого объяснения не нахожу. Не было у нее никакого любовника — ответственно вам говорю! Понимаю, в устах мужа это звучит просто комично, но я убежден: не было. Потому что мы всегда были вместе, не получалось такого просвета, чтобы втиснулся в него посторонний. Да чтоб еще так закрутило — бросаться к нему очертя голову. В Москву!.. Сколько мы были в Москве за последние десять лет? Если вместе собрать все приезды, и трех месяцев не наберется. И никогда не разлучались. Когда бы ее зацепило? А про наших в Нью-Йорке и говорить не приходится — там все и все на виду. Каждый за каждым подглядывает — это вы знаете и без меня.

По душе мне была не только его откровенность, но и стройность всех рассуждений, убедительность цепочки, где все звенья ладно пригонялись друг к другу, не давая ни малейшего сбоя. И то верно: как при тотальной слежке в том вольтере, который назывался советской колонией, мог возникнуть и остаться никем не замеченным пылкий роман с таким вызывающим продолжением? К кому она ринулась, несчастная Нина, в Москву? Не к тому же, кто оставался в Нью-Йорке. Если вернулся и он, это совпадение тоже привлекло бы к себе внимание. Только не к чему привлекать. Следствие отработало и эту шаткую версию. Подтверждений ей не нашлось.

Значит, это был — если, конечно, он был — кто-то из москвичей. Тот, без кого и в сладостно бешеном городе небоскребов ей была жизнь не в жизнь. Тот, про кого муж мог знать, а другие не знали. Ибо если не знал и он, то мотив убийства из ревности сразу же отпадал. Но — и это самое главное — он отпадал, как и вся вообще версия об убийстве, совершенном именно Рябкиным, совсем по иным причинам. Не психологическим, а криминалистическим. Попросту потому, что алиби Рябкина было установлено со всей непреложностью, а те крохи улики, которые все же удалось наскрести, вели совсем в другие стороны. Куда угодно, но не к нему.

Тело нашли на задворках довольно невзрачного гастронома, у входа в его подсобку, — «удар тяжелым металлическим предметом по голове» (заключение экспертизы) был смертельным и привел к немедленной гибели. Смерть наступила за полтора-два часа до приезда «скорой помощи» и наряда милиции с экспертом, то есть практически точный час убийства был установлен. Но все это время — и за три, и за два часа, и за час до убийства, наконец, в самый его момент Рябкин неотлучно находился дома, где шел ремонт. Тоже, кстати, из загадок загадка: если супруги затеяли в квартире ремонт — оба, а не кто-то один из них! — и сами в нем принимали участие, то, видимо, для того, чтобы пользоваться совместно его результатами. Один этот факт говорил о том, что никаких фатальных конфликтов между ними не было.

Ремонт делали два «левака», некогда работавшие в хозчасти «одной из в/ч», к которой имел отношение тесть-генерал и от которого они часто получали «приватные» заказы. Им полностью доверяли, оставляли в квартире одних — ни разу нигде не пропало ни одной драгоценности, ни одного рубля. Как раз в тот вечер шла поклейка обоев, и Рябкин сам принимал в ней участие, следя за тем, чтобы обои на стене не косили и не оставляли морщин. Оба маляра подтвердили, что Рябкин ни на миг не отлучался. Его сын сообщил то же самое — как раз именно в этот день мальчик, на время ремонта вернувшийся к деду и бабушке, остался дома, чтобы папа помог ему приготовить уроки.

Мама тоже была дома весь день и ушла за продуктами под вечер, когда стемнело. Место, где нашли ее труп, удивить не могло: Нина «дружила» (на стыдливом языке совков, стеснявшихся даров продуктовой мафии, так называлось блатное снабжение) с продавщицей соседнего магазина. Гастрономчик был так себе, на его прилавках практически не было ничего, но в подсобках кое-что (да какое еще кое-что!) имелось всегда. И доставалось, конечно, своим. Продавщица получала от Нины заграничные тряпки, так что ни с ветчиной и колбасами, включая копченые, ни с замороженной рыбой, даже с красной икрой проблем у супругов не было никаких. Порядок никогда не менялся: Нина приходила к закрытию магазина, где ее ждал заранее приготовленный сверток. Ждал и на этот раз, но не дождался: Нина запаздывала, а продавщица спешила домой и, положив запакованные продукты в холодильник, воспользовалась внешней дверью подсобки. Тут на труп и наткнулась: он лежал почти на пороге.

Версия о возможной связи убийства с походом в злосчастный тот гастрономчик тоже изучалась весьма скрупулезно. В том числе и версия о продавщице-убийце: допускалось, что у двух дам возник какой-то жестокий конфликт на продуктово-тряпичной почве. Но кто же станет убивать кого бы то ни было прямо на пороге своего «офиса»? Скорее уж кто-то «подкинул» труп, чтобы повести следствие в ложную сторону. Никаких результатов и эти раскопки не дали. Сумка с деньгами так и осталась зажатой в руке убитой. Денег никто не тро-

нул. Как и бусы — на вид дорогие. Как и часы — какой-то престижной фирмы. Собака след не взяла. Орудия убийства нигде не нашли. Ни один из запутанных узлов, в которые завязался сюжет, распутать не удалось.

Но ведь безмотивных убийств не бывает, разве что только случайные. О случайности же на этот раз речь идти не могла: прицельная точность удара огромной силы была очевидна. «Действовал не профессионал, но умелец», — сказал мне следователь, убедившись в том, что я не его противник. Что в рамках куцых своих возможностей готов помогать ему всем, чем смогу.

Помочь я ничем не мог. Вообще. Да, по правде говоря, и не должен: функция адвоката на этом этапе следствия была даже не куцой — вообще никакой. Разве что сочинять ходатайства об ускорении рассмотрения дела. Но это же фикция, а не функция, — иллюзия работы, которой, в сущности, нет..

Терять, однако, такого клиента мне не хотелось. Невероятная запутанность ситуации подогревала любопытство, тем более что Рябкин стал раскованней, беседы с ним уже не были в тягость, хоть и мало что проясняли. Самым загадочным для меня было упорное его нежелание вернуться на работу в Нью-Йорк. Я-то полагал, что теперь, после убийства жены, к которому его самого чуть было не пристегнули, никакая загранка светить Рябкину вообще уже не могла.

Как бы не так... Мидовцы (они ли?) настаивали, чтобы он «закруглялся с личными делами» и скорее вновь приступал к исполнению служебных обязанностей (был, видно, особо ценным сотрудником — штучный товар?). Мне даже звонил какой-то хмырь с простуженным голосом, по имени не назвавшийся, — представился как кадровик министерства иностранных дел. Знал, что я веду дело товарища Рябкина, спрашивал, когда, наконец, по закону (!) будут «устранены препятствия» для возвращения его к месту работы. Препятствий — по закону, конечно — не было никаких, ведь он был всего-навсего потерпевшим, мерой пресечения не ограниченный, но, боясь впасть в ошибку, я задал тот же вопрос следователю, который изрядно уже намаялся со своим «висяком».

— Да пусть уезжает хоть завтра, — проворчал тот в телефонную трубку. — На кой ляд он здесь нужен? Только мешает...

Немыслимый случай! Обычно, даже если и нет формальных препятствий, следователь их находит, лишь бы не упустить того, кто по-прежнему под подозрением. А тут — пусть уезжает... Не мог этих слов он даже произнести, не имея секретных подсказок. И вдруг — не только их произнес, но даже прислал бумажку. На бланке, со штампом: «...Гражданин Рябкин А. В. ... признан потерпевшим по делу по факту (такой вот грамматический перл. — А. В.) насильственной смерти гражданки Рябкиной Н. П. Препятствий для его выезда из Москвы не имеется, так как он неоднократно допрошен в качестве свидетеля, а его интересы в качестве потерпевшего по доверенности и ордеру юридической консультации представляет адвокат товарищ...»

Приятно: я был признан товарищем, а кадровый дипломат всего-навсего гражданином. Но, получив свободу на все четыре стороны, «гражданин» воспользоваться ею категорически отказался.

Перенесемся мысленно в самый конец шестидесятых годов и представим себе, какие чувства (про вопросы не говорю) вызывал этот поступок. Не раскрывая ничьих секретов, без имен, разумеется, я рассказывал об этом, потрясшем меня феномене своим друзьям — хоть бы один мне поверил! Хоть бы один!.. «Придумай что-нибудь правдоподобнее», — давали они мудрый совет. Не мной замечено: чем сюжет, взятый прямо из жизни, ближе к полной, неприукрашенной истине, тем он меньше походит на истину и веры к себе не вызывает. Я так часто сталкивался с этим феноменом, что не устаю о нем напоминать при всяком удобном случае...

— Никуда я не поеду! — отрезал с каким-то ожесточением мой дипломат, когда я рассказал ему и о звонке сипатого кадровика, и о справке, пришедшей из прокуратуры. — Как они не понимают: дело не в юридической казуистике! Ну и что с того, что формально никто подписку с меня не взял? Что я не обвиняемый, а потерпевший? Пока они не найдут убийцу, в подсознании все равно останется: тут что-то не так. Помните

анекдот: то ли он украл, то ли у него украли, но история-то с душком. Так вот: пока душок не исчезнет, никто меня отсюда не вытолкнет. Чем бы это мне ни грозило...

Я бы соврал, утверждая, что эта позиция не вызвала во мне уважения. Даже чего-то большего, по правде сказать... Без всяких препятствий с чьей бы то ни было стороны, не под чьим-то нажимом — исключительно по доброй воле — совестливый человек был готов поступиться удачной карьерой, сломать себе жизнь только ради того, чтобы таким путем защитить свое доброе имя: достоинство и гордость — свойства, давно забытые многими, если что и вызывающие в борьбе за место под солнцем, то разве что недоумение и насмешку.

Но он упорно стоял на своем:

— Знали бы вы, Аркадий Иосифович, как я люблю свою работу и как хорошо мне живется в проклятой Америке! Проклятой, но такой симпатичной, — не говорите никому, прошу вас, об этом моем признании. Точнее, жилось... Жену я потерял, теперь еще не хватало, чтобы вместе с ней потерять и себя. Пусть найдут убийцу, пусть суд подтвердит, что именно он убийца, и пусть мне объяснят, за что Нину убили, вот тогда уж никто не сможет подумать обо мне ничего плохого. Тогда, и только тогда, я смогу начать новую жизнь. И Сережке смогу рассказать, что с мамой случилось. А так — что я ему расскажу? На вас вся надежда...

Если действительно вся надежда была на меня, то он мог немедленно с нею расстаться: найти убийцу мне не светило, а ему, стало быть, не светило начать новую жизнь.

Он все еще посещал меня время от времени, о чем-то мы говорили, сознавая притом, что топчемся на одном месте, но другие, куда более реальные для адвоката дела потеснили в моих заботах туманную эту историю, да и чисто литературный к ней интерес тоже иссяк: сюжеты, у которых нет и не видно конца, неизбежно теряют свою привлекательность. Поначалу сюжет казался заманчивым и перспективным как раз потому, что был подлинным и в авторском своеволии не нуждался: любая додумка удручала бы своей нарочитостью, подменяя хаотичность, необъяснимость, пусть даже нелепость реальных событий выстроенной по правилам сюжетостроения, гладкой,

обкатанной схемой, которую сочинители-ремесленники само­довольно именуют «правдоподобием». Но ведь схему можно выстроить и не опираясь на «случай из практики». Выстроить, то есть придумать. Я же стремился вовсе не к этому.

С мертвой точки дело никак не сдвигалось. Но и не было повода, чтобы честно сказать клиенту: что мог, то сделал, — да­вайте расстанемся по-хорошему. Ведь я же предупреждал...

Повод представился: Рябкин внезапно сменил гнев на ми­лость. Думаю, впрочем, что не внезапно: начальству, скорее всего, надоело просить, и оно вспомнило, что может приказыва­ть. Слюнявые сентиментальности — «доброе имя», «совесть не позволяет» и прочие интеллигентские штучки — к делам го­сударственной важности отношения не имеют и в расчет ни­когда не берутся.

— Ладно, дожали меня, — хмуро проворчал Рябкин в оче­редной свой приход. — Улетаю... И Сережку с собой забираю — без него я там совсем задохнусь. Да и генерал мой смягчился: дочь не вернешь, пусть внук набирается знаний. Опять на ко­го-то нажал — обещали ему для мальчишки и школу американ­скую, и еще курсы английского. В нарушение всех правил. А иначе, сказал я, никуда не поеду — человек я в конце-то кон­цов или машина? Мне и здесь хорошо... — Так печально он улыбнулся, что у меня от жалости зашлось сердце. — Где, ска­жите, дорогой адвокат, может быть мне теперь хорошо? Что здесь, что там... Только вы меня не бросайте, нажимайте на все рычаги, чтобы все довести до конца. При первой же необходи­мости вызывайте — все брошу и прилечу. Какой хотите пода­рок? Привезу обязательно.

Что-то все-таки стало меняться даже в этом — закрытом и кастовом — ведомстве. Ослабли требования к безупречной ан­кете. Кадровики уже не полностью исключали гуманность. Входили в положение. Шли навстречу. Мне понравилось то со­общение, с которым Рябкин ко мне пришел, — он это понял и опять улыбнулся, на этот раз без печали.

— Жить-то надо, — вздохнул он. — Уже без Нинки. Я толь­ко недавно стал это осознавать. Не могу видеть, как плачет Се­режка...

Прощаясь, я неловко полуобнял его — в отношениях с клиентами такого со мной еще не бывало. Но ведь и дел, подобных этому, не было тоже. Как не было и таких симпатяг. Но загадки-то — они ведь никуда не ушли: кто убил? за что? почему? какая сила заставила Нину рвануть из Нью-Йорка? Да и все остальные... Остался только добрый осадок от встречи с Алешей Рябкиным: гордый, достойный, имеющий к себе уважение человек — не то что карьеристы и прилипали из стана его коллег, готовых на все ради всяких там заграничных соблазнов. Бывают все-таки исключения, говорил себе я, время от времени вспоминая о своем «висяке».

Вспоминал я о нем все реже и реже. А потом и совсем перестал. «Жить-то надо» и адвокату — не старыми же делами. Да и других дел, не адвокатских, у меня тоже хватало. Год или два к праздничным датам приходили из Нью-Йорка поздравительные открытки — все с московскими штампами: значит, отправлял их по всем правилам, с дипломатической почтой. Это был знак: дела у него идут хорошо. Потом открытки приходили перестали. Это уже означало, что у дипломата просто полный порядок: об адвокате вспоминают — не раз уже про то говорилось, — только когда есть в нем нужда. Из прокуратуры тоже вызовов не было: дело, по всей вероятности, просто положили в архив как полную безнадегу.

И я тоже стал о нем забывать.

Прошло еще несколько лет, я уже покинул адвокатуру и трудился совсем на ином поприще. Возможно, поэтому я не сразу врубился, когда чей-то незнакомый голос прохрипел в трубку, что по срочному делу есть нужда в разговоре и что пражским друзьям я не могу отказать. Появившись в редакционном моем кабинете на Цветном бульваре уже через десять минут (звонил из ближнего автомата), незнакомец оказался знакомцем: это был тот человек, который давным-давно всучил мне Рябкина и с тех пор не подавал признаков жизни.

Он мало походил на того, с кем случайно я некогда повстречался в какой-то пражской компании, — рыхлый, поникший, но главное — смертельно чем-то напуганный: это было нельзя не заметить, да он, впрочем, свой испуг отнюдь не скрывал.

— Прогуляемся, попьем пивка, — сразу же предложил он вместо приветствия. — У вас тут на углу приличная забегаловка...

Я еще не успел выразить своего удивления, как он многозначительно, какими-то сложными жестами, дал понять, что натканы, мол, повсюду «жучки»: в стенах, на потолке и даже на спинках стульев. Его взгляд так умоляюще просил меня вслух не возражать, что, подавляя в себе возмущение и протест (не хватало еще конспирации в содружестве с подозрительным типом!), я безропотно вышел вместе с ним в коридор.

— Что все это значит?! — выпалил я таким зловещим тоном, которого сам от себя не ожидал. — Врываетесь в редакцию, ставя меня перед фактом, и теперь еще какой-то дешевый спектакль... Выкладываете свои тайны мадридского двора прямо здесь, никакого пива я с вами пить не собираюсь и больше пяти минут для вас не имею.

Он немного опешил, но быстро взял себя в руки.

— Скажите мне, только честно... — Он заискивающе заглядывал мне в глаза. — Не бойтесь, я умею хранить тайны. Тем более что это и в моих интересах. Вас куда-нибудь вызывали?

Когда спрашивали (в те годы, конечно!) про «куда-нибудь», имелось в виду только одно: туда, туда...

— Куда-нибудь не вызывали, — слишком быстро и слишком жестко отреагировал я, чувствуя почему-то омерзение и от формы, и от содержания этой беседы доморощенных заговорщиков. — Куда и зачем меня должны вызывать?

— Еще вызовут, — потерянно, но и с явным облегчением пообещал он, суетливо оглядываясь по сторонам, словно ждал нападения. — Я вас очень прошу... по-человечески... ведь вам ничего не стоит... Пожалуйста, когда вызовут, не говорите, что именно я послал к вам этого подонка. Рябкина — помните? Я же не знал, что он подонок. Откуда я мог знать?!.

С каждой минутой разговор в редакционном коридоре становился для меня все невыносимей. Этот тип, при всех его идиотских ужимках, и впрямь нагонял на меня страх.

— Изясняйтесь короче и четче, — тоном начальника приказал я, презирая себя за то, что говорю с ним, как хам с денщиком. — Почему он подонок и от кого я должен скрыть, что этого клиента принял по вашей рекомендации?

Кажется, он поверил, что я ничего не знаю, перестал дрожать, но его всхлипы никакой жалости у меня все равно не вызвали.

— Рябкин сбежал, — пролепетал он. — Оказался давним шпионом. Смылся прямо из-под носа у наших. Понял, что разоблачен. Или кто-то его успел предупредить. Весь комитет стоит на ушах. Ищут виновных. И до вас доберутся.

Он явно боялся, что доберутся как раз до него: уж я-то к этой, пока еще мне совсем не понятной, истории не был причастен ни с какого бока. Времена уже и тогда были другими, истерия тридцатых годов сменилась циничным прагматизмом семидесятых. Не знаю, собирался ли кто-нибудь «добираться» до меня, но я и сам был бы рад добраться до тех, кто знал хоть что-нибудь и был готов к разговору. К загадкам старого дела добавились новые, не чета прежним: с чего бы это «давний шпион» так отчаянно сопротивлялся возвращению к тем, на кого он работал, сознавая, что здесь в любую минуту может быть схвачен и как шпион (если он был таковым), и как убийца (в чем его уж точно подозревали)?

Я уже расстался с адвокатской коллегией, никаких прежних обязательств по делу Рябкина у меня больше не было, как и не было, впрочем, самого дела: «за ненахождением» убийцы его давно сплывили в архив. Но, — если верно, конечно, что случилось ЧП, — его оттуда должны были теперь снова извлечь и приобщить к другому, еще более важному производству.

Когда-то зверь бежал на ловца, теперь ловцу было самое время мчаться за зверем: не оставаться же в неведении, когда дело приняло такой оборот.

Прежний следователь оказался, по счастью, на месте, но получил солидное повышение: он встретил меня в престижном кресле заместителя прокурора. Да и его посетитель пребывал уже не в жалкой роли просителя, то бишь советского адвоката, а представлял газету, гремевшую на всю страну, и был к тому же автором судебных очерков, которые прокурор, конечно, читал. Так что в каком-то смысле мы вели беседу на равных. И даже — воспользуюсь спортивной терминологией — с позиционным перевесом на моей стороне. Вероятно, поэтому отфутболить меня он не решился.

— Могу дать информацию лишь по уголовному делу, — с тревогой в голосе (как бы не проколоться!) сказал прокурор. — Все остальное не по моей части.

— С той частью мы как-нибудь разберемся. — Уже накопленный журналистский опыт подсказывал мне, что такая, ни к чему не обязывающая, витиеватая многозначительность производит в этих кругах нужное впечатление: мир прессы загадочен и не доступен для посторонних — кто знал, какие есть у редакций каналы и связи? — Расскажите про ту, которая вам известна. А секретными материалами займется мое руководство.

Я в точности знал, что этими материалами «мое руководство» никогда заниматься не станет, тем более что газета, если не приходили указания свыше, от всяких лубянских тайн бежала, как от чумы. Да и дело-то имело отношение к моему адвокатскому прошлому, а не к журналистскому настоящему. Но словечко нашлось, видимо, меткое — из их аппаратного лексикона. Прокурор мой расслабился, признал во мне «своего» и довольно быстро разговорился.

Виражи невыдуманного сюжета, который и раньше поражал своей нелогичностью, провалами и чистейшим абсурдом, оказались еще более крутыми, чем выглядели тогда.

Но ясности не прибавилось. Даже, пожалуй, ее стало еще меньше.

Дело о загадочном убийстве Нины Рябкиной утонуло в архиве и ни малейшей надежды на реанимацию уже не имело. Ведь с течением времени шансов на розыск преступника, не пойманного по горячим следам, становится все меньше и меньше: нынешняя «раскрываемость» громких убийств свидетельствует об этом с полнейшей наглядностью. В таких «висяках» следствие уповает разве что на счастливый случай.

Тут-то он и подвернулся. Там, где его не ждали — на то он и случай...

С подмосковного военного аэродрома улетала в ГДР очередная группа специалистов, обеспечивавших работу технических служб наших оккупационных войск. В пришитом к трусам потайном кармашке одного из умельцев бдительные таможенники обнаружили пять тысяч долларов — по тогдашним

временам сумма астрономическая. Все знали, что военных, которым выпала честь выполнять высокий патриотический долг в самой-самой братской стране, шмонали не слишком. На то, вероятно, у контрабандиста и был свой расчет.

Расчет оказался ошибочным: только что на ответственный пост в таможенном ведомстве заступил какой-то новый начальник и начал с того, что повысил бдительность. Ретивая метла карьерного чина и настигла этого нарушителя: он стал первым, попавшим под горячую руку.

Задержанный Павел Засекин, техник-строитель воинской части, не мог объяснить толком, где и зачем он добыл такие огромные деньги. Притом не в валюте страны, куда он летел, а в той, вожделенной, пригодной повсюду, которая тогда еще не была столь расхожей и популярной, какой она стала у нас многие годы спустя. «Купил у фарцовщиков» — этот довод «не проходил»: такими суммами оперировали в ту пору разве что в кругах, военному технику недоступных, продавать их незнакомому человеку никто бы не стал, а Засекин твердил, что скупал «у мальчишек, промышлявших возле гостиниц», но ни имени их, ни «особых примет» не назвал. Выезд на место — для опознания этих мальчишек — ничего не дал, агентура, внедренная в их ряды, про скупку долларов в таких огромных количествах человеком с приметами Павла Засекина никакой информации не дала. Объяснить, откуда хотя бы рубли, чтобы на черном рынке приобрести пять тысяч зеленых, Засекин тоже не смог. Довод: «копил, чтобы купить дорогую технику», оказался фальшивым — громоздкие и дорогие предметы он (не генерал, не высокий офицерский чин, никакой не начальник) вывезти из ГДР, конечно, не смог бы.

Заподозрили, ясное дело, нечто большее, чем обычную контрабанду. Тем более что задержанный мог иметь отношение к военным секретам. Расследование взяли в свои руки следователи из центрального аппарата Лубянки — уже недели через две они вышли на дело, никакого отношения не имевшее ни к шпионажу, ни к поездке в ГДР. Павел Засекин оказался одним из тех двух мастеров, которые делали ремонт у Рябкиных в день, когда произошло убийство. Именно он был главным свидетелем, подтверждавшим алиби мужа. Но какая-либо связь

между этим его свидетельством и попыткой вывезти в ГДР пять тысяч долларов не проглядывалась ни с какой стороны.

Так, однако, только казалось.

Не уверен, что там, в Нью-Йорке, Рябкин знал, какое дело стало раскручивать весьма близкое ему и весьма компетентное ведомство, а тем более — каким боком эта раскрутка коснется его самого. Впрочем, если на самом деле он был в контакте с американской разведкой, та могла бы, наверно, про эту тайну узнать и предупредить его о грозящей опасности. Теперь вполне очевидно: не предупредила. Возможно, и в самом деле не знала. Или просто не увидела связи между пустяковейшей контрабандой заурядного техника и судьбой своего агента. А то и вовсе не представляла, насколько тесно и чем именно повязаны эти люди друг с другом. Сомнительно, но истину мы вряд ли узнаем.

Факт остается фактом: пока раскручивалось дело о контрабанде, Рябкин продолжал выполнять все свои функции — легальные и нелегальные, — а компетентное ведомство не спешило его информировать о том, в какие тайны проникло. Держало, так сказать, на прицеле. Но, как мы знаем теперь, не удержало.

Куда уж было воентехнику низкого звания тягаться с многоопытными колольщиками лубянской выучки! Упирался Засекин недолго — вскоре признался, что пять тысяч дал ему Рябкин, заказав убийство неверной жены, каковое он, не особенно мучаясь совестью, осуществил на пороге того гастронома. Место, время и способ убийства заказчик и исполнитель выбрали вместе. Долго присматривались, все хорошо просчитали и нисколько не сомневались в том, что никогда не будут разоблачены.

Киллерство, то есть ликвидация человека с помощью наемников, уже было в ходу за океаном, что и побудило, как видно, Рябкина, прибегнуть к «чисто американскому убийству» — способом, который у нас как явление тогда еще не привился. Это теперь оно стало непременным спутником нашей нынешней жизни, а в те годы даже термина «заказное убийство» ни в обиходе, ни в сыщицкой практике не существовало. Предпо-

лагалось, что исполнитель сам убийство задумал, что у него, а не у кого-то другого есть на это личный резон.

Устаревший стереотип, он-то следствие и подвел. На правильный путь оно в принципе вышло сразу, а вот допустить, что замысел осуществлен чужими руками, — такая гипотеза вообще, по-моему, не возникла. Отношу этот упрек и к самому себе: я ведь тоже о подобной версии не подумал, хотя ее-то — правда, по нынешним меркам — и надо было раскручивать в первую очередь. Принял на веру, что Рябкин нуждается в моей помощи. Так ведь правда нуждался. Только — в какой? Вспоминая наши долгие разговоры, я вынужден был признаться себе самому, что фактически помогал ему отрабатывать его версию. В моих вопросах он отыскивал ее слабинку, корректировал, готовил ответы. Уже не для меня, а для тех, перед кем, возможно, придется держать ответ. А я-то, я-то — слюни пустил, восхищаясь его нравственным максимализмом...

Итак, последняя точка поставлена, но разве она в самом деле последняя? Зачем было нужно Рябкину убивать Нину? Почему она прилетела в Москву? Что произошло в их супружеской жизни? И главное — почему сам заподозренный Рябкин не рвался на волю, когда такая возможность у него появилась, а дерзко балансируя на лезвии бритвы, с непонятным упорством противился выезду — ни за что не хотел оказаться как можно скорее вдали от грозившей ему смертельной опасности?

Никакими точными данными я не располагаю, но из разговоров с прокурором (бывшим следователем, который вел дело об убийстве Нины) и с работавшими в Америке дипломатами, что-то слышавшими про эту историю, можно, пожалуй, выстроить схему, по которой развивался лихой детектив.

Видимо, Нина что-то узнала про контакты мужа с американской разведкой или хотя бы в этом его заподозрила. Доносить не стала, но, подчиняясь импульсивному порыву, умчалась в Москву, где был сын и где она чувствовала себя, при отце-генерале, более защищенной. Отсюда ее замкнутость, отсюда поражавшие всех перемены в образе жизни, отсюда подавленность, которую она не афишировала, но и скрыть не могла.

Занять на Западе прочное положение Рябкин еще не успел — сначала было нужно его заслужить, оказаться же просто невозвращенцем ему не хотелось. Вернувшись домой, он, мне кажется, сумел жену убедить, что любовь его неизменна, что семья дороже всего остального, что ради ее сохранения он откажется от своих намерений. Сам приезд в Москву вслед за ней — приезд, сопряженный с реальным риском разоблачения, — служил доказательством подлинности его заверений и убеждал в прочности их союза. И она поверила: отказавшись от дальнейшей карьеры, он готов был, по его словам, начать жизнь с нуля — здесь, в Москве, и непременно втроем. С ней и Сережкой...

Задумал ли он заранее, еще в Америке, убийство жены, чьим заложником вдруг оказался? Для того ли он прилетел? Или мысль об этом пришла к нему уже здесь, когда он нашел исполнителя? Значения это в общем-то не имеет, и, честно говоря, я не стал бы рассказывать об этой липкой истории, которая к тому же не имела для меня однозначно обозначенного финала, если бы не одна деталь, выходящая за рамки конкретного сюжета.

Все поступки Рябкина, о которых я рассказывал, противоречат логике поведения человека, оказавшегося в его положении. И прилет в Москву — навстречу опасности, и упорное отрицание самых правдоподобных версий убийства, способных отвести подозрение от него самого, и (главное!) категорический отказ вернуться в Америку и тем самым спастись от висевшего над ним смертного приговора — разве так должен был вести себя человек в заданных обстоятельствах?

Только так и должен — жизнь показала, насколько точным был его выбор! Выбор человека, знавшего ход мыслей той среды, к которой сам принадлежал, и следовавшего этому ходу, но с точностью наоборот...

Абсолютно логичная алогичность поступков — вот уникальная особенность этой истории, позволившая преступнику избежать наказания и всех обвести вокруг пальца. Подхвати он версию об убийстве на почве любовной, и его заподозрили бы, что он намеренно ведет следствие по ложному пути. Согласись он сразу на предложение вернуться в Америку, оставаясь при этом подозреваемым в совершении убийства, — укрепил бы

своей поспешностью позиции тех, кто его подозревал. А если, рассуждал он, наверное... Если что-то дошло до Москвы про его связи с американцами?.. Тогда готовность ухватиться за протянутую ему соломинку выдала бы его с головой.

Толковый был человек, этот Алеша Рябкин — неплохой психолог и замечательный лицедей. Вспоминаю, каким обаятельным он мне показался, с каким артистизмом разыгрывал сложную роль, как растрогала меня его грусть, с какой искренней теплотой обнимал я его на прощанье — если на эту удочку попался запросто я, то почему не могли и другие?

И — совсем уж бредовая версия! Бредовая? Как сказать... Жизнь «двойника» не подвержена тем законам, по которым живут обычные люди. Иногда мне кажется, что хозяева в Москве вполне допускали, кто настоящий убийца, и, возможно, считали, что ради большой игры, в которую тот вовлечен, этим можно и пренебречь. А то и вовсе — по каким-то, нам не известным, причинам — не видели ничего плохого в том, что не слишком желанный свидетель таким путем устранен. Оттого и закрывали глаза на пятно в его биографии: шпионская афера, к которой он был причастен, наверно, стоила того. Разоблачение Зацепина и цепочка, которая стала разматываться, могла вынудить Лубянку прервать «операцию» и лишиться агента. Для него это значило только одно: полный и вечный крах. Перестав быть нужным Москве, он утратил бы интерес и для Вашингтона. Впрочем, все это домыслы, плод не слишком богатого воображения. Никакой достоверной информации у меня нет и скорее всего не будет.

Чем в точности завершились сюжетные линии героев той злополучной истории — этого я тоже не знаю. Сочинять не хочу.

Прокурор сказал мне, что Засекин на двенадцать лет отправился в лагерь, — значит, он давно уже на свободе и, если жив, вполне вписался, возможно, в нынешние реалии, которые, пусть и не слишком успешно, он сумел предвосхитить: киллеров нынче ценят и платят им хорошо.

О судьбе человека, который здесь назван Алексеем Рябкиным, наши службы молчат: это был их жестокий провал, а о провалах рассказывать не очень-то принято. Громким шпио-

ном он, как видно, не стал (и, наверное, не был), иначе я хоть что-то о нем бы узнал — пусть не из российских, а из западных медий.

Зато человек, с телефонного звонка которого начался этот рассказ, в конце восьмидесятых неожиданно встретился мне в московском Доме кино: уже совсем не обмякший, а очень даже вальяжный, он вполне по-свойски, как давний приятель, беседовал с моим, ныне покойным, другом Саввой Кулишом и немного смутился, когда я к ним подошел. Но быстро взял себя в руки, оставшись в роли свойского парня, которую умело играл в толпе собравшихся на какую-то кинопремьеру. Отведя меня в сторону, прошептал как опытный заговорщик, вышедший сухим из воды:

— В неплохую историю мы с вами едва не вляпались!.. Хорошо, что все уже позади.

Конечно, я мог бы напомнить, что я — лично я! — ни в какую историю не вляпался, пусть даже только «едва», что в рамках закона выполнял всего лишь свой адвокатский долг, независимо от того, по чьей рекомендации мне достался клиент и какую тот вел потайную жизнь, а вляпался, видимо, он, незадачливый конспиратор, до чего мне нет ни малейшего дела. Но желание получить хоть какую-то новую информацию победило — вступить с ним в перепалку не стал, как не стал вести спор лет за двадцать до этого, когда тот упоенно пел про гуманную миссию советских танков, раздавивших пражскую весну.

Информация оказалась куцой, но все-таки не бесполезной. Свой рискованный прилет в Москву Рябкин затеял якобы лишь для того, чтобы в сложной «многоходовке» всем заморочить голову и суметь вывезти в Америку сына. По каким-то причинам того к родителям не выпускали, вопреки тогдашним правилам, позволявшим малолетним детям сопровождать маму и папу в долгосрочную командировку. Подозревали Рябкина уже и тогда? Сомневались в его благонадежности? Или дед-генерал был настолько влиятелен, что мог удержать внука, в котором не чаял души?

Практического значения ни эти вопросы, ни ответы на них уже не имели, но финал эпизода, о чем мне тоже поведал мой

загадочный собеседник, был неожиданным. Став взрослым, поняв, жертвой каких кровавых интриг оказался он в детстве, сын убитой и убийцы не пожелал оставаться там, куда с такой виртуозной хитростью сумел его вывезти папа, и вернулся домой. На пепелище, ибо ни деда, ни бабки к тому времени уже не было в живых.

Именно это — пожалуй, в сущности, только это — лишает меня возможности назвать подлинное имя беглеца и убийцы, ибо носит его и ни в чем не повинный Сергей, который, как я понимаю, не имеет никакого желания рассказывать про свои одиссеи. Назвал бы, правда, притом с удовольствием, имя того хмыря, чьему старанию я обязан вхождению в это дело. Погружению в помойную яму, если точнее. Но его-то имени как раз и не знаю. Да и знал ли когда-нибудь, хотя бы фальшивое?..

Позже спросил у Саввы, с кем это он разговаривал в Доме кино — так приветливо, едва ли не дружески, терпеливо снося его пошлую фамильярность?

— Понятия не имею, — огорошил меня Савва. — Один из тех, кто трется тут постоянно. Лицо вроде знакомое... Сказал, что встречались где-то в Европе. Все возможно, мало ли с кем я встречался. Отшить неудобно, имя спросить — наверно, соврет, не моргнув. И на что мне оно, если подумать. Слушай... — Савва улыбнулся внезапно пришедшей мысли. — Ведь в анонимности стукачей смысл все-таки есть. Имена носят люди. Люди — не функции. А эти пусть и останутся безымянными, поскольку ни на какое имя они все равно не тянут.

ЧЕРВИВОЕ ЯБЛОКО

Анна Григорьевна Бережная возглавляла в крупном краевом центре уникальное для далеких тех лет заведение. Женский рай! Но пробиться к его услугам, едва этот рай возник, сразу же стало недостижимой мечтой.

Сегодняшние читатели, если только они не слишком почтенного возраста, даже представить себе не могут, какой переворот в сознании произвели эти, вспыхнувшие вдруг, очаги здоровья, которые попали в ведение органов коммунального хозяйства и получили, по неистребимой совковой тяге к натужному и безвкусному пафосу, название салонов красоты. Сначала, как водится, они были созданы в Москве и Ленинграде, в столицах союзных республик, потом очередь дошла и до иных городов, входивших в обойму так называемых промышленных центров. Из братских стран, где тамошние революционерки и пролетарки еще не успели забыть, что они — пусть хотя бы по совместительству — принадлежат к прекрасному полу, доставлялись массажные щетки, ароматные кремы, благодатные порошки для ванн, которые руками специалистов превращались в награду женскому населению за изнурительный труд во благо любимой державы.

Салонами, да к тому же еще красоты, эти скромные кабинеты по уходу за лицом и телом стали, наверное, оттого, что никакого другого подходящего термина в словаре не оказалось: ведь слова появляются лишь тогда, когда они могут обозначить нечто реальное, когда есть в них потребность. Не было

потребности — не было и слова. Да если бы и была, могла ли осуществиться? Кто-то, в самых верхах, должен был вспомнить, что и советская женщина, в конце-то концов, не только рабочая сила, но и живое существо, которому хочется снять усталость, иметь привлекательный облик, сохранить как можно дольше свежую и гладкую кожу. И что эти желания ни в коем разе не служат препятствием борьбе за мир во всем мире.

Поскольку салон на весь город был только один, то и достались его блага отнюдь не ударницам коммунистического труда, как об этом трубила местная пресса. Нет, нет, ударницам тоже достались, но только таким, кого крайком, горком и райкомы снабдили талонами на право омолодиться и придать увядающему лицу какой-никакой товарный вид. Роль ударниц исполняла главным образом родня боссов высокого ранга, их тайные подруги, подруги подруг... Ну, еще «нужняки» — особы женского пола, занимавшие ключевые места в городском снабжении или сервисе. Но и таких было все-таки меньшинство. Большинство же клиенток составляли сами партийные тети, как и жены партийных дядей, сразу прибравшие этот оазис к своим цепким рукам.

В кресло директора Анна Григорьевна попала, пройдя суровую трудовую школу. Несколько лет была маникюршей, пока супруга какого-то секретаря, вполне довольная обработкой своих ногтей и оттого благоволившая ей, не надоумила мастерицу ножниц и лака подать заявление в партию. Маникюрши проходили у нас по разряду рабочих, то есть в передовой отряд их зачисляли без квоты как истинно пролетарский кадр. Обзаведясь партбилетом, Бережная тут же превратилась в чиновницу — стала заведовать парикмахерской. И двинулась дальше. Притом настолько стремительно, что уже через два с чем-то года возглавила банно-прачечный трест: начальник, номенклатура горкома! Отсюда начиналась прямая дорога в ряды партаппаратчиков или в верха исполнительной власти. Хотя бы лишь городского масштаба. И тут, совсем неожиданно — приглашение, то есть попросту назначение, в какой-то там салон красоты: явное понижение, пусть и с той же зарплатой.

Слово «директор» звучало не так впечатляюще, как слово «начальник», да и по кадровой шкале, это мне потом объясни-

ли, салон был ниже треста даже не на ступеньку, а на две или три. Но Анна Григорьевна строго блюла дисциплину — партия лучше знает, где ей надо трудиться! Выгоды сразу не осознала, но подчинилась. Заломила, однако, высокую цену — компенсацию моральных потерь: трехкомнатную квартиру с балконом в новом комфортабельном доме. Дом строился на окраине — конкурентов того же уровня было не так уж много, хотя выход в парк и прямой спуск к реке с лихвой возмещали удаленность от центра. Она не знала еще тогда, как ей пригодится эта география нового дома, оттого и ордер на вселение (сама же его добивалась!) восприняла не как подарок, а как скромный аванс за те хлопоты, которые она согласилась взвалить на себя.

Дело шло к сорока годам: возраст самый-самый карьерный. Еще немного, и о солидной должности можно будет забыть. И тогда? Ни семьи, ни служебного взлета... Мужа не было — были друзья. Кстати, мужа не было никогда, хотя память о том, кто мог бы им стать, воплотилась в дочери Ирме, теперь уже девятнадцати лет, студентке третьего курса пединститута. Не только дочери, можно добавить, но еще и подруге! Это был предмет ее гордости: Бережная хвасталась тем, что дочь сызмальства называет ее только по имени. Никаких мам, никаких дочек: Ирма и Аня. Гляделись, как сестры...

По отдельным намекам, которые много позже донеслись до меня, Анна Григорьевна не гнушалась маленьких сувениров. Весьма щедрых, если мерить провинциальными мерками, — на них не скупилась ее клиентки. Те самые, что раз от разу молодели все больше и больше. У всех на глазах. После каждого очередного сеанса. Вообще-то вельможность этих клиенток могла бы избавить их от унижительных подношений. Ведь Бережной положено было их молодить по долгу службы. Их — прежде всего. Но они не чинились, унижением сувенир не считали: долг долгом, а дефицитная сумочка никому еще не мешала. И набор деликатесов никому не мешал. А уж деньги в конверте — просто деньги, без всяких затей, — они-то тем более.

Никто никогда не поставил в укор директрисе то, что законники называли поборами, или еще грубее — взяткой долж-

ностному лицу, каковым Бережная, несомненно, была. И могла бы она, наверно, без всяких потерь продолжать в том же ключе свою полезную деятельность, нежа тела и лица знатных дам краевого центра и получая взамен не только зарплату, но и очень существенную прибавку в виде тех сувениров. Душе, однако, обрыдла уже и эта рутина. Влекли совсем иные просторы.

Мысль, которая стала все чаще ее посещать, лежала вроде бы на поверхности, но казалась не просто оригинальной — взрывной! Почему, собственно, красота, в советском, конечно, ее понимании, должна быть уделом одних лишь женщин? Разве наши мужчины, синим пламенем горящие на работе, — так жестоко горящие, что в цветущем возрасте дряхлеют и увядают, — разве они не достойны внимания и заботы? Разве они не нуждаются в поддержке искусных рук и целебных зелий? Поделившись столь свежей мыслью с супругой одного большого начальника, она встретила полное понимание. Понимание не только супруги, но и самого большого начальника, что гораздо важнее. И открыла мужской зал, на дверях которого не было никакой таблички, ибо наводить красоту партаппаратчикам и номенклатурщикам сильного пола считалось почти неприличием. Красоту — именно этим высоким товарищам, поскольку зал был задуман и фактически действовал только для них: близкое общение с отцами города, с другими влиятельными людьми в столь неформальной и дружеской обстановке — оно-то и было единственной целью новаторской акции Бережной.

Затея полностью удалась. Зачастили знатные гости. Рекламу делали жены, они же блюли конспирацию: патент на красоту должен был сохраниться (и сохранялся!) лишь для узкого круга. Но и это вскоре приелось, тем более что никаких дивидендов, в смысле новых постов, помолодевшие клиенты высокого ранга Бережной не предложили: она вполне их устраивала на этом именно месте. Тогда мысль заработала снова, озарив ее идеей похлеще.

Сеанс возвращения в молодость (процедуры своего салона Бережная иначе не называла) непременно требовал продолжения. Кто из людей, знающих в жизни толк, после бани спешит на работу? Или в лоно семьи? Знатоки банного отдыха — как

они поступают? Из парилки — сначала в истому предбанника... Пиво с раками, чай с вареньем (что там еще? я не знаток...) — это же просто святое дело. Но чем салон Анны Григорьевны хуже какой-нибудь бани? Разве и он не побуждает расслабиться? Отдохнуть после сеанса и душой, и телом? Почувствовать прилив новых сил?

Так и созрела мысль о постпроцедурном отдыхе — в интимной, располагающей обстановке. С негромкой музыкой, не бьющим в глаза освещением, с уютными креслами и диваном, с легкой закуской. Не обязательно даже закуской — вина и фруктов на юге сколько угодно.

Опускаем подробности — как выбивались фонды, как расширилось и без того не тесное помещение, как появилась новая должность для obsługi отдельного кабинета, окрещенного без всяких затей, скромно и непритязательно: просто буфет. Вакантную должность буфетчицы, по штатному расписанию — санитарки, заняла Ирма. Сохранение тайны было таким образом гарантировано. Косметологов превратили в заложников: каждый месяц они получали добавку к зарплате — в конвертах. Так что утечка информации салону красоты не грозила.

Популярность буфета оставалась в рамках его реальных возможностей. Контингент посетителей существенно не расширялся. Клиент мог и не знать, что допуску в элитарный круг предшествовал тщательный сбор материалов о его подлинном общественном весе и умении держать язык за зубами. Без двух-трех секретных рекомендаций от уже приобщенных вход в буфет новичкам был напрочь заказан.

Ничего преступного, даже — скажем так — аморального в посещении салона и особых его помещений, разумеется, не было. По советским критериям — тоже. Гость отдыхал, проводя время за милой беседой (всего лишь беседой!) с мамой и дочкой, притом, случалось такое, его сопровождала жена, которую тоже приводили в порядок, когда неге и ласке предавался он сам. Так что моральный кодекс советского человека соблюдался строго и пунктуально. Даже стерильно, если хотите. В очаровательном дамском обществе, под мелодичную музыку и шуточные тосты, в свободном трепе, никогда не касавшемся служебных дел и прочих запретных тем, высокий

гость еще проводил какое-то время и лишь тогда возвращался к постылой работе — ублаженный и окрыленный.

Никто не знает в точности, когда именно и в связи с чем Бережную осенило уже суперидеей. Похоже, после того, как разомлевший от теплой ванны и холодного пива секретарь одного из райкомов положил глаз на Ирму. Скорее всего, потому, что положить в том буфете глаз на кого-то другого было нельзя за отсутствием самого объекта. Хотя, возможно, и потому, что Ирма действительно ему приглянулась. Но ничего большего, кроме как положить глаз, он в условиях, там имевшихся, позволить себе не мог. А секретарь этот состоял еще и в членах бюро горкома. Был вхож в кабинеты руководящих товарищей краевого и республиканского уровней. Перспективный клиент, говорила о нем Бережная. Оставить перспективного неутоленным означало проявить величайшее легкомыслие. Зато можно было и даже нужно взбодрить еще круче его аппетит.

Проблема решалась простейшим образом. Не случайно же интуиция подвигла Анну Григорьевну выбить себе трехкомнатную квартиру на живописной городской окраине, подальше от любопытных взоров. Две комнаты из трех и стали теперь не просто буфетом, а буфетом с приставкой «спец» — для самых избранных из числа уже избранных. Сюда — сначала, действительно, после сеанса омоложения, но вскоре уже и без всяких сеансов, просто по зову души (и тела!), — прибывали, предварительно сговорившись с хозяйкой, разные городские тузы. Не скопом, а порознь. Прибывали, чтобы отойти от повседневной текучки, расслабиться и побалдеть. В приятном обществе Ирмы проводили час-другой и, расплатившись, покидали этот гостеприимный и любвеобильный приют.

Платили, впрочем, не все: для секретарей крайкома-горкома и для самых высоких, по краевым опять-таки меркам, милицейских и прокурорских чинов услуги предоставлялись бесплатно. Для всех остальных существовала твердая такса: от ста до ста пятидесяти рублей — в те времена, не в столице к тому же, такой была совсем неплохая месячная зарплата. С лиц, которых позднее, во времена свободы и демократии, причислят к кавказской национальности (Бережная звала их по-свое-

му: «жорики»), сдирали даже по двести. Богатело заведение — рос его штат. Общество молодых дам, приветливо встречавших дорогих гостей, постепенно расширилось. Вместе с Ирмой или вместо нее посетителей привечали подруги из пединститута — студентки: в совсем недалеком будущем воспитатели юной смены. Высокий тариф спецбуфета позволял им существенно пополнять свой скудный бюджет.

Однажды случился конфуз. По каким-то непредвиденным обстоятельствам ни Ирма, ни одна из ее боевых подруг не смогли встретить очередного гостя. А гость оказался из самых-самых. Из тех, кому не скажешь: «Заезжайте в другой раз». И Анна Григорьевна, не посрамив чести своей заслуженной фирмы, достойно сыграла не только за саму себя — хозяйку почтенного заведения, но и за Ирму, и за других красоток. Выхода не было — пришлось тряхнуть стариной... Ирме похвасталась, что гость остался доволен, так что незачем ей особенно задирать нос.

О строгой конспирации говорить уже не приходилось. Если соответствует истине давняя максима: «Тайна, которая известна хотя бы двоим, уже не тайна», а истине она, разумеется, соответствует, то тайна о спецбуфете, известная десяткам людей, уже перестала быть тайной. Бережная вошла во вкус: деньги текли не ручьем, а потоком, никакого карьерного роста ей уже было не нужно, она, безусловно, себя обрела и оказалась на своем подлинном месте. С Ирмой получилось сложнее. Ей надоело быть на подхвате и набивать материнский карман. Пора, так она полагала, открывать свое — такое же — дело. С еще большим размахом, с привлечением свежих, полных энергии сил. Запахло конфликтом, но — не надолго. Мать и дочь снова нашли общий язык: не поссорились, напротив, решили действовать сообща, помогая друг другу.

Единственной помехой служил квартирный вопрос. Удалось решить и его.

Дело в том, что вольная Ирма успела уже испытать бремя супружеского союза. В восемнадцать лет пошла под венец, притом не только в образном смысле. Мать запросто могли за это изгнать из рядов, но пронесло: у нее были уже в верхах

покровители — предпочли не заметить. Брачные вериги Ирма несла всего-навсего несколько месяцев, потом это бремя ей надоело, и она вернулась под материнский кров, не оформляя развода. Теперь оказалось, что постылый супруг мог еще пригодиться.

Супруг, Павел Готов, успел уже стать кандидатом наук — трудился в сельхозинституте, занимаясь выведением новых сортов кукурузы, и тоже делал карьеру: шел прямым путем к профессорству. Жил с матерью-пенсионеркой в просторной квартире, новой женой не обзавелся и, что в данном случае важнее всего, продолжал тосковать по Ирме. План, созревший в ее голове, требовал возвращения к мужу, раскаяния за легкомыслие и клятв в верности тому, чьи пылкие чувства она своевременно не смогла оценить. И раскаяние, и клятвы — с женою в придачу — муж получил. Примирение состоялось. Первый акт задуманной пьесы осуществился в полном соответствии с замыслом автора. После небольшого антракта предстояло задействовать акт второй.

Занятый своими делами и вполне довольный счастливым поворотом событий, Павел легко примирился с тем, что Ирма продолжала трудиться санитаркой-буфетчицей в по-прежнему недоступном для «улицы» салоне красоты, пополняя семейную кассу совсем неплохими деньгами. Еще того больше: свекровь, вопреки своим же протестам («зачем мне это, старухе?!»), однажды получила по родственной линии доступ в общий отдел салона, насладились бесплатно его дарами и, воспылав тягой к прекрасному, сменила свой гнев на милость — простила невестку за былую измену. Счастье и мир окончательно вернулись в семью.

У свекрови болели ноги, она перенесла уже несколько травм и ходила, опираясь на палку. И с сердцем у нее тоже давно были проблемы. Поэтому не вызвала особого удивления печальная весть о внезапно постигшем семью несчастье. Едва искусные руки салонщиц привели в порядок лицо свекрови, как омоложенную старушку нашли утопившейся в ванне. Пыталась, как видно, залезть в нее, когда в квартире не было никого, споткнулась — случился сердечный приступ. Упала в воду вниз головой и захлебнулась. Никаких следов насилия на

теле обнаружено не было. Снятая перед купанием одежда, аккуратно прибранная, находилась там, где она всегда ее в таком случае оставляла. И домашние тапки лежали там и так, где и как им должно было лежать, когда бабуля принимала ванну. Смерть от несчастного случая — таким был итог медицинской и милицейской проверки.

За вторым актом последовал третий. Но не сразу, не сразу... Ирма унаследовала от матери выдержку и терпение: антракт затянулся. Это тоже заранее было продумано. Но слишком долго он все-таки длиться не мог. Уехав с подругами в краткий отпуск (стоял жаркий июль) и вернувшись через несколько дней, она застала леденящую кровь картину: бездыханный муж лежал на полу возле накрытого для трапезы стола, зажав в руке ножку стула, который свалился, видимо, вместе с ним. Врач констатировал смерть, наступившую не менее, чем за семьдесят два часа до обнаружения трупа. То есть за трое суток. И не более, чем за девяносто шесть. То есть за четверо. Ирма отсутствовала все шесть: ее алиби подтвердили многочисленные подруги, неразлучно проводившие с ней эти дни на ближних морских берегах; хозяйка квартиры, где всей веселой компанией снимали они две комнаты; билеты на поезд — туда и обратно.

Экспертизу проводил главный судебно-медицинский эксперт — не города, а всего края. Выше некуда: не вызывать же по такому — для криминалистов вполне заурядному — делу московских светил! Ни следов насилия, ни следов отравления эксперт не обнаружил: просто инфаркт. Подозрение в убийстве, однако, осталось. Стол был накрыт на две персоны — перед смертью муж и кто-то второй выпили и закусили. Судя по остаткам еды, трапеза длилась изрядно. Ни в одном блюде (салат, рыба, куски отварного мяса и прочая нехитрая снедь), как и в водке, которая осталась в бутылке, никаких отравляющих веществ не нашли. Ни на бутылке, ни на посуде не нашлось и пальцевых отпечатков — кроме Павла, конечно.

Таинственный гость исчез и никаких сведений о себе не оставил. Ради кого же, в отсутствие жены, Павел решился покулинаруить? Встретил гостя не по-холостяцки, не абы как, а с несомненным почетом? Круг претендентов в убийцы был достаточно узок: разве что кто-нибудь из коллег, скорее всего не

рядовых, видевших в нем опасного конкурента. Близость старшей Бережной к влиятельным лицам вполне могла обеспечить способному кандидату наук путь в руководящие научные кадры. К тому же — такая деталь: по совету разумной и опытной тещи он только что, скрыв про венчание, тоже подался в передовой отряд советских трудящихся. Еще принят не был, но прошение уже написал. Влекомый идейным порывом? Да кто бы в это поверил?! Порывом — да, но карьерным. Другим соискателям кадровых мест вполне мог перейти дорогу. Теоретически мог, но кому?

Результатов поиск не дал. Следствие приостановили за отсутствием конкретных подозреваемых и за доказанным алиби Ирмы. Так бы и осталось оно, скорее всего, без движения, если бы мать и дочь Бережные, уверовав в несокрушимость своей счастливой судьбы, не дали маху. Впрочем, главный прокол допустила, конечно, Ирма. Ей не хватило материнской закалки и хладнокровия. А главное — разумной готовности чем-то и поступиться, в чем-то себя ограничить, чтобы не загреметь.

Одна из подружек-студенток, самая обольстительная, самая востребованная и потому претендовавшая на роль звезды спецбуфета, попросила прибавки. Пожелала поднять тот процент от оплаченных клиентом услуг, который ей отстегивала хозяйка. Не за всех хлопотала, а лишь за себя, ибо считалась заслуженной — в труппе, где все остальные артистки без званий. Просто массовка. Ее притязания Ирма отвергла: привилегиям — нет! Никаких заслуженных и народных, у всех единый процент. Равенство — залог справедливости. Несокрушимые и вечные лозунги демократии стояли, как им и положено, на страже интересов кармана. Но не устояли.

Жадность фраершу сгубила! Это меткое правило, на котором ловились и ловятся фраера, никаких исключений не знает.

Жестоко уязвленная несправедливостью, звезда спецбуфета Лариса Чурикина настрочила самый обыкновенный донос и отправила его прямо в Москву, минуя краевые инстанции, ибо доподлинно знала, что все они у Бережной на крючке. Даже весьма возможную перлюстрацию, и ту предусмотрела: письмо

было опущено в смежном с краем городке, то есть в другой области, и значит, не могло попасть под контроль краевых спецслужб — осторожность не помешает. По своему позднейшему журналистскому опыту знаю доподлинно, что в этом крае, как и в ряде других, все письма в центральные проверяющие инстанции непременно читались спецслужбами и об их содержании тут же докладывалось крайкому. Точнее, Первому в нем.

Письмо Ларисы попало по адресу: в Комитет партийного контроля при ЦК КПСС. Необычный для таких случаев выбор адресата говорил о том, что скорее всего не сама буфетная звездочка, а ее советчики и консультанты хорошо разбирались в сложной иерархической системе многочисленных советских инстанций. Комитет партконтроля действительно не был связан той круговой порукой, которая опутала уже тогда сверху донизу все прочие органы проверок и надзоров. Словом, знала, куда писать и где опасность прокола была наименьшей: Комитет партконтроля крайне редко отфутболивал жалобу тому, на кого жаловались. А возможно, и вообще не отфутболивал, если речь в ней шла о партийных органах или партийных членах.

Жаловалась Лариса отнюдь не на то, что прикрыли дела о подозрительной гибели сына и матери Глотовых. И, естественно, не на то, что ей занизили ставку. И даже не на то, что на окраине города существует и процветает подпольный бордель. А всего лишь на то, что, созданный для поддержания сил пролетарок-ударниц салон красоты предоставляет услуги лишь избранным, прежде всего женам партийной верхушки, а его директриса злоупотребляет своими полномочиями «при попустительстве, но скорее всего покровительстве» этой же самой верхушки.

Удар был прицельно точным: такие «штучки» региональных парторганов на Старой площади не любили. Проверка по этой части относилась вполне (и только!) к компетенции Комитета партийного контроля. Его сотрудники не зависели ни от каких иных, не только местных, но и центральных, структур. И обладали огромной властью. Проверя невинные с виду факты, о которых информировал Москву поступивший донос, контролеры не могли миновать и того, про что в доносе прямо

не говорилось. По точно просчитанной доносчицей логике, им неизбежно предстояло проникнуть самим в буфетные тайны.

Так оно и получилось. Выехавший в крайцентр инструктор со Старой площади (их, помнится, называли партследователями) сразу вызвал следственную бригаду из прокуратуры Союза. Формально, конечно, не вызвал, а попросил вмешаться и провести расследование, но — не будем держаться буквоедской терминологии бюрократов: что значила просьба, исходившая из КПК, понимают, я думаю, даже те, кто вырос уже в другую эпоху. После того, как не стало ЦК с его КПК.

Захлопнулись для Анны Григорьевны двери крайкома, горкома, райкома. Благодарные клиенты и клиентки, вчера еще наносившие визиты в «спец» и не в «спец» с сувенирными пакетами под мышкой, разом вдруг испарились, словно их и не было вовсе. Как отрезало! Все затаились. Ждали грозы. И она не замедлила разразиться.

Следствие возобновили — его вела теперь бригада следователей по особо важным делам генеральной прокуратуры (тогда Прокуратуры СССР). В том, что речь идет о двойном убийстве, никакого сомнения у московских товарищей не было. Как и в том, что к нему причастна Ирма Глотова-Бережная. Санкцию на обыск в квартирах и дочки, и мамы дал заместитель прокурора Союза. Бандерши заблаговременно устранили все признаки спецбуфета — свезли на свалку и подожгли диван, кресла и пуфики, одну комнату превратили в чулан, набитый мебельной рухлядью, стоптанной обувью, носильным тряпьем. Никакого воображения не хватило бы представить этот рассадник моли и блох упоительным уголком для любовных утех. Но сохранился, заброшенный в какой-то ящик и затерявшийся там под ворохом никому не нужных бумаг, блокнот с именами клиентов, не относившихся к номенклатурной элите.

Тех, элитарных, она знала без всяких записей, этих должна была запоминать и хоть как-нибудь отличать, чтобы вконец не запутаться. Анна Григорьевна перестала пополнять свой список новыми именами, когда он настолько разросся, что утратил для нее практический интерес. Клиентура мельтешила перед глазами, индивидуальный подход исключался — все на одно лицо. Перестав пополнять, и вовсе забыла о списке: даже

самый предусмотрительный злоумышленник всегда хоть что-нибудь забывает.

Любопытны не имена. И даже не должности завсегда. А те приметы, по которым иные из них значились — для памяти — в том избобличительном списке.

Ч. — ректор мединститута, профессор, д.м.н. (доктор медицинских наук — *А. В.*). Сам принимает в студенты (резервный фонд ректора). Не торопится. Сеанс 2 часа.

Я. — член (видимо, КПСС. — *А. В.*), с высшим образованием, директор таксопарка. Машина круглые сутки, через пять минут (приводится номер телефона. — *А. В.*). Пароль: «Белый пудель» (зачеркнуто. — *А. В.*) «Черный бульдог». (Явный знак собачьих пород. Для провинции редкость. Вот что значит высшее образование! — *А. В.*)

Э. — председатель колхоза. Вмятина на лбу. Вино, мед, дыни, арбузы.

Л. — кандидат педнаук, приемная комиссия пединститута. Гнусавый дурак. Завалил Светку. (Один из ярких эпизодов будущего процесса: «гнусавый дурак» рассказывал, как он поставил двойку студентке Светлане, а потом, не помня зла, так любезно угощала его в спецбуфете. Не слинял, не сгорел от стыда, а расплатился по таксе и тут же, без уговоров, по своей доброй воле, переправил двойку на четверку. Уже назавтра запросил в деканате экзаменационный лист, внес и там исправление. Потом этот лист с его собственноручной поправкой попал в дело как вещественное доказательство. Приходил еще не раз, договорившись с Бережной, что она ему подберет хозяйшечек, столь же очаровательных, но из других институтов. Совесть заела? Или страх завалиться? — *А. В.*)

Т. — жорик. Начальник снабжения КБО (комбината бытового обслуживания. — *А. В.*) Раньше вместе работали. Скидка.

С. — экспедитор. В кепке. Не торгуется. Любит всех, кроме Вальки (одна из студенток. — *А. В.*). Засыпает с ходу и сразу храпит.

У. — лауреат (чего? — *А. В.*). Игла в жопе. Раз-два и готово. «Давай, давай!» (Видимо, в смысле: «Скорей, скорей!» — *А. В.*)

Ч. (еще один Ч. — *А. В.*) — замдиректора театра. Достанет все из-под земли. Чернявый. Одевается модно, культурно.

Водка с лимоном (наверно, любимый напиток чернявого. — *А. В.*).

Б. — малограмотный. Оттуда (? — *А. В.*). Фикса. Печатка (перстень. — *А. В.*) на левом мизинце.

П. — культурный, со следами оспы. Просит салфетки.

З. — культурный, красивый, имеет «Волгу». Покрасил в желтый цвет. Канарейка.

С. (еще один *С.* — *А. В.*) — жорик. Культурный, высокий, приезжал на ГАЗ-69. Только Лариску!

Ю. — литовец. Картавит. (Что смешнее всего: дочь картавого литовца сама входила в группу красавиц-студенток, ублажавших гостей спецбуфета. Папа об этом, конечно, не знал. Чтобы не было у него никаких подозрений, принимала литовца — по полной программе — исключительно и всегда сама Бережная. Все это я узнал уже во время суда. — *А. В.*)

Н. — бочка с пузом. Скрывает, что батюшка. Ну и дурак! Торгуется до и после. От *Н-ина* (крупный милицейский чин, его рекомендовавший. — *А. В.*). Вино приносит с собой. Бойтся, что отравят. Воняет луком. Угощать самой, никто больше не хочет.

Ну, и так далее — список человек на сорок. Все эти дефиниции привожу смеха ради. Впрочем, почему же для смеха? Они говорят довольно красноречиво и о гостях, и о самой хозяйке. Но важнее всего — для следствия прежде всего — оказалась совсем короткая запись: «**Д.-А.** (двойная фамилия. — *А. В.*) — врач». Если бы просто врач: главный судебно-медицинский эксперт края! Тот самый, который авторитетно и безоговорочно исключил насильственную смерть Глютовых. Сначала — рядовой посетитель буфета. Потом — спецбуфета. А позже — неперменный и персональный гость самой Ирмы, вообще не признававший никого, кроме нее. Ни мамы, ни красоток-подруг. Даже Ларисы — признанной всеми суперзвезды.

Остальное было уже делом несложной следственной техники. Как шли допросы, как раскалывались допрашиваемые, как разматывалась цепочка — обо всем этом легко догадаться, а рассказывать неинтересно. Важен итог.

Итог — в смысле раскопок следствия и выводов, изложенных в обвинительном заключении, — был таким.

На беспомощную — в ванне — свекровь Ирма просто села верхом, схватила за волосы и окунула голову в воду. Так и держала, пока та не захлебнулась. Ликвидация мужа требовала куда больших усилий. Ее приятель и обожатель (при молодой, кстати сказать, и прелестной жене, с которой он пытался бежать, но был отловлен на черноморском курорте) Д.-А. снабдил Ирму пятью ампулами стрихнина и обучил несложной механике употребления. За интимным ужином вдвоем, который Ирма приготовила по случаю какой-то их общей ностальгической даты, она поставила на стол бутылку водки, где был растворен стрихнин. Сама пить отказалась, сославшись на недомогание: предпочла легкое вино. Муж выпил водку, до которой всегда был охоч (на то и расчет!)

Следуя указаниям Д.-А., Ирма влила в горло уже умершему Павлу изрядную порцию уксуса. Зачем, я так и не понял, но — влила: это отмечено в протоколе ее допроса. Наверно, была в этом какая-то хитрость поднаторевшего в подобных делах судебного медика, чтобы увести экспертизу на ложный путь: никто не мог гарантировать, что проведение экспертизы поручат непременно ему. Надев перчатки (потом установили, что и ужин она готовила в перчатках, а приборы, которыми пользовалась сама, заменила другими), Ирма поставила на стол почти опорожненную — обычную — бутылку водки, а ту, что с отравой, как и те, где вино и уксус, прихватила с собой, утопив их впоследствии в море.

Шум в городе был немислимый. Полный переворот! Как могли, старались его приглушить. Но можно ли приглушить гром, раскаты которого докатились аж до Москвы? Партийных шишек кого снимали, кого перевели совсем в другие края. Да и то не всех и не сразу. Кроме крохотной заметки в городской газете, никакой информации о чрезвычайном событии не появилось. Притом в заметке упомянуты были только мать и дочь Бережные, а про всех остальных было сказано, что «совершению преступления способствовали также другие лица, каждый из которых понесет заслуженную кару». Впрочем, в публичной информации и не было особой нужды: народное информбюро прекрасно обходилось без газетных страниц. Все и обо всем знали все.

Дело Бережных и Д.-А. слушала выездная сессия Верховного суда республики: местным товарищам это было, естественно, не с руки, но от них ничего уже не зависело. Профессора Ч. вывели из-под удара, ограничившись снятием с должности ректора: медицинское светило, как же городу без него?!

Ко мне за помощью обратилась родная сестра Анны Григорьевны — она жила в Москве и уже пользовалась однажды моими услугами по одному, вполне ординарному, гражданскому делу. Испытание согласиться было весьма велико. Участие в столь редком по фабуле и громком процессе сулило наверняка массу незабываемых впечатлений. Подпольный публичный дом такого размаха в экзотичной русской провинции собрал галерею интереснейших типов, которым предстояло раскрыться перед судом во всей своей многоликости. Не судебный процесс, а спектакль. Истинный пир для глаза и для ума.

Интереснее была, конечно же, не клубничка, которая перла с каждой страницы многотомного дела, а нравы передового отряда: секретарей, депутатов, героев, лауреатов... Или, проще сказать, ворюг, горлопанов, пошляков, потаскух — образцовых представителей коммунистической морали. Рязглядывать этот виварий со столь близкого расстояния и при столь необычной сюжетной завязке мне раньше не приходилось. К тому же защита Анны Григорьевны заведомо сулила адвокату полный успех. Попытка повесить на нее соучастие в убийстве не удалась: достаточных доказательств следствие не собрало и от этого замысла отказалось. Лично ей могли вменить (и вменили) всего лишь «содержание притонов разврата» — такую формулировку всадили некогда в Уголовный кодекс его безусловно моральные авторы. А эта статья подпадала как раз под амнистию, которую (я доподлинно это знал) должны были вот-вот объявить.

Так что можно было смело бросаться в бутафорный судебный бой, будучи убежденным, что положишь всех на лопатки. Да и никто не отменял непреложное для адвоката правило: он не судья, а защитник, и обязан нести бремя защиты независимо от того, что он сам думает о своем подопечном. Однако чувство брезгливости, которое я не смог в себе подавить, удержало меня от соблазна. О чем я, если правду сказать, сожалел.

Но судьба оказалась ко мне благосклонной. С просьбой участвовать в том же процессе, притом с совсем другой стороны, обратилась и мать одной из подружек Ирмы, которую следствие признало потерпевшей по делу. Студентка первого курса Лиля И. ничем не отличалась от других жриц любви спецбуфета, кроме возраста: единственная из всех, она «к моменту деяния» не достигла еще восемнадцати лет. Это позволило утверждать, что в притон разврата вовлекли ее злонамеренно и что насилие над ней осуществлялось под воздействием алкоголя и шантажа. К тому же, по заключению экспертизы, Лиля впала в реактивное нервное состояние да еще схлопотала в результате буфетных игривщ гинекологическое заболевание. По этим всем основаниям следствие признало ее потерпевшей от преступления, совершенного Ирмой. Правовая квалификация была довольно сомнительной, но определенные основания для такого вывода у следствия все-таки были.

Мать Лили, в прошлом москвичка, научный сотрудник того института, в котором работал Павел Глотов, была родственницей моей давней знакомой: их давлению я сопротивляться не мог. Да и, как сказано, не хотел. Теперь, вместо статуса защитника подсудимой, мне выпал совершенно иной: статус представителя потерпевшей, заявившей к тому же гражданский иск о возмещении нанесенного вреда. То есть фактически — обвинителя. По счастью, обвинителя Ирмы, а не Анны Григорьевны, иначе, после отказа стать ее защитником, я не смог бы вступить в процесс по этическим соображениям.

Вообще-то роль второго прокурора, в которой часто и очень успешно подвизались талантливые мои коллеги, мне всегда была не по душе. Прокуроров, как точно заметил Чехов в одном из писем, хватает и без нас, но «дело о публичном доме» (я так его для себя обозначил) представляло собой исключение. Обвинение этой публики вдохновляло меня куда больше, чем привычная роль защитника подсудимых. Жаль только, что партийная свора любителей буфетных услад не только не попала на скамью подсудимых, но, кроме самых мелких рыбешек, не была даже вызвана как свидетели. Под разными предлогами их просто убрали из дела, поспешно переведя на другие посты, правда,

уже не партийные, в другие края: справедливая советская власть своих не давала в обиду.

По ходу процесса, который шел, увы, при закрытых дверях (против этого как раз возразить было нечего: закон есть закон), мне не терпелось каким-нибудь образом вытащить эту, отодвинутую, упрятанную в тень, сюжетную линию на всеобщее обозрение, чтобы она нашла свое отражение в протоколе. Судья с нарочитой тенденциозностью снимал все мои вопросы, которые могли бы помочь осуществлению этого замысла: нюх у него был первоклассный. Но при допросе Анны Григорьевны мне все же удалось изловчиться. Я спросил, почему она, затеяв опасную игру, была уверена, что сумеет себе подобрать постоянную и надежную клиентуру.

Внешне вопрос не имел никакого отношения к Лилиным интересам, которые формально я только и представлял, но судья его почему-то не снял. Не придал ему, видимо, большого значения. И план мой сработал. Еще до того, как проснувшийся вдруг судья успел стукнуть рукой по столу, Анна Григорьевна с дивным простодушием мне разъяснила:

— Вы думаете, этим товарищам так уж интересно заниматься тем, чем приходится им заниматься по службе? Ничего подобного! Им, как и всем людям, интересно пожить. Выпить, закусить в приятной обстановке, послушать музыку, освежиться. Мужчинам — лапать девчонок. А что? Дело житейское. Как, по-вашему, товарищ с положением может найти девчонку? Как и где? И кого? Ну, разве что свою секретаршу. Не тот товар! Мы помогли им войти в форму и вернуть силы для продолжения своей ответственной работы.

Тут, вопреки всем правилам несения конвойной службы, не удержался от смеха один из конвоиров и пробудил неуставным своим поведением отвлекшегося чем-то судью. Раздался возглас — привычный для этого зала: «Вопрос снимается», но — поздно! Вопрос был задан и ответ произнесен. Хотя и без расшифровки, о каких товарищах идет, собственно, речь. В протокол ни вопрос, ни ответ все равно не попали, такого кошунства судья все же не допустил — я привел их по моей сохранившейся записи. Анна Григорьевна могла позволить себе быть столь отважной: лагерь ей не светил, она это знала, впрочем, как и

карьера, о которой она так упоенно мечтала. Хуже ей быть уже не могло.

Имел на процессе место и еще один смешной эпизод. Допрашивали того эксперта с двойной фамилией — он тоже был подсудимым. Обвинялся не только как соучастник убийства, но и как человек, совершивший тяжкое должностное преступление (представил заведомо лживое заключение, имевшее целью избавить убийц от возмездия). Прокурор с присущей ему прямоотой спросил эксперта, как мог он «ради какой-то юбки» пойти на такое безумство, превратить свои знания врачевателя и исцелителя в способ уничтожения человека. Эксперт ухватился за то словечко, которое ему нечаянно подсказал прокурор:

— Безумство! Вот именно, вы точно подметили. Психиатры знают, что страсть это вид сумасшествия. Может случиться с каждым.

Прокурор (он тоже, как и весь состав выездной сессии, был из Москвы) оказался лихим полемистом. И не позволил эксперту себя переиграть.

— Вы полагаете, что вас могут признать невменяемым? Напрасные надежды!

Приговор суда не принес ничего неожиданного. Ирме грозил (казалось бы!) смертный приговор (двойное убийство). Но к женщинам уже и в те годы почти не применяли эту крайнюю меру. Ирма же и вовсе заранее устранила такую возможность. Подсуетилась... Невесть каким образом, уже находясь в предварительном заключении, сумела оказаться в интереснейшем положении: еще один колоритный штрих в этой, и без того живописной, истории. Не знаю, понесла ли наказание за такой конфуз охрана (начальник тюрьмы? кто-то другой?). И вопрос об этом на суде вообще не вставал. Расстрел беременных закон исключал, а от пятнадцати лет строгого режима отвернется Ирма все равно не могла. Так и случилось.

Что до Анны Григорьевны, то она как хозяйка притонов разврата удостоилась, естественно, осуждения, но была тут же отпущена по амнистии, которая, действительно, состоялась, в чем не было ни заслуг ее адвоката, ни чрезмерной гуманности судей. Автоматика — автоматикой, и ничего больше...

И, наконец, «моя» Лиля была признана судом потерпевшей с правом получения компенсации за причиненный ей вред. Возмещения морального вреда закон тогда не предусматривал, а вред материальный (расходы на лечение) еще надо было подсчитывать и сумму обосновать. И потом доказывать свои претензии в суде при рассмотрении гражданского иска. Большие хлопоты — и все не в коня корм: что — в реальности, не на бумаге — могла бы с зэчки получить потерпевшая?..

После оглашения приговора адвокату, опять же по неписаным правилам, полагалось подойти к той, чьи интересы он представлял, спросить, все ли понятно, объяснить, что предстоит делать дальше. Если нужно, конечно, вообще что-либо делать. Я подошел к Лиле, пока она еще не смешалась с гудящей толпой (приговоры по делам, которые слушались при закрытых дверях, все равно оглашают публично). Сказал, что обжалую приговор, поскольку компенсировать вред, как я полагал, должен был суд, его вынесший, не заставляя потерпевшую все начинать сначала и заново проходить через те унижения, которые с этим сопряжены. Напомнил, по ритуалу, что сделал для нее, как мне кажется, все возможное.


— А кто вас просил это делать? — вызывающе откликнулась она на «ритуальный» мой монолог.

К срывам возбужденных людей после судебного стресса мне было не привыкать. Я и виду не подал, что задет. Мог, конечно, ответить: «Просила меня твоя мать» или что-нибудь в этом роде, но Лилия и сама превосходно знала, кто и о чем меня просил, и дерзкий ее вопрос был вообще не об этом.

— Что ты хочешь сказать? — потребовал я уточнений. — Адвокат защищал твои интересы. Тебя унизили, покалечили. Мы добьемся удовлетворения иска, и тогда ты сможешь лечиться, поехать в санаторий, покупать лекарства...

Я чувствовал, как неуверенно звучит мой голос: пустота этих слов стала доходить до меня как раз по мере того, как я их произносил. Ждал, что она одернет меня горьким и справедливым: «Вылечить меня уже нельзя». Нельзя — хотя бы в смысле моральном. Услышал другое:

— Никто меня не калечил и не унижал. И с головой все в порядке. Уже совершеннолетняя, решаю сама за себя. — Она в



отчаянии махнула рукой, этот жест означал, что мне ее все равно не понять. — Собой хотя бы могу распоряжаться? Я человек или вещь? Скажите, кому все это мешало? Культурная обстановка, все довольны, всегда только «спасибо» и ни одного попрека... Имела деньги, а не сидела у мамы на шее... Могла устроить потом свою жизнь... А кто я теперь? Червивое яблоко: надкусили и бросили. И уже никто не поднимет.

Она смерила меня едва ли не презрительным взглядом и устремилась в коридор вслед за толпой.

СДАЛСЯ ЖИВЫМ

Еще совсем недавно он был крупным партийным работником, работал на Старой площади, то есть в ЦК, имел персональный кабинет с табличкой на двери, где хозяин кабинета обозначался строго по партийному ритуалу: сначала фамилия, потом инициалы. Только так, и никак иначе. Был в этом храме для небожителей далеко не на первых ролях, но там даже четвертые и пятые роли доставались не каждому, а о том, сколько они весили, не приходится говорить. К идеологии наш небожитель отношения не имел, поскольку служил в Административном отделе, в одном из его секторов, который заправлял тем, что называлось у нас правосудием, — ни больше, ни меньше. И это было логично, поскольку Иван Павлович Корольков, по образованию юрист, был даже увенчан степенью кандидата наук. Ученая степень в верхних этажах партаппарата была тогда еще редкостью, нормой она стала гораздо позже.

До начала партийной карьеры он весьма преуспел по своей прямой специальности, дважды оказавшись на солидном посту в военной прокуратуре пребывавших в Германии советских оккупационных войск. Конечно, в ту пору, когда случились события, о которых пойдет рассказ, гигантская армия, там расположенная, уже не считалась оккупационной, по крайней мере формально, а имела, если не ошибаюсь, статус какой-то «Западной группы войск», охранявшей от супостатов братскую социалистическую страну, да и вообще безопасность всего, ис-

ключительно братского, разумеется, соцлагеря. Но она все равно оставалась оккупационной по сути, и мне не хочется следовать громоздкости и лукавству советских формулировок, поскольку вообще не о том речь.

Итак, он был уже бывшим прокурором, бывшим функционером из высшего партийного звена, он вообще, по его же признанию, был полностью бывшим, хотя никто не лишил его партбилета, и пенсию ему отрядили не рядовую, а персональную, с множеством иных сохраненных за ним благ, значивших в ту пору даже больше, чем деньги: пайки в спецбуфете, лечение в спецполиклинике, отдых в спецсанатории и много еще других всевозможных спец... Даже на воинское звание, в котором он покинул армейские ряды, — полковник юстиции, — тоже не посягнули, как и на несколько орденов, неизвестно (мне — не известно) за что полученных. Просто вызвали к заведующему отделом ЦК (по советской иерархии, уже всеми, по счастью, забытой, — должность выше министра), и тот сказал в привычно спокойной и потому не допускавшей дискуссий манере: «Вы, конечно, сами понимаете, Иван Павлович, что с таким пятнышком в биографии...»

Он настолько хорошо понимал это, что явился по вызову с заранее написанным прошением об отставке. Или — на корректном партийном жаргоне: об увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Выслуга лет ему это уже позволяла, хотя пенсионеру было всего-навсего сорок девять. Он раскрыл папку, извлек оттуда свое прошение, и пока бумага еще совершала путь от папки до начальственного стола, тот, кто выше министра, успел вооружиться импортной ручкой с золотым, конечно, пером, чтобы тут же, не теряя времени, наложить на ней свою резолюцию.

И вот бывший ответственный товарищ, но не бывший юрист, оказался в незавидной роли клиента юридической консультации — в камере с фанерными перегородками, служившей сменным кабинетиком для бесед адвокатов и их посетителей, где сам адвокат худо-бедно еще мог расположиться за миниатюрным столом, зато собеседнику приходилось сидеть бочком, а документы, которые он принес, держать на коленях. Но это Королькова, по-моему, не очень тревожи-

ло: потрясение его было столь велико, он был настолько подавлен, что (так мне казалось) находился в отключке и даже на простейшие мои вопросы зачастую отвечал невпопад.

Его сын, почти семнадцати лет, обвинялся в убийстве своего школьного учителя, так что словечко «невероятно», которым он все время комментировал свой рассказ, казалось к случаю вполне подходящим.

Убит был не просто учитель, а учитель особый: Леонтий Ильич Семейко преподавал в школе военное дело. По давно заведенной традиции он в учительском и ученическом коллективе звался военруком. Его труп нашли в школьном тире — с пулевым ранением в затылке: так выглядели обычно черепа казненных, которые стали к тому времени находить в сровненных с землей безымянных расстрельных ямах, — такие кадры раз-другой промелькнули по телевидению, хотя уже близилось низвержение Хрущева, а с ним и конец так называемой лагерной темы и чуть-чуть приоткрывшейся полуправды о великом терроре. Тогда она была пока что в ходу, и, под свежим впечатлением от этих, еще не приевшихся кадров про смерть военрука сразу же в школе заговорили как про настигший его расстрел. За что и кем совершенный — какое-то, казавшееся слишком долгим время это оставалось загадкой.

Первая версия выглядела наиболее вероятной: убийство — грабителем скорее всего, — чтобы завладеть оружием, которое можно было бы потом использовать для грабежей. Но версия эта быстро скончалась: все до одной учебные винтовки, которыми был укомплектован тир, оказались на месте, да и послужить неведомому грабителю они никак не могли. Выстрел же, это сразу установили эксперты, был «произведен из пистолета системы «Дрейзе» (так это отмечено в акте, с точным указанием размера пулевого отверстия), притом пуль не-стандартного образца, но орудие убийства обнаружено в тире не было. Жена убитого сообщила, что никаким револьвером-пистолетом муж не обладал, стало быть и отбирать у него было нечего. Какими-либо данными, опровергающими это утверждение, следствие не располагало. Таким образом, версия о краже оружия отпала фактически сразу. Как и вооб-

ще версия о краже: потерянный бумажник с жалкой трешкой так и остался в кармане его пиджака.

Недолго держалась и версия об убийстве из мести или на какой-либо бытовой почве. Мстить было некому и не за что — хотя бы уже потому, что Семейко был нелюдим, друзей и даже близких знакомых вообще не имел, довольствуясь обществом жены, да еще семьи ее брата, жителя Подмосковья, к которому супруги изредка наезжали по праздничным дням. Детей у них не было. Жена преподавала на каких-то курсах французский язык — Семейко не мог понять ее выбора, который сделала она еще до замужества, укорял за нерасчетливость: «Ты занимаешься совсем бесполезным делом. Твой язык никому не нужен. С Францией воевать мы, скорее всего, не будем, — Гулливер с лилипутами не воюет. Так что ни ты, ни твои курсанты как переводчики не пригодятся». Это была его незлобивая, но почему-то частая шутка: о такой детали, не давшей, впрочем, следствию никакой нити, сообщила еще при первом допросе Нина Ниловна Семейко. На вопрос же о том, не допускает ли она, что руку убийцы направила чья-то ревность, Нина Ниловна ответила с достойной иронией по отношению к себе самой, достойной тем более, что ей было совсем не до остроу: «Вы делаете мне незаслуженный комплимент».

Подозрение не могло не пасть и на школьный коллектив: потенциальными кандидатами в убийцы стали и учителя, и ученики. Для этого были какие-то — если по правде, то совершенно ничтожные — основания. Даже, в сущности, только одно: в преподавательском коллективе, весьма дружном и, что еще важнее, весьма однородном, Семейко выглядел белой вороной. Ни с кем, буквально ни с кем, у него не нашлось общего языка. Никакого контакта — ни служебного, ни человеческого — ни с одним учителем у него не было. Даже хуже того...

Допрошенная уже на второй день после обнаружения трупа учительница литературы Трунова воссоздала такой, воистину убийственный, портрет покойного военрука: «Он не был педагогом в том смысле, в котором я понимаю это слово. Наша работа — дети, а не гвозди, стенды, макеты. Он упорно лез в передовые, но не делал при этом главного учительского дела, не обучал и не воспитывал. Была поставлена задача охватить всех

членством в ДОСААФ (поскольку большинству современных читателей эта аббревиатура, некогда навязшая в зубах, вряд ли известна, придется ее расшифровать: «Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и флоту». — А. В.). Охватил. Военно-патриотические конференции, обсуждение соответствующих книг — это и по его, и по нашей части. Поручено — сделал. Провел. То есть провел в каких-то своих бумагах, а не на самом деле, конечно. Подойдет и спросит: «Вы с ребятами будете читать книги по военно-патриотическому воспитанию?» Что тут можно ответить, раз есть установка? А как же, конечно, буду. «Вот и хорошо, говорит, дайте мне названия, я запишу для отчета». Сам он даже об этих книгах никакого понятия не имел, а уж просто о книгах для чтения, не из-под палки, я имею в виду, — тем более. Не пропускал ни одного собрания, но во время самых бурных наших споров сидел молча с газеткой, что-то подчеркивал в ней карандашиком. К детям был глубоко безразличен. Человек ограниченный и скрытный. Речи его на педсоветах раздражали своей глупостью. Любимое изречение: «Если бы не было ДОСААФа, нас уже какой-нибудь враг давно завоевал бы». Был похож на куклу-автомат с заданной, не очень умной к тому же, программой. Мы в восьмом классе изучали «Горе от ума», так я с большим трудом удерживалась от искушения показать детям живого Скалозуба. Правда, он вполне сгодился бы и на Молчалина».

Можно представить себе отношение учителей к своему, хотя бы формально, коллеге, если дается такая уничижительная характеристика жертве, которую только что похоронили! Но вот можно ли представить себе другое: то, что ненависть к нему в коллективе достигла такого накала, чтобы у кого-то поднялась рука для его физического уничтожения? Представлять себе, конечно, можно все, что угодно, но ни малейших улик против кого бы то ни было из школьных учителей следствие не добыло.

Взялись за учеников.

Естественно, прежде всего возникла мысль о тех, к кому военрук был особо придирчив и кто не успевал по его предмету. Поразительно: таких не нашлось! Сколь бы строгим он ни был, с учениками все-таки ладил и двоек не ставил. Возможно, по-

тому, что хотел считаться передовым — это его стремление и отмечала словесник Трунова. Как бы то ни было, но некому, оказалось, мстить и за строгость — лопнул и этот мотив.

Опрошены были все без исключения ученики двух старших классов, они и вывели следствие на финишную прямую. Не «они» даже, а «он» — десятиклассник Куленич. Вывел по чистой случайности, сам того не осознавая. Он рассказывал о том, что большинство соклассников к военруку относились «никак», зная, что без зачета по военной подготовке аттестат не получить и, стало быть, надо просто терпеть постылую «строевую». И что только один ученик, его приятель Ким Корольков, из того же класса, в Семейке (ребята, конечно, склоняли эту смешную фамилию) не чаял души, прилежно записывал все его указания, часто оставался после уроков в «кабинете военподготовки» наедине с военруком.

Объяснял это так: «Люблю слушать рассказы о службе в армии». Ким считал, что у него есть литературный талант и что словоохотливый военрук может дать ему материал для будущих произведений. Ради этого, по словам Куленича, Ким сам напросился в командиры отделения по начальной военной подготовке, и военрук счел достойным только его для столь ответственной работы.

Аттестация эта, казалось, должна была отвести от Кима все подозрения, но криминалистам известно, что сильные чувства имеют две стороны и что пылкая привязанность способна порой обернуться пылким же отвержением — непредсказуемым и невероятным, как это справедливо подчеркивал, хотя и с иным знаком и в ином смысле, полковник юстиции Корольков.

Детективная сторона этого розыска, увы, крайне элементарна, и совсем не ради нее я веду свой рассказ. Обыск в доме полковника, ввергший его в шок (чтобы лично присутствовал, Королькова вызвали телефонным звонком прямо из его цеховского кабинета), дал не прямые улики и даже не косвенные, но как бы стимул для дальнейших поисков именно в этом направлении. Орудия убийства — пистолета системы «Дрейзе» — не нашли, но в доме бывшего военного прокурора оказалось много предметов («револьвер системы «Наган», разнокалиберные патроны в количестве 176 штук, порох марки «Сокол», четыре

финских ножа, шпага, кортик, два кинжала — все относятся к холодному оружию»), которые позволяли предположить, что искомая собака зарыта где-то поблизости. И действительно, отец, чья прошлая и нынешняя должности не позволяли ему лгать перед органами, к контролю за которыми он был сам же причастен, откровенно признался тут же, на месте, что в его коллекции был представлен и пистолет «Дрейзе», привезенный им из ГДР, и что отсутствием его в доме он до крайности удивлен.

Кима Королькова задержали на улице, когда тот возвращался из школы. Впоследствии он мне скажет: «Я сдался живым лишь потому, что при мне в это время не было оружия». К тому моменту, когда эти слова были сказаны, я знал уже, что за ними, при всей их напыщенной театральности, не просто мальчишеская бравада.

Разломанный пистолет, который экспертиза признала орудием убийства, был найден в сточном люке, метрах в трехстах от дома, где жили Корольковы. Место это указал сам Ким. Едва выдержав в несознанке две с половиной недели, он раскололся и дал показания, которые при отсутствии других, более весомых улик можно было счесть за несомненное доказательство.

«Признаю, что убил нашего военрука Семейко Леонтия Ильича я, Корольков Ким Иванович. Я убил его совершенно случайно, в чем горько раскаиваюсь. Я как-то сказал ему, что у нас дома есть пистолет и наган и обещал ему, договорившись с отцом, передать один из них как наглядное пособие для кабинета по военной подготовке. Но я знал, что отец никогда на это не согласится, он никогда никому не показывал свою коллекцию и запрещал о ней говорить. А мне очень хотелось сделать Леонтию Ильичу приятное, потому что я его уважал и относился к нему даже с дружбой, если только вообще может быть дружба между учеником и учителем, да еще при такой разнице в возрасте. И вот я зашел к нему после урока по электротехнике и сказал, что принес, как обещал. В это время он находился ко мне спиной, приколачивал большую доску, готовил стенд для открытого урока с участием гостей, который был назначен

через неделю. Чтобы разыграть его, а наши неформальные отношения такие шутки позволяли, я решил вытащить пистолет из портфеля и шелкнуть барабаном над его ухом, но так как боевая пружина была слабая, курок в портфеле взвелся. В момент вытаскивания и произошел непроизвольный выстрел в портфель, а пуля застряла в находившихся там учебниках. Испугавшись того, что он расценит мой выстрел как покушение на него, повернется и бросится на меня, я, приблизившись к нему еще на один шаг, произвел выстрел в затылок, потому что я знал, что этот выстрел всегда является смертельным. Я сделал это, не отдавая себе отчета в том, что я делаю, потому что мне не за что было его убивать, я просто боялся его реакции на мой непроизвольный выстрел, в том смысле, что он сгоряча или от страха может убить меня».

Наивность, нелепость и просто безграмотность этого «чистосердечного признания» (так озаглавлен документ) никак не выдают у автора литературный дар: он, как известно, предполагает не только грамотность, не только стиль, но еще и, пусть даже и призрачное, правдоподобие... Впрочем, вопреки существующим правилам, «чистосердечное признание» написано почему-то не собственноручно, а следователем, и лишь подписано Кимом — это несколько снижает его аутентичность и позволяет допустить, что «сердечие» было не слишком уж чистым, а судить о литературных способностях Кима по этому пересказу, сотворенному следовательским пером, конечно, нельзя.

Хотя ничего другого в обвинительном арсенале не оказалось, признание вины вкупе с выдачей орудия преступления (место его сокрытия было указано Кимом точно, а учебников с якобы застрявшей в них пулей так и не нашли) позволяли счесть убийство раскрытым. Дело пошло в суд.

— Невероятно! — снова и снова восклицал Корольков-старший. — Невероятно! Я во все бы поверил, если бы только убитым не был его военрук. Ведь Ким его обожал! Он часто с таким восхищением рассказывал нам о его уроках, таких боевых по воспитательному заряду, таких насыщенных примерами из истории Гражданской войны, а тем более Великой отечественной, таких патриотичных. И мы с женой горди-

лись товарищем военруком, его правильным пониманием задач, стоящих перед подрастающим поколением, и тем, что так удачно получилось именно в школе, где учился наш сын: пригласили умного воспитателя, который ограждает вступающих в жизнь подростков от пагубного влияния расплодившихся теперь нигилистов и отщепенцев. Невероятно! Разберитесь, пожалуйста, тут что-то не так. Я просто убежден, что Ким берет на себя чью-то вину. Это вполне соответствует его романтическим идеалам, его ложно понимаемому долгу товарищества.

Конечно, я и виду не подал, что сомнения моего посетителя несколько не разделяю, потому что собранный следствием материал показался мне вполне убедительным. И, естественно, ничем не выдал тех чувств, которые испытал, слушая его митинговую речь: она звучала уж слишком комично в нашей адвокатской клетушке. Закончилась же беседа совсем неожиданно. Корольков извлек из роскошной кожаной папки клеенчатую тетрадь и отдал ее мне с видом заговорщика, рискнувшего доверить незнакомому человеку некую страшную тайну.

— Почитайте, пожалуйста, внимательно, потом поговорим. У меня есть кое-какие соображения о том, как использовать в суде этот ценный документ. Тут записи Кима... Что-то похожее на дневник. Принесла одна девочка, в которую, как оказалось, Ким был тайно влюблен. Тайно не от нее, а от нас, родителей, и, кажется, вообще от всех остальных. Они учились в разных школах, и я толком не знаю, где и как познакомились, как встречались. Сын очень скрытен, но я все же не думал, что до такой степени. Он отдал ей тетрадь за два дня до того, что случилось, велел сохранить и не давать никому без его согласия. Когда же Кима постигло это несчастье, ей показалось, что тут есть какая-то связь, и она решила нарушить его запрет, отдала тетрадь нам. Молодец, не поступилась совестью! Настоящая комсомолка! Вы сами увидите, насколько важно то, что там написано.

Весь вечер читал я эту странную исповедь, с нарочитой литературностью озаглавленную «Хронологическая комедия». Иные строки перечитывал по несколько раз, пытаясь разгадать их истинный смысл. Мне тоже сразу же показалось, что ма-

териал действительно имеет прямое отношение к делу. Мог бы, наверно, повлиять на его ход. Не исключаю, что повлияет. Только вот — как: за здоровье или за упокой?

Хронологией отличалась лишь вторая его половина, первая же никаких дат не имела и скорее походила на мысли вслух, доверенные бумаге. Несложно было понять, почему Ким решил их засекретить, труднее — зачем было нужно это записывать. Вероятно, он действительно имел не столько дар, сколько обычную склонность к «бумагомаранию», которую, чтобы пуше обидеть марателя, называют у нас графоманией, тогда как это, вполне невинное, слово означает всего-навсего страсть к сочинительству. Привожу избранные места сначала из первой, потом из второй части «комедии», где, в точном соответствии с авторским замыслом, ничего комичного, разумеется, нет.

«От моего пребывания в Германии в возрасте от четырех до семи лет у меня не осталось никаких воспоминаний. Если что и помню, то противных мальчишек в нашем детском саду для детей советских офицеров, всегда задиравшихся и хватавших чужие игрушки. И воспитательницу тетю Аню, то есть Анну Гордеевну, с ее визгливым голосом, истошно оравшую несколько раз в день, как заведенная: «Марш мыть руки!» и «Марш за стол!» Кормили от пуза. Главным образом овсянкой и капустой, доставляли еще из Союза самолетами манку, гречку и пшенку. Поэтому и остались в памяти только эти две команды, в которые она вкладывала свою ненасытную потребность измываться над совершенно перед ней беззащитными детьми.

...В Москве, где я впервые пошел в школу, все было иначе. Никто на меня не кричал, скорее наоборот, учительница Алла Сергеевна избрала для общения с нами какую-то умильную интонацию, сюсюкала совсем ненатурально. И еще — омерзительно гладила по головке, что означало: ты ужасно виноват, но я тебя прощаю. Чем ласковее была ее рука, тем больше злобы излучали глаза. Не знаю, кто лучше: Анна Гордеевна или Алла Сергеевна. Обе хуже...

Учился я хорошо. Папины знакомые, в большинстве юристы, но не только, были среди них и два армейских, а не юриди-

ческих генерала, пророчили мне карьеру ученого. Уже к концу третьего класса я занялся палеонтологией, принялся изучать культурный слой четвертичного периода. Палеонтология и археология, изучавшие зачатки жизни, еще больше отдалили меня от той современности, про которую все время талдычили отец и его друзья, когда они собирались вместе. «Враги они и есть враги, сколько ты их друзьями ни называй», — особенно мне запомнилась почему-то эта фраза, которую на разные лады повторяли отец и его друзья. И еще другая: «Идолы мстят, когда на них покушаются». Я много читал. Моими любимыми были герои Луи Буссенара, Вальтера Скотта, Дефо, Стивенсона. Папа велел читать Фадеева и Гайдара, я врал, что читаю. Он не проверял, ему, к моему везению, было не до меня. Папа, сколько я помню, всегда уходил рано утром и возвращался домой поздно вечером. Он говорил, что только полезная для своей страны работа придает жизни смысл...

Зато когда отца второй раз отправили в Германию, мне уже было двенадцать лет, там мы пробыли почти два года, это самое счастливое время моей жизни. Мы жили под Лейпцигом, часто ездили на автобусные экскурсии в Дрезден, в Веймар, в Эрфурт, в Айзенах и другие замечательные города и городки этой части Германии. Уроки меня не интересовали. В немецких школах нам учиться не разрешалось, только в советских, внутри военного городка, учительствовали там жены наших офицеров, которым больше нигде было себя проявить. С немецкими школьниками мы даже не имели права встречаться, только опять же в советском клубе на каких-то совместных вечерах советско-германской дружбы, где все вместе, и только по-русски, поскольку немецкие дети в обязательном порядке изучали русский язык, мы должны были, надрывая глотки, петь революционные песни и декламировать революционные стихи. Однажды я осмелился попросить папу дать мне разрешение прокатиться в субботу на велосипеде по окрестным деревушкам и лесным тропинкам. Папа даже не рассердился, он только спросил: «Ты хочешь, чтобы тебя немедленно отправили в Москву, а нас с мамой вслед за тобой?» Этого я не хотел и больше с такими просьбами никогда не обращался.

Но все же совсем закрыть для нас Германию было невозможно. Папа с мамой брали меня с собой на прогулки за зону, по выходным дням. Я влюбился в эту страну с ее благодатным климатом, красивыми озерами и лесами, но самое главное населенную вежливыми, культурными, благожелательными людьми. Меня восхищала чистота городов, ухоженные дома и дворы, красиво убранные витрины магазинов, выставленные в них в огромном ассортименте разные вкусности, от вида которых текли слюнки. Это была оккупированная страна побежденных, а мы, победители, отгороженные заборами и часовыми от побежденных, даже здесь, в Германии, изо в день ели щи да кашу, хотя и с сосисками, и это считалось большущей удачей — получить второе назначение в Германию, потому что далеко не все, кто остался дома, могли там есть даже это.

Возвращение было для меня холодным, отнюдь не освежающим душем. Окунувшись в нудную повседневную жизнь, я пережил большое разочарование. Конечно, я мало что видел в Германии, но и этого было достаточно, чтобы сравнить «тех» с «этими», нравы там и тут. Что — тут? Бесперспективная копеечная жизнь, люди, грызущиеся из-за лучшего куска, который лучше лишь потому, что другие куски еще хуже, кругом литературные пигмеи, чьи сочинения безгласные дети обязаны читать, и — попробуй не прочитать! Но в еще большем количестве взяточники и воры, которые просто повсюду, возможно даже и среди друзей дома, милых знакомых, таких симпатичных, что никогда не догадаешься, какие они на самом деле. Что ни папин рассказ из его прокурорской практики, то или взяточники, или воры, или и те, и другие в одном лице. Да я и без его рассказов все это видел. Ведь отец научил меня с детства читать газеты, а как их читать, этому я научил себя сам.

Вот мир, в котором я очутился и в котором мне предстояло жить. Я находил утешение только в чтении старых книг, которые были у родителей Л. (насколько я понимаю, это та самая девочка, у которой он спрятал свою «Хронологию», ее звали Лариса. — *А. В.*), учебная машина, вождению которой я обучался в автокружке, и слушание пластинок, которые мы привезли в огромном количестве из Германии, притом без всякого разбора. Были там замечательные вещи, но гораздо боль-

ше самого настоящего мусора, который матери и отцу как раз нравился больше всего».

Пожалуй, кое-какой литературный дар — не Бог вещь какой, ясное дело, — у него все-таки был.

Этим завершается, точнее, на этом обрывается, первая часть «Хронологии», и с отдельной страницы начинается вторая. Поскольку во второй даты есть, а в первой их нет, трудно сказать, сколько времени отделяло одну от другой. Вопрос не праздный, из текста будет понятно, что датировка первой части, при сравнении ее со второй, необходима. Во всяком случае, крайне желательна. Выбираю лишь те записи, которые имеют к сюжету хоть какое-то отношение.

«7 сентября. У нас начинаются уроки военной подготовки. Привели учителя. Зовут Леонтий Ильич. Фамилия — нарочно не придумаешь: Семейко. Мог бы сменить. Раньше, рассказывал отец, это было раз плюнуть. Семейко, как я понимаю, уже был сознательным человеком, когда это было раз плюнуть, но не плюнул. Поджарый, среднего роста, со впалыми щеками, хмурый, взгляд колючий, посмотрит — мурашки бегут по спине, кашель привычного курильщика.

17 сентября. ...Левонтий (так написано. — А. В.) мне определенно нравится. Мое первое суждение о нем было поверхностным и поспешным. Он задает вопросы и сам тут же на них отвечает. «Какую задачу ставят перед школой партия и правительство? Партия и правительство ставят перед школой задачу воспитать достойных сыновей и дочерей нашего социалистического отечества. Что значит быть достойными сыновьями и дочерьми нашего социалистического отечества? Быть достойными сыновьями и дочерьми нашего социалистического отечества значит всегда быть готовыми к защите его от внешних и внутренних врагов. А что значит быть всегда готовыми к защите его от внешних и внутренних врагов? Быть всегда готовыми к защите его от внешних и внутренних врагов значит овладеть боевой подготовкой и уметь на практике в любую минуту, когда нас призовет долг, использовать полученные знания». Четко и ясно. Крепко запоминается — это самое главное. Потому что, когда нас призовет долг, некогда будет размышлять и фи-

лософствовать, надо будет действовать сразу и решительно. Вопрос в другом: что значит долг, который нас призвет, и что значит действовать? Не забыть спросить об этом Семейку на следующем занятии.

26 сентября. ...Теперь насчет Семейки. Он сказал, что ответит на все вопросы, но для этого надо явиться в его кабинет в свободное от уроков время. Потому что на уроках нельзя терять времени на всякие там дискуссии, его и так в обрез, надо просто, не рассусоливая, овладевать боевой подготовкой. Обязательно пойду к нему в свободное от уроков время и выслушаю его ответы на свои вопросы.

6 октября. ...Только вчера, наконец, удалось посетить Левонтия на его территории, которую он постепенно осваивает, превращая кабинет военного дела в образцово-показательный музей. Кстати, в конце разговора он предложил мне принять участие в создании стенда о героическом поведении советских школьников в тылу врага во время Великой Отечественной войны. Обязательно приму. Тем более что он сказал: такая работа может быть доверена только лучшим из лучших и потом отмечена на конкурсе, который проводит военкомат. На мои вопросы, о которых я уже здесь писал, он ответил по-военному четко: долг — это защищать родину всеми доступными силами и средствами, а что значит действовать, это и так ясно. Действовать значит беспрекословно выполнять приказы начальства и вообще любого, кто старше по званию. Не рассуждать, а выполнять. Теперь у меня в этом вопросе полная ясность. Семейка нравится мне все больше и больше. Он целеустремлен и решителен, знает, что говорит, и слов на ветер не бросает.

23 октября. Произошли сразу два важных события. Первое: я вступил в ДОСААФ. Левонтий торжественно вручил мне билет. Надо заплатить членский взнос, отец, конечно, не откажет. Мое вступление вызовет полное его одобрение. Второе. Начинаются уроки строевой подготовки, а для этого, сказал Левонтий, необходимо выбрать командира отделения по начальной военной подготовке, который будет первым помощником Семейки и отвечать за «правильность строя», так он сказал. Я, не дожидаясь вопросов, сразу вызвался принять на себя эту по-

четную миссию. Ребята посмотрели на меня с удивлением, кто-то даже хихикнул (по-моему, Вовка, а может быть, Фонарь, надо проверить), а Левонтий сказал: «Я так и думал, что это будешь ты, и полностью поддерживаю твою кандидатуру. Возражений нет?» Никаких возражений не было. Левонтий нравится мне все больше и больше.

10 ноября. Праздники прошли бестолково. Из-за ее родителей, которые затеяли семейные мероприятия, так и не удалось встретиться с Ней. К отцу заявились друзья, горланили два вечера подряд, под их ор нельзя было даже пластинки послушать, никуда идти не хотелось. Провалился в своей комнатенке, читая «Шуаны» Бальзака (здорово!), а на случай, если войдет отец, лежала раскрытая «Поднятая целина». Никто не зашел. Кому я нужен? Сегодня Левонтий просил на уроке рассказать, кто как провел праздники. Все рассказывали, кто ездил в гости, кто ходил в театр или в кино, кто в бассейн. Левонтий хмурился и качал головой. Я сочинил, по-моему, складный рассказ о том, как мы с отцом гуляли по праздничным улицам и говорили о боевых традициях советской молодежи, которые передаются от поколения к поколению. Очень хорошо получилось, мне самому понравилось. Я точно был в ударе. Левонтий был страшно доволен, он сказал: «Я глубоко уважаю твоего отца, особенно за то, как он воспитывает своего сына. Обязательно передай ему это, ни в коем случае не забудь». Я еще не передал, но знаю, что отцу это будет приятно. А мне тем более. Молодец, Левонтий, он очень хороший человек. Настоящий советский учитель и заслуженный воин. Ведь он участник войны и даже имеет медаль «За боевые заслуги», которую, это тоже его слова, не носит из скромности!

14 декабря. ...Сегодня у нас был урок на воздухе, строевая подготовка. После слякоти немного подморозило, так что маршировать на пустом в этот час стадионе было удобно. Я с удовольствием маршировал. Стройся, готовься, равняйся, рассчитайся, направо, налево, шагом марш, смирно, вольно, опять смирно... Звучит, как музыка. Фонарь все время паясничал («Фонарь», как я позже узнал, это и есть Куленич; кличка досталась ему за фингал, который он получил, защищая какую-то

девочку от маленьких хулиганов. Маленьких, но удаленьких. — А. В.), а Вовка нарочно шел не в ногу, всех сбивая и всем мешая. («Вовка» — сын известного в то время, талантливого драматического артиста, позже сам стал работать в театре. — А.В.) Левонтий просто из себя выходил, а тот не переставал. Мне, наконец, это надоело, и я сказал Вовке: «Болван, неужели ты не понимаешь, что строевая подготовка это самый интересный у нас предмет, самый важный и самый необходимый? Если не понимаешь, выйди из строя, а другим не мешай». Левонтий смотрел на меня с восхищением. Он сказал миролюбиво: «Не надо относиться так строго к нашему товарищу. Он осознал свою ошибку и больше ее не повторит». Вовка и Фонарь присмирили, но удовольствие от урока было испорчено. Молодец, Семейка! Он мне нравится все больше и больше.

19 января. После каникул Левонтия неделю не было в школе, не знаю почему, и я заскучал. Без него как-то тоскливо. Урок будет только на следующей неделе, но я зашел к нему сегодня в кабинет, он очень обрадовался. Стал спрашивать меня, куда я после школы. Я сказал, что еще не решил, спросил его совета. Он сказал, что нужно выбрать не тот институт, который больше всего по душе, а тот, который дает профессию, особенно необходимую родине для ее борьбы с внешними и внутренними врагами. Я спросил, разве не все профессии нужны родине? Он ответил, что вообще-то нужны, конечно, все, но есть более важные и менее важные для того или другого периода. «Никаких конкретных советов, — сказал Левонтий, — я тебе давать не хочу. Полагаюсь на твой разум и на опыт твоего отца. Но исходить надо из того, что против нас весь капиталистический мир, предстоит борьба не на жизнь, а на смерть, и надо готовить себя к выполнению самых ответственных заданий партии и правительства. Всяким там философам (это он так сказал: философам) и стихоплетам в современных условиях, где все решают высокие технологии, это не по плечу». А ведь он прав! Он совершенно прав! Как же я об этом не подумал? Еще раз понял, какой мудрый и добрый человек наш Левонтий и насколько его не понимают наши ребята, да и другие учителя, по-моему, тоже. Слушать его доставляет мне огромное удовольствие.

31 января. ...После уроков, как теперь уже стало почти что обычаем, зашел к Семейке. Он за что-то драл уши Фонарю, тот, вопреки своим правилам, не базарил. Я вышел — не мешать же воспитательной процедуре! Окажись я свидетелем фонарного унижения, он бы мне этого никогда не простил. Фонарь совсем уж зарвался, дерзит Левонтию в открытую и презирает меня за то, что я вожу с ним дружбу. Я считал Фонаря, и все еще продолжаю считать, умным парнем, но он просто ничего не понимает, а я бессилён хоть что-нибудь ему объяснить. Когда-нибудь он поймет, насколько был не прав. Он считает, дубина, что урок по химии, которая станет его профессией и от которой он совсем офонарел, важнее, чем ходить строем на стадионе. Дубина она и есть дубина.

Когда через полчаса я снова зашел в кабинет, Фонаря уже смыло, а Левонтий страшно обрадовался моему приходу. Сказал, что загадал: если я снова зайду, значит, я настоящий человек, а если нет... Кажется, мой приход поднял его настроение, особенно после того, как я сказал, что цели никакой не имею, просто мне нравится его слушать, о чем бы он ни говорил. Он даже возгордился от такого признания и стал мне рассказывать, как его воспитывали родители: отец — председатель сельсовета и мать — первая комсомолка в своей деревне. Я зачарованно слушал про нещадную борьбу с мироедами-кулаками, как это было опасно и какую волю проявили его родители, мобилизуя односельчан-бедняков на участие в полной ликвидации кулачества как класса. Потом он перешел к рассказу о своей военной биографии, но тут я с тоской посмотрел на часы и понял, что, задержавшись, уже не успею сделать уроки. Левонтий проявил полное понимание и отпустил меня со словами: «Исполнить все заданные уроки первейшая обязанность советского школьника». Кажется, он сказал не «школьника», а «учащегося», но за точность не ручаюсь. Мне очень легко с Левонтием, он умело прочищает мозги, от него я узнаю множество интересных, полезных и даже важных вещей.

10 февраля. Сегодня у меня весь день было прекрасное настроение. Я ждал, когда окончатся уроки, чтобы зайти к Левонтию и сделать ему подарок. Увидев меня, он сразу спросил: «Чего ты сияешь, как медный самовар?» Ну, где он увидел сей-

час сияющие медные самовары? Его же родители — бедняки, у них просто не могло быть медных самоваров. Это я про себя подумал, а вслух сказал: «Сегодня исторический день — годовщина гибели Пушкина. Хотелось поговорить с вами о его поэзии». Мой ответ склонил его к долгому размышлению. Наконец, он проникся. «Поэзию великого поэта Александра Сергеевича Пушкина знает весь мир. Это славный сын России. Хорошо, что ты не забываешь такие даты. Я с детства знаю и люблю его стих: «Мой друг, отчизне посвятим души высокие порывы». Я виду не подал, что заметил неточность, и, конечно, подтвердил, что это тоже самое любимое мое стихотворение. «Помни всегда, что завещал Пушкин: отчизне — порывы души», — так напутствовал он меня. Я сказал, что именно это всегда и помню. Мы чуть не обнялись. Семейка — мировой парень. Сбросить бы ему годков тридцать.»

В последующих записях никакого упоминания о военруке нет, оно появляется только в последней, сделанной 21 апреля, за три дня до убийства.

«...Семейка сказал, что завтра он с женой поедет к каким-то своим родственникам, они всегда отмечают вместе день рождения Ленина, поэтому зачет переносится на 27 апреля. Заодно это будет и достойная награда к Первому Мая. «Ты понимаешь, конечно, что ты получишь зачет, но имей в виду, что с твоими способностями ты можешь сделать для страны больше, чем ходить строем и уметь стрелять. Подумай хорошенько, не готовить ли тебе себя к выявлению врагов, которые подняли головы и в любую минуту могут всадить нам нож в спину». Я обещал подумать. Это уже что-то серьезное. Я всегда знал, что Левонтий не бросает слов на ветер. Он раскрылся и помог мне раскрыть глаза. Я очень благодарен этому честному и мужественному человеку. У меня очень хорошее настроение. Я знаю теперь, как надо жить.»

— Прочитали? — спросил меня через день полковник Корольков, явившись на сей раз в военном мундире, украшенном разноцветными планками. — Вы понимаете, что эта тетрадь перевернет с головы на ноги все дело? Если, конечно, мы с вами решимся представить ее суду..

— С каким знаком перевернет? — осторожно попробовал уточнить я, видя, что полковник, прокурор, кандидат и аппаратчик высокого ранга — все в одном лице — не совсем точно представляет, какую бомбу он мне вручил.

— Только с тем, который нам нужен. — Он уже вышел из прежней отключки, к нему вернулись военная четкость и прокурорская деловитость. — Давайте прикинем. Юноша, который до такой степени влюблен в своего учителя и так его уважает, не может, ясное дело, устроить ему розыгрыш с заряженным пистолетом. Из всех его записей вытекает, что их отношения ничего подобного не допускали. Знаю, знаю, — заторопился он, боясь, что я его перебею. — Знаю, что следствие отвергло версию о случайном выстреле и вменило ему преднамеренный. Еще больший абсурд! Скажите, какой нормальный человек, так любовно относясь к своему учителю, пойдет хладнокровно его убивать — невесть за что. Подождите, подождите, — снова заторопился он, видя, что я уже готов ему ответить. — Я не случайно сказал: «нормальный человек». Потому что, если все-таки допустить, что убийство совершено преднамеренно, это означает только одно: вообще или хотя бы в данный момент Ким находился в невменяемом состоянии и отвечать за свои действия не может.

Мне расхотелось с ним дискутировать — я понял, что он ничего не понял, а его самоуверенность исключала возможность диалога. Что делать? — мелькнула мысль. Лучше всего отказаться от защиты, предложив полковнику подыскать другого адвоката. Но психологическая неординарность, даже, пожалуй, и уникальность той ситуации, в которой судьба доверила мне разбираться, не отпускала. Стыдно сказать: думалось не о том, чем может в реальности завершиться судебный процесс (хотя о чем другом должен думать адвокат, принимая на себя защиту подсудимого?), а о том, удастся ли разгадать ту загадку, которая была заключена в этих записях и в выстреле, последовавшем за ними.

— Неужели вы хотите просить о приобщении к делу этой тетради? — Я знал, что наносу удар, и я его нанес. — И какой же образ подсудимого сложится у суда, который прочтет его записи о жизни в ГДР и в Советском Союзе? И как будете вы-

глядеть вы, воспитавший сына, в голове у которого такие мысли?

Мои вопросы его не смутили.

— Я уже человек отпетый. Надо сына вытаскивать. Со-знаю: упустил парня. Но в том-то и дело, что под благо-творным влиянием товарища Семейко Ким переродился. Это же прямо вытекает из того, что он написал. Да, да, я недогля-дел, моя вина, утонул в работе, а школа-то все же направила Кима на путь истинный. Посмотрите, какие замечательные мысли он здесь высказывает. — Корольков сразу нашел полю-бившиеся ему места, хотя никаких пометок в тетради не было. — Вот, например: «Строевая подготовка это самый интересный у нас предмет, самый важный и необходимый». А об учителе?! «Какой он мудрый и добрый человек!» И ведь это после того, как изложены мысли этого мудрого человека! Дстойные мысли...

Лицо его покраснелось, и звезды на погонах, не говоря уже об орденских ленточках, вдруг заиграли во всей своей первоз-данной красе.

— Иван Павлович, — робко попробовал я вернуть обреме-ненного ученой степенью прокурора на почву реальности. — Вам не приходит в голову, что все записи Кима, которые привели вас в такой восторг, что они — давайте называть вещи своими словами — откровенное издевательство над военруком и над его мудрыми мыслями? Что это даже не ирония, а злая сатира. Что иначе незачем ему было прятать свою тетрадь от посторонних глаз. И что суд, если мы отдадим эту тетрадку, прочтет их именно так, как прочел я, а вовсе не так, как проч-ли вы?

Профессиональная выдержка не дала ему выразить в пол-ной мере те чувства, которые вызвал я в нем бестактными сво-ими вопросами.

— Вы заразились нынешней модой читать между строк, — сдержанно произнес он в манере распекающего инструктора ЦК, а не клиента-просителя, пришедшего за помощью к адво-кату. — Тогда как надо читать строки. И суд тоже будет читать строки, а не между... Вопрос стоит так: никто не станет без смысла и цели убивать человека, которого уважает и любит.

Значит, одно из двух: или Ким не убивал, или, если все же убил, то был невменяем. Странно, если вы, с вашим опытом, не понимаете таких простых вещей.

Так вот, стало быть, в чем состоял его замысел! Видя, что никакого иного выхода нет, полковник решил упрятать сына в психушку... Мой патрон по адвокатуре, знаменитейший некогда Брауде, и об этом я рассказывал много раз, тоже считал, что больничная палата, какой бы она ни была, единственный выход из безвыходных положений. Брауде безусловно одобрил бы эту тактику. От советского правосудия можно было спастись лишь в сумасшедшем доме. Даже тогда, в шестьдесят третьем, а не только в те времена, когда Илья Давидович витийствовал на адвокатской трибуне, карательная медицина не проявила еще себя во всем своем блеске, и московская психушка без всякой натяжки считалась куда более желанной средой обитания, чем лагерь даже не с самым жестоким режимом.

Но чем бы я мог обосновать свое ходатайство о психиатрической экспертизе? Рассуждения полковника таким основанием служить не могли. На учете у психиатра Ким не состоял, никаких отклонений от нормы в его поведении никто не заметил, да и в читке между строк не было ни малейшей нужды: именно строки о себе говорили сами, притом очень красноречиво. Имеющий уши да слышит!..

— Я должен спросить у самого Кима, согласен ли он на приобщение к делу его дневниковой тетради и на то, чтобы самому добиваться признания себя психом. — В моем голосе, видимо, прозвучала та интонация, которая была непривычна и неприемлема для профессионального аппаратчика. Он изменился в лице, но я все же договорил. — Адвокат не может действовать вопреки воле своего подзащитного.

— Первый раз слышу, — зло отреагировал мой собеседник, — что врач получает от больного указания, как тому надо его лечить. Лекарство может не нравиться, но, если оно помогает, его вводят в организм принудительно. Ваша задача вылечить своего пациента, и выбор лекарства за вами, а не за ним. И мы его выберем вместе!

Все-таки был он не такой уж отпетый болван, этот полковник и кандидат.

В кабинет для свиданий Бутырской тюрьмы привели худощавого паренька с уже пробившейся редкой щетинкой-пушком, к которому пока что еще не прикасалась бритва. На нем была иноземная курточка из модной тогда синтетики, давно пережившая свою свежесть, а на ногах поношенные кроссовки, гэдээровского, видимо, производства, но купленные давным-давно — на вырост — в ларьке военного городка. Его невзрачная, подростковая фигурка резко контрастировала с лицом взрослого человека. Взрослость подчеркивали широко распахнутые глаза стального цвета, пронзающий взгляд и крепкое рукопожатие, которым мы обменялись, вопреки негласным, но непременным тюремным правилам: а вдруг, не ровен час, адвокат передаст таким образом арестанту чью-то записку, или пилку (пилкок очень боялись), или — страшно подумать! — отраву.

Приведший его конвоир безусловно заметил рукопожатие, но ничего не сказал, оставив нас наедине. «Наедине» — это было, разумеется, мифом, микрофоны вовсю работали уже и при тогдашней, не слишком высокого уровня, технике, это знали и я, и Ким Корольков.

Следуя напутствию, которое дал мне отец, я рассказал ему о тетрадке. Ответом было долгое, удручающе долгое молчание. Оно прервалось вопросом, который меня озадачил:

— Вам в вашей жизни довелось встретить хоть одного человека, которому вы полностью доверяли и который вас не подвел?

Разговор на общие темы под микрофон не входил в мои планы, я с нарочитой сухостью снова спросил: будем просить о приобщении или не будем? Он махнул рукой, сказав, что от его воли все равно теперь ничего не зависит, делать с ним (с ним — не с тетрадью) можно все, что угодно, позиция его останется неизменной, а все остальное его не интересует.

— Учтите, ни на один вопрос я отвечать не буду, скажу только, что подтверждаю те показания, которые дал на следствии. И ничего больше.

— Вы убьете своего отца, — напомнил я ему. — Не слишком ли много будет убитых?

Ким вскинул на меня свои распахнутые ресницы, потом сузил взгляд:

— Много не будет.
Как хочешь, так и понимай.

Сам процесс интереса не представляет. Разве что одна очень красочная деталь. Я попросил приобщить к делу злосчастную ту тетрадку, обвинитель не возражал, и суд, не зная еще о ее содержании, безропотно ходатайство удовлетворил. Лишь в тот момент, когда я понес тетрадку к судейскому столу, она вдруг показалась мне похудевшей. Тетрадка оставалась у отца до начала процесса, и он, как оказалось, времени зря не терял: первой части там уже не было! Хорошо, что, по своей привычке, следуя опыту мамы, старейшего адвоката, я всю ее успел переписать — благо текст не был велик. Военный прокурор и инструктор ЦК не счел постыдным утаить от суда то, что могло бы повлечь за собой нежелательные последствия. Нежелательные — для него самого вряд ли меньшие, чем для сына. По-человечески был, разумеется, прав, но с партийной этикой такой прагматизм вязался не слишком.

Приобщенная тетрадь не произвела на судей никакого впечатления, во всяком случае никак не повлияла на предначертанный приговор. Читать, возможно, и прочитали, но и виду не подали, что сатирические панегирики военруку их (судью и заседателей) как-нибудь взволновали и побудили хотя бы почувствовать всю уникальность этого, скучного лишь для тупиц, уголовного дела. И ходатайство о назначении судебно-психиатрической экспертизы, как я и предвидел, отклонили — с той самой формулировкой, которая была на поверхности: нет никаких оснований.

Приговор был... Хотел написать: мягкий, но вправе ли судить о мягкости тот, кто сам не испытал кошмар несвободы в советском Гулаге? С другой стороны, ничем не спровоцированное убийство того, кто ни в чем перед убийцей не провинился, да будь он хоть трижды зануда и кукла, — может ли оно быть прощено? Словом, дали мальчишке «всего-навсего» восемь лет, учтя, естественно, возраст и первую судимость (так и написано в приговоре).

Отец не осмелился явиться на суд в полковничьем мундире, предпочтя его мятому пиджаку, за все время процесса не обме-

■

нялся со мной ни одним словом, молча выслушал приговор, буркнув мне на прощанье:

— Зайду завтра.

И он, действительно, зашел — лишь для того, чтобы сообщить, что больше в услугах моих не нуждается и что делом его сына заниматься я впредь не должен. Но существуют у адвоката обязанности, которые не зависят от воли клиента. Я должен был навестить осужденного и справиться, собирается ли он обжаловать приговор. И подать жалобу, если он этого хочет.

Мне казалось, что он гордо откажется, — вышло иначе.

— Делайте, что хотите, но без меня, без меня...

Стало быть, жалобу я обязан подать — это был мой последний долг. Я так и сказал ему, что — последний, что отец отстранил меня от дальнейшей работы по этому делу и что теперь, когда практического значения наш разговор уже не имеет, хотел бы знать лишь одно: почему его гнев с такой беспощадностью обрушился на зашоренного и примитивного военрука? Чем именно тот вызвал в нем столь сильное — испепеляющее, как сказали бы раньше, — чувство? Своим вопросом я, в сущности, раскрыл Киму, что понял все! Все, что им зашифровано с такой мальчишеской неумелостью и в чем он не хотел признаться суду. И правильно сделал, кстати сказать, что не хотел!.. А суд или не разобрался, или скорее всего не пожелал разбираться.

Ким встретился со мною глазами, и этот молчаливый поединок длился так долго, что я с трудом выдержал его стальной, безжалостный взгляд.

— Всех невозможно, — выдавил он наконец. — Хоть бы кого-нибудь... Пусть одного... Того, который поближе...

— И не жалеешь?

Его усмешка означала духовное превосходство над своим защитником, которому не постичь высокие юношеские порывы и благородные чувства.

— Я сдался живым лишь потому, что при мне в это время не было оружия. — Вдохнул и развел руками. — Скажите отцу, чтобы не приходил. Я знаю, он попросит свидания. И мать тоже. Скажите: не надо. Это единственная моя просьба.

Ему надлежало покинуть кабинет раньше, чем мне. Я вызвал конвой, который должен был возвратить его в камеру.

Уходя, он повернулся ко мне и, не смущаясь присутствием конвоира, не убоявшись магнитофонной ленты, которая где-то, наверно, крутилась, очень четко и очень внятно, без напускного пафоса, сказал:

— Я их всех ненавижу.


Просьбу Кима я выполнил — позвонил отцу и рассказал о желании сына воздержаться от свидания с ним. Не обременять. А последнюю фразу все же решил утаить, щадя отцовские чувства.

Состоялось ли их свидание — этого я не знаю. Зато знаю, что отец, как видно, пошел более верным путем: презрел партийные условности и использовал давние связи. Для того хотя бы, чтобы избавить себя от возбуждения дела за незаконное хранение оружия. И это ему удалось! Удалось и другое. Непостижимым — для меня, разумеется, — образом какое-то время спустя приговор был опротестован, назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая признала Кима классическим шизофреником и открыла для него двери психушки. Элитарной, я думаю, хотя слова такого в обиходе еще и не было. Слова не было, а суть была.

Следы Кима для меня затерялись — другие дела и другие заботы не давали возможности наблюдать за тем, как складывалась дальше его судьба.

Прошло много лет, вместивших в себя те катаклизмы, которые выпали на нашу общую долю. В компании старых юристов, где все так или иначе знают коллег — кого лучше, кого хуже, — я назвал по какому-то поводу имя «моего» полковника-кандидата. Одному из сидевших за столом оно оказалось знакомо.

Ни полковника, ни его жены в живых уже не было, а вот Ким, тот процветал! Выйдя давным-давно из золоченой психиатрической клетки, он женился, взял фамилию жены — ею стал подписывать свои сочиненьица. Сначала про подвиги героев давно отгремевшей войны, потом про доблестных наших разведчиков, потом, когда наступили новые времена, про коррумпированных чиновников и про сросшийся с ним криминал. Пытался — даже, кажется, не один раз, а дважды, —



пробиться на какой-то невзрачный выборный пост от партии жириновцев, но оба раза не преуспел.

Это было вторичным моим поражением и, стало быть, посмертным триумфом отца. Я не верил в возможности медицины, а полковник не просто верил, но лишь от нее и ждал действенной помощи. И, как видим, дождался: доктора, вероятно, уж очень старались. Психушка полностью излечила мятежного Кима от былых заблуждений и в конечном итоге сделала полезным членом нашего цветущего общества.

КЛУБОК ЗАГАДОК

После возвращения из очередной командировки меня ждала дома записка моего друга, поэта Бориса Слуцкого — он заходил, но меня не застал: «Твоя мать сказала, что ты в Сталинграде по какому-то интересному делу. Приедешь — позвони». Известно, как горячо он любил товарища Сталина, но название «Волгоград» не воспринял. «Скорее уж Царицын, — сказал он мне как-то. — Но лучше оставить как было...».

Сознаю, довольно странное начало для рассказа о деле из адвокатской практики. Но Слуцкий, совсем неожиданно для меня, имел личное касательство к последующему развитию сюжета, так что упоминание его имени в этом рассказе, как читатель сам убедится, вполне оправданно.

Дело было действительно интересным, мы с мамой подробно его обсудили еще перед тем, как я поехал его изучать. Никакой юридической — адвокатской, если точнее, — перспективы у него заведомо не было, но зато была журналистская: так мне, по крайней мере, казалось. В реальности, увы, не было никакой. И если бы его ведение влекло за собой расходы для клиента, то принятие его к своему производству этически нельзя было бы оправдать. Но и отказаться от такого сюжета было выше моих сил. Конечно, адвокат, будь он только адвокатом, обязан был, по-моему, сразу же отказаться, но я-то был не «только». Как раз вот это «не только» и повлияло на мое решение.

Пришла ко мне на прием в юридическую консультацию молодая женщина из Саратова. Привезла документы, которые я читал, как детективный роман. Если совсем схематично, суть дела была такой: накануне войны пропала (посетительница сказала категоричней — была убита) ее старшая сестра, но убийцу «сначала нашли, а потом отпустили» и даже «хотели убить следователя, который убийство раскрыл». Так это было подано посетительницей — никакой другой информации у меня на тот момент не было. Сегодня подобный исход никого бы не удивил — ситуация вполне ординарная. Каждый заподозрил бы подкуп и был бы, наверное, прав. Тогда же мысль шла совсем по иному пути: те, кто выпустили убийцу и чуть не угрохали следователя, имели, возможно, большую власть и ею воспользовались, чтобы спасти преступника от возмездия. Почему-то им это было нужно. Так что едва ли не первой задачей адвоката, который взялся бы за это неблагодарное дело, был поиск чьей-то выгоды (целесообразности? необходимости?) от укрытия виноватого. Найти доказательства чьей-то личной заинтересованности именно в таком исходе — для начального этапа поиска этого было вполне достаточно. Цель благородна, задача увлекательна — почему бы не взяться? Смущало только одно: агрессивная заданность той, что ко мне обратилась.

— Алю уже не вернуть, — сказала клиентка (в оставшихся у меня документах нет ее имени, только инициалы, — пусть будет Зина), — никого уже не вернуть, все погибли: мать, отец, два брата. Только я и осталась. И еще Алькина фотография. Когда ее убили, мне было семь лет, ничего про нее не помню. Но я должна распутать эту историю. И если этот негодяй еще жив, убить его.

— В этом я вам не помощник, — пришлось мне ее оборвать, и она замолкла, взяв себя в руки..

История эта успела меня пронзить, пока я листал документы: слепую копию приговора на трухлявой от времени бумаге, письма из разных прокуратур, отвратительную по качеству фотокопию заметки об этом деле из какого-то официального, судя по лексике, юридического издания, — заметки, ничего не прояснившей, но зато распалившей воображение.

Какой адвокат не мечтает, чтобы ему досталась какая-нибудь увлекательная головоломка — вместо обрыдлых банальностей, которыми переполнено судебное повседневно! А тут была не просто головоломка — клубок загадок, обладавших — в контексте времени — поистине исключительной остротой.

Денег у Зинаиды, чтобы оплатить все расходы по командировке и ведению дела, разумеется, не было, а вести его бесплатно и ехать за свой счет, даже если бы я захотел, в адвокатуре не полагалось: за таким альтруизмом непременно виделось нечто порочное — с корыстным оттенком. Но у меня уже был в то время иной, куда более подходящий к данному случаю и куда более престижный канал. Заведовавшая отделом в «Литгазете» Валентина Филипповна Елисеева, увлекшись моим рассказом, запросто пробила мне редакционную командировку и дала все мандаты на изучение дела.

24 апреля 1940 года Аля ушла вместе с мужем из дома на окраине Сталинграда и с тех пор нигде больше не появлялась. За неделю до этого играли свадьбу. Под белой фатой (далась же тогдашним и нынешним новобрачным эта фата!) стояла невеста на восьмом месяце беременности: родные жениха (именно они, а вовсе не она сама и не ее родные) настояли, чтобы он женился и затем оформил отцовство. Матери будущего ребенка, с которой он жил, не таясь, уже более года, за два дня до свадьбы исполнилось семнадцать лет. Чтобы получить загсовский штамп, пришлось испрашивать разрешение горисполкома, которое — «в интересах будущего ребенка», как специально отмечено в документе, — почти сразу же было дано.

Николай Бурцев, тридцати шести лет, работал администратором областной филармонии, имел прочные связи с отцами города — это и навело потом на мысль, что он мог заручиться весьма солидной протекцией. Еще он был известен тем, что в подобном же «интересном» положении не без его прямого участия перебивало довольно много прелестниц, мечтавших о музыкально-актерской карьере, но они улаживали с ним отношения без особых скандалов. Аля как раз никакого отношения к тем прелестницам не имела — не окончив десятилетки, стала работать в гастрономе простой продавщицей, но поче-

му-то именно с ней роман продолжался дольше обычного и привел к финалу, который не был для Бурцева самым желанным: к законному браку.

Подозрение пало сразу же на него — это понятно. Как понятно и то, почему он даже мысль о таком кощунстве сразу же назвал «гнусной и подлой». Любой на его месте точно так бы и поступил.

Вот объяснения Бурцева — в кратчайшем моем пересказе.

Из района новостроек, где они жили, оба поехали в центр города, какое-то время посидели на лавочке в сквере, потом разошлись. Он направился в парикмахерскую, она в свой магазин, где ей предстояло получить деньги в связи с декретным отпуском, который ей дали, потом купить продукты и вернуться домой. Но домой она не вернулась и в магазин не пришла.

Через три месяца на волжском острове Сарнинском, неподалеку от Сталинграда, нашли остатки трупа неведомой женщины. Труп был обезглавлен — череп валялся рядом. На правом резце верхней челюсти была металлическая коронка. По свидетельству родных, именно там и именно такая коронка была и у Али. При трупе (при, а не на) обнаружили окровавленный женский купальный костюм и вывалившую в грязи некогда белую женскую комбинацию.

В то время советские криминалисты повально увлекались новым методом скульптурного восстановления мягких тканей лица по черепу. Метод этот придумал антрополог и археолог, профессор Михаил Михайлович Герасимов. Газеты много писали о его достижениях: пиарили, как теперь бы сказали, с размахом. В разные годы он восстановил по останкам внешний облик Ивана Грозного, Улугбека, адмирала Ушакова и других исторических личностей. Так ли те выглядели при жизни или иначе, с полной достоверностью никто уже не сможет ни подтвердить, ни опровергнуть. Да и точность воспроизведения в данном случае особого значения не имеет: история не страдает, если Иван Грозный выглядел чуточку не так, как его изобразил уважаемый профессор. В криминалистике же эта «чуточка» играет порой первостепенную роль: от нее может зависеть судьба человека. Даже сама его жизнь.

Но криминалисты в те годы были уверены, что у них появилось волшебное средство. Неопознанных, почти полностью истлевших трупов — зримых следов нераскрытого преступления — было сколько угодно, без их идентификации следствие заходило в тупик. А тут — такая изумительная возможность! Найденный на острове череп отправили в Москву, в институт материальной культуры Академии наук — Герасимову на исследование. И вскоре пришел воссозданный им портрет: вылитая Аля...

Пока Герасимов трудился над портретом убитой, технологическая экспертиза пришла к выводу, что материал, из которого был сделан обнаруженный при трупе купальный костюм, идентичен с материалом той майки, из которой сама Аля его себе сшила. Другую такую же майку предоставила следствию и рассказала о том, кем и как костюм шит, соседка Али и ее старшая подруга, медсестра Галина Остапенко. Рассказала и о том, где и когда они обе купили себе одинаковые майки. Галина была активной помощницей следствия, что не могло никого удивить: Галя и Аля выросли вместе, и вряд ли был кто другой, кому Аля поверяла все свои тайны.

Небольшая неувязка состояла лишь в том, что, по заключению медицинской экспертизы, женщине, чей труп нашли на острове, было около двадцати двух лет и что она перенесла уже и беременность, и роды. Однако неувязка эта следствие ничуть не смутила: Аля была девушкой крупного телосложения, так что разница в несколько лет могла, при плохой сохранности трупа, и не быть обнаружена. Что до родов — следствие почему-то решило, что в момент убийства (кто знает: мгновенного или медленного?) у Али могли начаться преждевременные роды.

И вот на таких основаниях, где сомнительное «могло быть» заменяло категоричное «было» (плюс то, что супруги вышли из дома вместе; что Бурцев резко изменил отношение к Але после того, как она отказалась сделать аборт, кстати, по тогдашним законам, запрещенный и, стало быть, криминальный; плюс то, наконец, что женился он лишь под давлением), областной суд признал обвинение доказанным и приговорил его к десяти годам лишения свободы. А тут как раз началась война. И всем уже было не до Бурцева и его пропавшей жены.

Но в том-то и дело (журналистская находка, а впоследствии, возможно, и ценный для писателя материал), что суду (безумные парадоксы нашего безумного времени!) было почему-то именно «до него»...

18 октября 1941 года коллегия по уголовным делам Верховного суда СССР целый день занималась пересмотром этого дела. Вчитайтесь в дату: 18 октября сорок первого! Самая-самая судьбоносная для Москвы — да и для всей страны — неделя.

Тогда еще я не знал, что двумя днями раньше из Москвы в Куйбышев и Саратов были спешно отправлены особо важные арестанты, уже приговоренные Верховным судом к смертной казни, но не казненные — по причинам, которые так и не выяснены до сих пор, в том числе великий Николай Вавилов; что тогда же по личному приказу Берии, молчаливо одобренному Сталиным, в подвалах Бутырской тюрьмы гремели выстрелы: были расстреляны 136 человек, которых везти на Волгу почему-то не захотели (в том числе муж Марины Цветаевой Сергей Эфрон, бывший заместитель наркомов внутренних дел и путей сообщения Лев Бельский, бывший начальник личной охраны Ленина Абрам Беленький, бывший заместитель наркома иностранных дел Борис Стомоняков, жены уничтоженных военачальников Нина Тухачевская и Нина Уборевич, жена казненного наркома тяжелой промышленности Чарна Межлаук и многие другие — известные и неизвестные); что 17 октября под председательством зловещего Ульриха были заслушаны очередные дела врагов народа — все до одного с летальным исходом — об этом тоже стало известно гораздо позже.

Но вот то, что 16 октября, в связи с приближением авангардных нацистских частей к Москве, паника охватила столицу и началось массовое бегство из нее, — это я знал хорошо. Потому что сам видел. И все это знали, даже если сами не видели. Представить себе, что в разгар всеобщей паники трое высших судей страны, не торопясь, тратят целый день на заведомо заурядное, с их же точки зрения, уголовное дело, чтобы освободить из тюрьмы одного осужденного, чей приговор не имел под собой никаких юридических оснований, — вот в это поверить действительно было трудно. Но тем не менее это

факт. И он — лишнее доказательство тому, что жизнь наша даже в самые мрачные времена не была однозначной, одноцветной, однолинейной и что понять ее можно, лишь осознав и связав воедино все то, что казалось бы вообще не совместимо.

При внимательном и непредвзятом подходе все доводы обвинения рушились как карточный домик.

Да, близкие Бурцева — мать и особенно сестра, настаивали на том, чтобы он женился на Але, но значит ли это, что их давление, только оно, и подвигло его на этот шаг? Его прошлое — все, что было известно, — отнюдь не свидетельствовало о том, что он так уж податлив давлению, что он слабovolен и не способен сам решать свою судьбу. Скорее, прямо наоборот... И если все же зарегистрировал брак именно под нажимом, зачем сразу же убил молодую жену, глупейшим образом вызвав огонь на себя? Только полный простака мог не предвидеть, что в первую очередь заподозрят его самого. Не проще ли было вообще не жениться, вопреки нажиму? Или жениться — и развестись: тогда это не представляло никакого труда. («Ты забыл про страх перед алиментами», — позже напомнит мне Слуцкий. Действительно, забыл: бегство всеми способами от алиментов как раз тогда было всеобщим поветрием. Напоминание Бориса заставит меня усомниться в моих же сомнениях. Усомниться — не более того.)

Супруги ушли из дома в два часа дня, в шесть вечера Бурцев стригся в парикмахерской (есть показания четырех свидетелей), в семь находился в своем кабинете филармонического администратора: шел концерт. Между тем остров Сарнинский расположен от города далеко, и связь с ним затруднена. Достаточно ли было трех-четырёх часов, чтобы смотаться туда и обратно и за это время еще расправиться с жертвой? И как бы он мог объяснить беременной жене неурочную эту поездку? Под каким предлогом завлечь?

Верхней одежды при трупе найти не удалось — был только купальник. Но по свидетельству метеостанции 24 апреля было холодным туманным днем, никакого купания быть заведомо не могло, даже если забыть, что речь идет о женщине, которой через полтора месяца предстоят роды. Да и сам Бурцев отнюдь не был заядлым купальщиком, готовым лезть даже в холодную

воду, — не был хотя бы уже потому, что вообще не умел плавать: материалами дела это было неоспоримо подтверждено.

Принадлежность Але найденной комбинации родные начисто исключили, но подтвердили принадлежность купальника. Однако из того же стандартного материала — ширпотреб чистой воды! — могли быть сделаны сотни купальников: ничего строго индивидуального в ткани найти не смогли.

Повторная медицинская экспертиза категорически установила, что смерть наступила не раньше, чем за три недели до обнаружения трупа, и что в момент гибели женщина беременной не была.

Наконец, оказалось, что хваленый профессор, составляя портрет по черепу, «пользовался для доделок» (так сказано в протоколе) присланными ему фотоснимками! То есть он заранее знал, кого ему нужно идентифицировать: чудная деталь, красноречиво говорящая о советском социалистическом правосудии, даже если оно имело дело отнюдь не с жертвами политических репрессий. Одного этого было достаточно, чтобы счесть профессорскую экспертизу беспардоннейшей липой. С тех пор никто не смог бы меня убедить, что портреты Ивана Грозного, Улугбека и прочих имеют какое-то отношение к оригиналу. Хорошо еще, если «доделанные» таким образом мистификации (не исторических лиц, а заподозренных в преступлении) никого не подвели под пулю. Или хотя бы в Гулаг..

Такова сюжетная сторона первого акта драмы. Но был еще и второй — с ничуть не менее интересным сюжетом.

Следователь Грязнов о том, что происходит с делом, которое было последним в его предвоенной практике, естественно, ничего не знал — про то, с каким треском оно провалилось в Верховном суде, притом не Республики даже, а самого СССР. То есть в самой высшей — последней — инстанции. В октябре сорок первого, мобилизованный, он был на фронте. Во время сильного артобстрела ему оторвало руку, лечился он в томском госпитале и там из писем родных узнал, что признанный невиновным Бурцев уже на свободе. Случай, к слову сказать, тоже редчайший: в подобных случаях, вопреки многовековой судебной практике цивилизованных государств, у нас подсудимого

не оправдывали, осужденного — не выпускали, а отправляли дело на так называемое следствие, а человек, против которого не собрали достаточных для осуждения доказательств, продолжал — «на всякий случай» — томиться в тюрьме — авось, новое следствие чего-нибудь еще наскребет.

Грязнов же был убежден, что Бурцев виновен. Решение, принятое Верховным судом, убедило его в этом еще больше. Он вдруг осознал, в чем состояла ошибка. В том, что он решил, будто Аля убита непременно в тот самый день, когда исчезла. И только из этого исходил в своих расчетах. А ее — теперь он уверовал в это — Бурцев куда-то упрятал, дождался родов, увез на остров (мертвую или живую?) и оставил там труп.

Честно говоря, это была очень шаткая версия, еще менее вероятная, чем первоначальная. Она не выдерживала даже первых критических вопросов. Где бы мог Бурцев упрянуть Алю за такой короткий срок (несколько часов)? Разве что она сама зачем-то укрылась вполне добровольно по сговору с ним. С какой стати? От кого? В честь чего, втайне родив ребенка, вдруг поехала с ним купаться на остров? Куда делся ребенок? И когда он родился? Ведь Бурцева арестовали, когда и месяца не прошло после исчезновения Али.

Все это было очевидной фантазией, но Грязнов, которому теперь предстояло возвращаться к прежней, мирной профессии, загорелся своей идеей и был готов раскручивать дело заново. Там, где происходили события, послужившие основанием для возбуждения дела, уже шли бои. Не прокурорско-судебные, а куда пострашнее. Ни от дома Бурцева, ни от дома Али и Зины, ни от тех домов, где жил и работал Грязнов, ничего не осталось. А одорукий следователь маниакально рвался на место того происшествия, стремясь во что бы то ни стало доказать — с поправочным теперь уже коэффициентом — свою тогдашнюю правоту. Ведь Аля и в самом деле исчезла. Ведь чей-то обезглавленный труп и в самом деле нашелся. Как же может быть так, чтобы никто не ответил — ни за то, ни за это, пусть даже «то» и «это» нечто различное, а не одно и то же.

Во время очередной бомбежки или артобстрела, точно не помню, его ранило. На этот раз довольно легко. Впоследствии его рану и сочтет Зина покушением на убийство — в отместку

будто бы за упорство в розыске преступника. Любопытный штришок, свидетельствующий о том, как рождаются и распространяются слухи.

Найти в Волгограде мне почти ничего не удалось. Там жили уже другие люди, мало кто помнил события четвертьвековой давности, а если и помнил, то совершенно другие — куда более страшные. И все же некий навар я с этой поездки имел. Кто-то из старожилов про мой поиск узнал, и перед самым отлетом в Москву мне принесли письмо от инвалида войны Полунина. Сам он жил в трехстах километрах от города и передвигался с трудом. Письмо очень сумбурное и, мягко говоря, не в слишком большом ладу с элементарной грамматикой. Понять однако же можно. Лучше его не цитировать, а кратко изложить в пересказе.

Этот Полунин в то самое время, когда разворачивались события с Алиной свадьбой, сватался к ее соседке Галине Остапенко, а та имела виды на самого Бурцева. Обида ее была тем сильней, что именно она Бурцева с Алей и познакомила — на свою голову, как оказалось. Бурцев не хотел брака ни с той, ни с другой, но, по причинам, уже нам известным, остановился на Але. А потом сел в тюрьму. Тут Галина с горя обратила взоры на Полунина. Не с горя, конечно, а по примитивному расчету. Но тот уже остыл, переключившись совсем на другой дамский объект. И вот, писал мне Полунин, «в один из наших острых разговоров», Галя бросила реплику: «Одна дура мне дорогу перебежала — из нее дух вон. И твоя Дашка тоже не скроется». Завершал Полунин свое свидетельство таким многозначительным вопросом, снабженным не столько вопросительным, сколько чуть ли не дюжиной восклицательных знаков: «Ну, как, корреспондент, просекли ?????????!!!!!!»

Нет, не просек. Может быть, и бросила Галина Остапенко эту злосчастную реплику — в пылу гнева, в надежде воздействовать и припугнуть. На что, случается, не идет женщина в — правой, неправой ли — борьбе за мужчину? Кого она имела в виду? Значит ли, что «дух вон» выпустила из Али она? Или кто-то с ее подачи? С ее участием? Практического значения все это уже не имело. Я просто развлекал себя головоломками, которые подсказала не фантазия литератора, а сама жизнь. С такими зигзагами и поворотами, на которые только способна.

И все-таки ставить на этом точку я не мог. Пожалуй, даже не имел права. Ведь была редакционная командировка — полагалось за нее отчитаться. Мы собрали небольшой консилиум, помню — в нем участвовал и работавший тогда в «Литгазете» Александр Сергеевич Лавров, который вскоре, вместе с женой Ольгой, станет автором знаменитого цикла «Следствие ведут знатоки». Я доложил о результате поездки — все коллеги пришли к выводу, что случай, конечно, исключительно интересный, но фактически писать не о чем. Сюжет не только не имел концовки, но даже и не позволял изложить на газетной странице хоть какую-нибудь толковую версию. Решили использовать полунинское письмо просто как шаткий повод для обращения в союзную прокуратуру: нет ли, мол, смысла, возобновить следствие по вновь открывшимся обстоятельствам? Ответ пришел так быстро, что сама эта скорость подчеркивала всю абсурдность поставленного нами вопроса. Дело — подлинное дело, возбужденное в связи с исчезновением Али и обнаружением на волжском острове чьего-то трупа, — так и осталось незавершенным. Так и осталось безнаказанным по крайней мере одно убийство. А скорее всего и два. Как и тысячи, тысячи других, таких же нераскрытых. Нераскрытых из-за нерасторопности следствия или просто ловкости перехитривших его злоумышленников. Закрытая статистика содержит сведения о тысячах так называемых «висяков», про что в те славные времена никогда народу не сообщали. Впрочем, как — чаще всего — и сейчас...

Слуцкий, с которым я поделился впечатлениями о своей поездке, не просто слушал меня с суровым вниманием (складка на его переносице стала, мне кажется, еще глубже), но и зажегся сюжетом. Это вряд ли могло бы случиться, если бы в ткани сюжета не было войны, судьбы однорукого следователя, а главное — того Сталинграда. Того, но в совсем неожиданном ракурсе.

Он стал подбивать меня на сценарий. Говорил, что такого «мощного детектива — военно-патриотического» (его слова) никто не придумает: «Ведь при упоминании Сталинграда у каждого возникают совсем другие ассоциации». Увлечись, стал фантазировать. А что если Грязнов, вернувшись в зону бо-

ев с одной рукой, встречает в сталинградских руинах свою бывшую часть? А если его фронтовые друзья помогают ему провести следственный эксперимент (ведь Слуцкий был почти юристом, учился до войны в юридическом институте, так что тонкости эти знал!), допустим, на военных моторках? После чего Грязнов уже не гадает, а знает, сколько времени надо потратить на поездку туда и обратно. И знание это помогает ему обосновать какую-то версию или от нее отказаться. Или — вот будет эффект! Драматичнейший эпизод! — встречает там самого Бурцева, и тот покушается на него (лучше всего безуспешно), чтобы устранить человека, который разгадал его тайну. И выживший Грязнов бросается на его поиск, теперь уже точно зная, кто убийца. И потом, и потом...

В моем блокноте осталось множество его сюжетных подсказок, уже весьма далеких от «первоисточника»: фантазия его разыгралась, а уж он-то хорошо знал, что вымысел бывает подчас правдивее правды. Просто мой рассказ о совсем не обычном «казусе» его разогрел.

Как жаль, что ленца, а в еще большей мере текучка, помешали мне сделать хоть что-нибудь, чтобы наш творческий треп имел продолжение. Со светлой печалью вспоминая Бориса, я тешу себя слишком лестной и гордой мыслью о том, что мы чуть-чуть не стали соавторами. И понимаю, что это мираж.

ТАЙНА МЕРЗЛОГО ГРУНТА

Совсем недавно, роюсь в залежах своего архива, я наткнулся на затрепанную, со слипшимися под грузом папок листами, тонкую книжицу, о существовании которой, конечно, хорошо знал и на которую ссылался в прежних своих публикациях. А вот про то, что есть на ней автограф сорокалетней давности, почему-то забыл. Начинаю с него лишь потому, что нашел в авторской надписи важные для данной книги слова: «Покопайтесь поглубже в этой истории, и она украсит Ваши новые адвокатские рассказы. Лишь бы не прокурорские!»

Из надписи этой я понял, что она — отзвук моих первых очерков из адвокатской практики, опубликованных тогда в «Литературной газете». Автор же надписи (и, стало быть, найденной мною книжицы) ветеран «ЛГ», давно, к сожалению, покойный, Никита Яковлевич Болотников. Хорошо помню этого интеллигентного, старорежимного на вид бородача — известного в ту пору журналиста, его внимательный, поначалу казавшийся слишком строгим взгляд. Взгляд был, однако, не строг, а сосредоточен. Никита Яковлевич обладал редким умением не только говорить, но и слушать, настроившись на волну своего собеседника. К любому делу, за которое брался, относился с серьезностью и добросовестностью. С дотошностью, как любят порой выражаться газетчики.

Эта дотошность помогла ему собрать, обобщить и проанализировать огромный материал, к которому мы еще вернемся по ходу рассказа. Тогда и будет названа его работа, которую я

отыскал в своем архиве. Вступление же это мне понадобилось лишь для того, чтобы объяснить, почему сюжет, строго говоря, не имеющий отношения ни к моей адвокатской практике, ни к практике моих коллег, тем не менее послужил основой для рассказа, завершающего эту книгу. Я просто прислушался к подсказке Никиты Яковлевича. Беспрецедентный сюжет (не рассказ, разумеется, а именно сюжет!) ни за что, я в этом уверен, не оставит читателя равнодушным...

Портрет, который лежит сейчас предо мной, можно назвать каноническим. Именно он вошел в книги, энциклопедии, справочники. Портрет человека героической биографии и легендарной судьбы.

Даже ничего не зная о том, кто на портрете изображен, можно сразу сказать, что перед нами личность сильная, крупная. Высокий, чуть нахмуренный лоб... Сурово сдвинутые на переносице брови... Проницательный взгляд... Добротная, элегантная «тройка», модно — по тем временам — закрученные усы, аккуратно подстриженная бородка клинышком выдают старого интеллигента. Трудно поверить, что человек этот образования не получил, эрудицией не отличался, и даже обычная, элементарная грамотность была у него, говоря мягко, не на слишком большой высоте. Впрочем, почему же — трудно поверить? Давно ведь известно, что подлинная культура оставляет свои следы на лице, а отнюдь не на лацкане пиджака. И духовность, глубина мыслей и чувств определяются вовсе не отметками в аттестате.

Имя этого человека есть на всех географических картах: им названы остров, берег, бухта и мыс. Его рукописи хранит архив Российской Академии наук. Его провидческие проекты продолжают осуществляться. Память о нем чтут не только на родине. Норвегия высоко оценила заслуги этого мужественного человека, отправившегося с риском для жизни по следам безвестно исчезнувших в ледяной пустыне посланцев Руаля Амундсена со шхуны «Мод» — матросов Петера Тессема и Пауля Кнутсена. С уважением и почтением отзывались о нем адмирал Степан Осипович Макаров, Фритъоф Нансен, Отто Свердруп.

Судьбе, однако, было угодно, чтобы имя его более чем на полвека оказалось связанным не только с тайнами природы, но и с тайнами криминалистики, а его смерть на берегу Ледовитого океана — со множеством темных слухов, которым пока не видно конца.

Выдающийся русский путешественник Никифор Алексеевич Бегичев отправился в последнюю свою экспедицию из Дудинки летом 1926 года. На этот раз цель у экспедиции была вполне деловая: не открытие новых земель, не подтверждение научных гипотез, не спасение попавших в беду полярников... А всего-навсего — промысел, добыча драгоценных шкурок песцов, охота на диких оленей и белых медведей.

Шкурки песца всегда ценились очень высоко. Всегда шли, главным образом, на экспорт. Потребность страны в валюте была тогда особенно острой (впрочем, не острой, если по правде, она не была в советской державе вообще никогда). Промысел — после войн и разрухи — резко сократился. Вели его — в условиях зимней полярной ночи — лишь смельчаки-одиночки. Бегичев оказался первым, кто чутко уловил направление ветра и решил поставить это многотрудное дело на артельную базу.

После долгих хлопот и переписки, преодолев уже вовсю заявившую о себе советскую бюрократию, он добился поддержки. Дудинское управление Сельскосоюза заключило с ним трехгодичный контракт, выдало аванс, снабдило снаряжением и продуктами, и первая в истории Севера промысловая артель, назвавшая себя «Белый медведь», на собаках двинулась в путь. Кроме Бегичева расставались на три года с домом, теплом и налаженным бытом еще пятеро: охотники Николай Семенов, Дмитрий Горин, Лука Зырянов, Гавриил Сапожников и счетовод Василий Натальченко, единственный из пятерых наученный грамоте, — на него возлагалась обязанность вести артельный дневник и артельное счетоводство, чтобы отчитаться затем перед Сельскосоюзом за все расходы и доходы. Кроме хозяйственной, деловой, Бегичев преследовал еще и чисто научную цель: доказать, что даже в самых жестоких условиях Крайнего Севера небольшие коллективы здоровых, объединен-

ных общей задачей людей могут провести несколько зимовок подряд и тем самым, как писал Бегичев в своей докладной записке, «стать примером для всех промышленников Туруханского края».

Но вернулась экспедиция не через три года, а гораздо раньше. В сентябре двадцать седьмого последним рейсом навигации пароход «Иней» вывез с острова Диксон всех артельщиков. Всех, кроме одного. Бесстрашный следопыт Севера, путешественник-самородок Никифор Алексеевич Бегичев навсегда остался в краю ледяного безмолвия. Его товарищи привезли горькую весть: командир «Белого медведя», Улахан Анцыфер — Большой Никифор, как называли его на Таймыре, — умер от цинги на мысе Входном в семь часов утра 18 мая 1927 года и через четыре дня после этого был похоронен в мерзлом грунте на берегу океана.

Внезапная смерть всегда порождает догадки и слухи. Тем более — смерть вдали от дома, в опасном походе, при непроверенных обстоятельствах и без очевидных причин. Вот уж от кого не ждали такой обыденной, не героической смерти! Большой Никифор?! Рослый, крепкий, никогда не болевший человек, преодолевший тягчайшие испытания, десятки раз побывавший на краю гибели и всегда выходявший победителем, — этот богатырь покорится цинге? Станет ее жертвой? Не примет заблаговременно мер? Терпеливо будет ждать смерти — ведь конец наступает не сразу, от первых симптомов до последнего вздоха проходит много недель. Его, посвятившего себя Северу, прошедшего в походах и странствиях по ледяной пустыне чуть ли не полжизни, свалит болезнь, а другие артельщики — все до единого, — без закалки и опыта, вернутся живыми и невредимыми?!

Нет, тут что-то не так...

Тундра наполнилась слухами. От поселка к поселку, от кочевья к кочевью ползла молва — тревожная, липкая: не умер Бегичев — убит. У слуха был первоисточник: Манчи Анцыферов. Этого молодого долганина Бегичев принял в артель через месяц после начала похода — по просьбе хозяина чума, где артельщики чинили снасти и конопатили лодки, пользуясь

редкими погожими днями. Вот он-то и принес страшную новость, с невиданной быстротой облетевшую край.

Слух дошел до Красноярска. В местной газете появилась заметка под названием, которое не могло не привлечь внимания: «Тайны глухой тундры». Газета кратко воспроизводила рассказ Манчи, называла имена участников экспедиции — свидетелей, а возможно, и соучастников преступления. Оставить сигнал печати без последствий в те времена (приходится подчеркнуть, чтобы не перепутать с временами нынешними) было нельзя.

10 апреля 1928 года в городе Туруханске следователь 7-го участка Боровский завел уголовное дело под номером 24. На обложке было написано: «О нанесении тяжких побоев и последующих мучительных истязаниях Бегичева Никифора Алексеевича, приведших к его смерти». Заголовок этот означал, что следствие еще не может никому предъявить обвинения, что в его распоряжении не более чем версия, подлежащая проверке. Но он вместе с тем означал, что версия эта уже покоится на некоей уликовой основе и что механизм свершившегося представляется достаточно ясным.

В ходе следствия были допрошены участники последней экспедиции Бегичева. Все они утверждали, что Бегичев умер от цинги и что слухи о насильственной смерти являются подлым наветом. Лишь один человек — Манчи Анцыферов — упорно стоял на своем.

От болезни, голода и непосильной работы, рассказывал Манчи, Бегичев действительно сильно ослаб. Этим воспользовался Василий Натальченко. Он придрался к какому-то пустяку и вызвал его на ссору. Набросился, стал избивать. Бегичев упал. Тогда Натальченко вскочил на него, топтал сапогами, подкованными железом. «На другой день, — записано в деле со слов Манчи, — я увидел, что ноги Бегичева были распухшие, как бревна. Не видно было на них нормального мяса — одна сплошная синева, а на боках и груди — опухоли и синяки от побоев».

Взяв команду в свои руки, продолжал Манчи, Натальченко приказал вынести окровавленного Бегичева из избы в продуваемую ветрами палатку, повернуть ее входом на север и не

опускать полога, чтобы умирающего заносило снегом. «Было слышно, — записано следователем со слов Манчи, — как Бегичев кричал в палатке, просил попить и поесть, но ему не давали. Натальченко запретил давать Бегичеву еду, сам караулил, чтобы никто не унес ее Бегичеву». Так и умер Бегичев, заключал Манчи, — избитый, лишенный воды, пищи и лекарств, брошенный на мороз...

Конечно, кошмарная эта история не могла не вызвать справедливого гнева. Но прежде всего, разумеется, она не могла не вызвать вопросов, которые возникают, когда читаешь обличительные показания Манчи. Вот некоторые из них.

Что заставило Натальченко так жестоко расправиться со своим «капитаном»? Так жестоко — и так рискованно: у всех на глазах?.. Кем они были, остальные артельщики? Соучастниками? Сообщниками? Трусами? Ради чего предали человека, которого чтит и с которым отправились на общее трудное дело? Если же не все были с Натальченко заодно, то как не убоился он творить свое злодеяние на глазах того же Манчи? Почему полагал, что все сойдет ему с рук?

Натальченко решительно отверг обвинения Манчи. Он объяснил, какие причины побудили того к оговору. Манчи, по словам Натальченко, чувствовал себя на зимовке человеком «второго сорта». Его приняли в артель без права на пай. Когда стали делить трофеи, каждому «досталось по 53 шт. рослых песцов» (в том числе и умершему Бегичеву). А Манчи ничего не досталось. «Произвели дележку всей добытой пушнины на шесть равных паев, лишив доли тунгуса Манчи Анцыферова как бывшего совершенно неработоспособным...» Эти слова записаны в дневнике Натальченко его рукой. И — повторены следствию.

Неработоспособным... В повседневном общении выражались, наверно, без канцелярской изысканности. Проще, грубее... Не раз, видимо, слышал Манчи упреки за свою «неработоспособность». Вероятно, слышал еще и не это. Знакомые называли Манчи Яларом, то есть лентяем, озорником. Натальченко так и обращался к нему — не по имени, а по кличке. От своих Манчи еще как-то это сносил, в устах «пришлого», «чужака» кличка звучала как оскорбление. К тому же,

когда места на нарах всем не досталось, именно он, Василий Натальченко, предложил, чтобы Манчи спал на полу. Штришок, конечно, совершенно ничтожный, но ведь ранить может даже суший пустяк.

От доводов этих не отмахнуться, и, однако, вряд ли они могли объяснить оговор. Манчи стоял на своем даже после того, как все другие артельщики, в том числе и эвенки, обвинения это отвергли. Один против всех!.. Никого не боясь!..

Натальченко потребовал эксгумации трупа. Со времени смерти прошло менее года. Ясно, что в мерзлом грунте труп еще хорошо сохранился. Экспертиза нашла бы, конечно, не только костные переломы, но и следы истязаний на теле и на лице. Или, наоборот, не нашла бы — и, стало быть, версию об истязаниях опровергла...

Решить столь простую задачу оказалось, однако, делом сложнейшим. Полярная авиация располагала в ту пору ничтожными средствами. Послужить правосудию было ей не под силу. Добраться до мыса Входного можно только на лодках. Путь занял бы месяца два, а то и все три. Следовательно, эксперти и понятым грозила реальная опасность зазимовать. Стоило ли идти на такой риск? История криминалистики, насколько я помню, подобных прецедентов не знала. Так или иначе, полярная следственная экспедиция не состоялась. А без судебно-медицинской экспертизы свидетельские показания — как «за», так и «против» — не имели цены.

Дело зашло в тупик, и 2 августа 1928 года следователь Боровский вынес постановление о его «приостановке» — «из-за невозможности произвести судебно-медицинское вскрытие трупа Н. А. Бегичева».

Приостановить дело — это, в сущности, значит оставить предполагаемого преступника под подозрением. Притом — на неопределенный срок. Следствие может быть возобновлено в любой момент, как только будут устранены препятствия, помешавшие довести его до конца. Но когда они будут устранены? Через год? Через два? И вообще — будут ли устранены? А пятно на человеке пока что останется...

Выводы следствия и формулировка, которую Боровский избрал, оставляли место для новых домыслов, новых слухов.

Натальченко подал жалобу. В ту пору следствие состояло не при прокуратуре, а при суде. Поэтому жалобу разбирал Красноярский окружной суд. 15 октября 1928 года он удовлетворил просьбу Натальченко и признал дело прекращенным «ввиду необоснованности обвинения».

Тайна мыса Входяного перестала существовать.

Объявить тайну несуществующей дело простое, но она перестанет существовать не на бумаге, а в жизни лишь после того, как будет в нее внесена полная ясность. Справка с печатью может создать лишь видимость ясности, молва от этого не утихнет, если есть для нее какая-то почва.

Почва была...

Как и зачем появился в Дудинке сумрачный, всегда исподлобья глядящий, степенный и аккуратный Василий Михайлович Натальченко? Какая нелегкая его сюда занесла? Известно было лишь то, что родом он из-под Ковно (так называли тогда нынешний Каунас) и прибыл последней баржей ранней осенью двадцатого года. Где Литва, точнее Царство Польское, входившее в состав Российской империи, ее самый западный край, с древней историей, культурой, цивилизацией, — и где забытый Богом поселочек совсем на другом краю земли?.. Я был в Дудинке сорок лет спустя, когда поселок уже успел стать городом, — впечатление, мягко говоря, безрадостное. А тогда, в двадцатом?.. Не курорт, не крупный промышленный центр, не тихий, уютный уголок, пригодный для созерцания и покоя. Несколько ветхих избышек, на десять месяцев в году отрезанных от всего мира. Жестокие северные морозы... Вечная мерзлота... Зимой — лютые ветры. Летом — полчища комаров. Самые адювы места для ссылки — и те на сотни километров южнее.

Что искал здесь молодой, полный сил холостяк? Каких невест? Какой работы? Какого жилья? Не рыбак, не матрос, не охотник. Просто грамотный человек. Даже грамоту эту и то применить было негде. Только и оставалось — устроиться счетоводом в Сельскосоюзе. Да и не сразу — годы спустя...

Первая версия — она же, видимо, и последняя: скорее всего Натальченко просто хотел затеряться. С максимальной на-

дежностью. Быть может, имел для этого основания. А возможно, и без оснований гнал его страх наступающих крутых перемен, уже успевших заявить о себе жестокостью без разбора. Ну, кто и кого в те годы стал бы искать на краю света? Смутное было время. Брат восставал на брата. Сын — на отца. Снимались с обжитых, насиженных мест целые семьи — судьба гнала их. Мало кого — за чем-то, чаще всего — от чего-то. От чего и за чем гнала судьба Василия Натальченко — молодого человека двадцати восьми от роду лет? В Сибири только что перевернулась кровавая и трагическая страница, по-советски названная колчаковщиной. Одни сдались победителям, другие подались за кордон. Но не все, не все...

Когда молва создала версию о гибели полярного следопыта, версия эта звучала так: беглый колчаковский офицер убил создателя первой северной промысловой артели. Звучала, как видим, зловеще и в контексте реалий тех лет очень походила на правду. Но тайной было окружено не только прошлое Натальченко. Еще и его настоящее.

Гостиниц в Дудинке не было. Постоялых дворов — тоже. Поставить избу — дело труднейшее: из чего? чьими руками? за какой срок? Кров нужен не завтра — сегодня. Сразу. Сейчас!.. На что он рассчитывал, одинокий переселенец, отправляясь осенью в заполярный поселок? Накануне шестимесячной ночи и сорокоградусных холодов. Не иначе как на добрых людей. И такие люди нашлись.

Семья Никифора Бегичева приютила его у себя, дала и крышу, и угол, и стол. Человек, не имевший ничего, кроме тощего мешка с пожитками, сразу получил все: дом, друзей, семью. И какую!.. Его собеседником стал человек поистине замечательный, за плечами которого была интереснейшая, полная необыкновенных приключений и невероятных событий жизнь. С утра до вечера шумела, играла, резвилась в натопленной, чисто прибранной горнице ватага детей. А душой дома, его хлебосольной хозяйкой была прелестная молодая женщина, не по-здешнему элегантная в своей городской одежде, мягкая и тактичная Анисья Георгиевна Бегичева, в недавнем прошлом Аня Турбина, скромная красноярская девушка-сирота, преодолевшая в себе робость и пошедшая за знаменитого

человека. Знаменитого — и к тому же на шестнадцать лет старше ее.

Видимо, Бегичеву нравился новый член семьи, вряд ли иначе он принял бы его в свой дом. Не на месяц, не на сезон — на годы. По вечерам они играли в шахматы, обсуждали приходившие с опозданием новости, вслух мечтали о будущем этого на редкость богатого, но пока еще безлюдного края.

Вечерние беседы не могли длиться вечно. Бегичев был непоседа, его влекли новые экспедиции, новые открытия, романтика трудного и неизведанного. В те шесть лет, которые отделяют вступление Натальченко в бегичевскую семью от начала их совместного, трагически окончившегося путешествия к берегу океана, вместились и поход по следам «почталыонов» Амундсена, и Пясинская экспедиция Николая Николаевича Урванцева, положившая по сути начало освоению Норильского региона. Ее участником тоже был Бегичев. Позднейший исследователь, рассказывая об этом, напишет, что теперь Бегичев покидал родной дом с легким сердцем, «благо заботу о прокорме семьи взял на себя его новый друг Натальченко».

Однако не все его старые друзья радовались этой заботе. Я имею в виду бесспорных друзей, чья преданность Бегичеву никогда и никем сомнению не подвергалась. Ближайший ему человек Егор Кузнецов почему-то невзлюбил Натальченко с первого взгляда и не раз пытался образумить Никифора Алексеевича, убеждая, что ничего хорошего из вхождения в семью чужого мужчины не выйдет.

Мужчина к тому же был молод и оставался наедине с молодой женой хозяина дома целыми месяцами, пока ее муж совершал свои исторические походы по неизведанным просторам Арктики, ежедневно и ежечасно рискуя жизнью. Было бы странно, если бы эта весьма щекотливая ситуация не вызвала толки и пересуды. Было бы странно тем больше, если бы толки не окрепли и не усилились после того, как Натальченко внезапно вернулся, навсегда оставив «нового друга» в мерзлом арктическом грунте. С поразившей многих поспешностью он увез Анисью Георгиевну из Дудинки в Енисейск, заставил ее продать дом, а взамен — на деньги, вырученные от продажи, —

купил новый, уже на свое имя. И наконец довел эту многоходовую комбинацию до логического конца.

Перед следователем Боровским предстал не просто подозреваемый гражданин, но официально зарегистрированный в городском загсе муж вдовы того человека, в убийстве которого он подозревался.

Друзья Бегичева не могли смириться с тем, что под делом так решительно и поспешно подвели черту. Особенно негодовал Егор Кузнецов. Он достучался уже не до местной — до центральной печати. Из Москвы приехал корреспондент популярного журнала «Всемирный следопыт» Смирнов. Долго беседовал и с Егором, и с Манчи. Итогом бесед стал опубликованный в журнале очерк «Смерть боцмана Бегичева», где подробно воспроизведена версия Кузнецова и Анцыферова. Воспроизведена так, чтобы не осталось ни малейших сомнений: автор очерка полностью ее разделяет.

Рассказывая о том, как «было выполнено это черное дело», Смирнов писал: «Тут одно может показаться странным. Убивая Бегичева, Натальченко преследовал вполне определенные цели, ну, а почему остальные — Сапожников и Семенов — допустили совершение этого злодеяния? У них, кажется, не было никаких счетов с Бегичевым, чтобы желать его смерти? Свою пассивность они объяснили боязнью связываться с Натальченко. Как бы то ни было, а, не шевельнув пальцем в защиту невинного человека, они тем самым приобщили себя к преступлению. Следовательно, им ничего не оставалось, как потом вместе с Натальченко рассказывать легенду о естественной смерти Бегичева».

В этом отрывке обращает на себя внимание одна важная фраза: «Свою пассивность они *объяснили* (выделено мной. — А. В.) боязнью связываться с Натальченко». Кому объяснили? Где и когда? Следователю таких объяснений они не давали, иначе уголовное дело нельзя было бы прекратить. И ничего похожего ему не рассказывали. Значит — корреспонденту? Или кому-то еще? Полное противоречие следственных показаний каким-то неведомым «объяснениям» и «рассказам» тех же свидетелей, воспроизведенным в центральной печати, побуждало

возобновить следствие «по вновь открывшимся обстоятельствам» (была и есть в законе такая формулировка).

Побуждало, но не побудило. Сенсационное утверждение журналиста не было ни отвергнуто, ни подтверждено. Никакой проверке оно не подвергалось. А поскольку судебное решение о прекращении дела было известно всего нескольким лицам, статью же «Всемирного следопыта» читали многие тысячи, в общественном сознании, естественно, осталась и закрепились лишь печатная версия.

Напрасно Натальченко просил снять с него подозрения и наветы публично. «Препровождая при этом копию моего заявления на имя редакции газеты «Красноярский рабочий», — писал Натальченко в суд, — прошу принять меры к тому, чтобы указанная редакция поместила на столбцах своей газеты реабилитирующую мою честь статью со ссылкой на состоявшееся определение Красноярского окружного суда о прекращении дела». Отметим попутно: приведенная цитата убедительно свидетельствовала о том, что образовательный уровень Натальченко был гораздо выше так называемой элементарной грамотности...

Суд исполнил свою обязанность, высказался категорично и ясно: не виновен! Но понудить печать довести об этом до всеобщего сведения суд не мог. Тогда Натальченко обратился к окружному прокурору: «...редакция «Красноярский рабочий» до сих пор не напечатала постановление Красноярского окружного суда о прекращении дела о насильственной смерти Н. А. Бегичева. /.../ Ходатайствую о том, чтобы прокуратура приняла меры к помещению в газете упомянутого постановления, восстанавливающего мое имя, опозоренное по вине редакции».

В печати, однако, ни строчки не появилось. Потому, скорее всего, что плохо верилось в невиновность. Оставалось ощущение какой-то неполной правды. А неполная правда, в какие одежды ее ни ряди, все-таки просто неправда. Исключений тут не бывает.

Со временем молва приутихла. Совсем иные события волновали страну. Началось гигантское по своим масштабам осво-

ение Арктики, о котором Бегичев мечтал и которое предвидел. В расстрельных ямах и лагерях оказались миллионы людей, лживо обвиненных совсем не в такой «мелочи», как какое-то сомнительное убийство на любовно-бытовой почве. «Частный» вопрос о тайне мыса Входного потускнел, затмился, растворился в той всеобщей трагедии, которая постигла страну. А грянувшая вскоре война и вовсе перевела эту тайну в разряд вроде бы и не существующих: ну, кому теперь было до нее дело?..

Но имя Бегичева и финал его жизни все же не оказались в забвении. Никита Яковлевич Болотников, о котором уже шла речь в начале этого рассказа, «заболел» Бегичевым еще в начале тридцатых годов, будучи участником арктической экспедиции на пароходе «Правда». Впервые услышав от начальника экспедиции Николая Николаевича Урванцева рассказ об этом мужественном полярнике, Болотников решил вплотную заняться изучением его жизненного пути. Он записал рассказы тех, кто помнил Бегичева, кто соприкасался с ним по работе, изучил его архив. И пришел к выводу: «Версия о его якобы насильственной смерти несостоятельна».

Он был настолько убежден в этом, что не счел нужным вникать ни в какие подробности, ограничившись этой единственной фразой, а во втором издании книги «Никифор Бегичев» (1954 год; именно эту книгу он и подарил мне со своим автографом) добавил: «Все имеющиеся документы опровергают факт убийства Бегичева». К тому времени, когда мне был сделан этот подарок, Никита Яковлевич уже понимал, что одной, даже двух фраз недостаточно, чтобы отмахнуться от так и не опровергнутых убедительно улики, тем более что другой неутомимый «расследователь» с невероятной энергией провел работу по изобличению Натальченко и поведал об этом в своих многочисленных статьях и в книге «Тайна мыса Входного», получивших немалый резонанс.

Энтузиастом этим был сибирский поэт Казимир Лисовский. Несмотря на свою стойкую инвалидность, он преодолел — и не единожды — многие тысячи километров по тундре и Заполярью, добрался до мыса Входного (там уже был небольшой рыбацкий поселок), отыскал в девяти километрах от него поч-

ти развалившуюся избу, где Бегичев умер (по версии Манчи — откуда Натальченко вынес его умирать в палатке), и могилу. Это был первый человек, заинтересовавшийся местом последнего успокоения знаменитого путешественника. Точнее, второй. Первым был местный зимовщик З. З. Громадский, который еще в 1929 году побывал на могиле и ограничился тем, что сделал несколько ее фотоснимков.

Желая убедиться в том, действительно ли найденное им основание стоявшего здесь некогда креста есть могила Никифора Алексеевича, Лисовский попросил двух рыбаков произвести раскопку. «Рыбаки взялись за кайла, — описывал впоследствии поэт эту жуткую и отнюдь не правомерную операцию. — Через некоторое время обнажилась плоская крышка гроба. Длина его была два метра. Меня тогда еще удивило, что он находится на очень небольшой глубине. Видно, хоронили второпях, кое-как, в болото. (Мне лично из нарисованной поэтом картины это совсем не видно. — А. В.) Одна из досок гроба немного отстала. Мы приподняли ее. Гроб оказался сплошь забитым мутным льдом. Сквозь тусклый слой льда еле виднелись очертания тела. Бережно, старательно мы забросали могилу землей».

Итак, в мерзлом грунте далекой тундры сохранилось тело легендарного боцмана. Эта находка не могла не реанимировать давнюю версию, снова пробудить к ней интерес. Лисовский решил разыскать героев полярной драмы. В Енисейске ему удалось найти вдову Бегичева Анисью Георгиевну, а Натальченко он отыскал вроде бы «неподалеку» — в Курейке. Некогда там отбывал ссылку великий вождь всех народов, откуда благополучно «бежал», и не раз, под носом у нерасторопной царской полиции. Теперь там же, в том же качестве ссыльного, пребывал Василий Михайлович, осужденный по доносу — нет, отнюдь не за убийство Бегичева, а за «антисоветские высказывания». Вот что годы спустя написал мне об этой встрече обличителя и жертвы врач-хирург из города Шекино Тульской области Павел Владимирович Чебуркин, угодивший в Курейку за такие же «грехи» и деливший с Натальченко общую судьбу «разоблаченных махровых антисоветчиков»:

«Я, наверно, единственный, доживающий свой век, друг Натальченко, оказавшийся рядом с ним в самую трудную пору

его жизни. Оба мы пали жертвами проклятого культа личности. Меня просто оговорил завистливый коллега, а Василия Михайловича погубил его открытый, честный характер, который не позволял ему смиряться с тупостью, несправедливостью и враньем. Он вслух говорил то, что думал. А ведь тогда было как? Что-то покритиковал, выразил недовольство чем-то — значит, враг народа. И судьи поверили доносчику-клеветнику, такая была установка. Да что говорить, сами знаете, какое было время. Василию Михайловичу повезло: ему дали не лагерь, а ссылку, и определили счетоводом при главном бухгалтере строительной конторы Зильберштейне и бухгалтере Якубовском, бывшем инструкторе знаменитой Гатчинской летной школы. Все трое (то есть и Натальченко тоже! — А. В.) были люди высокой культуры, настоящие русские интеллигенты. И вдруг заявляется к нам писатель Лисовский. «А, так вот где скрывается убийца Бегичева! — кричал он. — Я это дело так не оставлю. Какая тема! Я ее разовью, роман напишу — будет похлеще, чем «Два капитана». Тот же мотив: завоевать сердце женщины, убив ее мужа! У меня есть доказательства». Все это он говорил, выступая в клубе, при большом стечении публики. Вызвали Натальченко, попросили и его рассказать о Бегичеве и его смерти. Страшно было смотреть, как, со слезами на глазах, Натальченко начал свой рассказ, потом разрыдался — и ушел. «Как играет!» — закричал Лисовский...»

Узнав о том, что в мерзлом грунте сохранилось тело, Натальченко снова стал настаивать на проведении экспертизы. Но какие могли быть для этого основания? Что появилось нового: показания свидетелей? документы? улики? Какие, неведомые давнему следствию, факты могли бы поколебать выводы, к которым пришли юристы в конце двадцатых годов?

Факты нашлись.

Казимир Лисовский не терял надежды отыскать в Авамской тундре живых очевидцев. Преодолев в сорокаградусные морозы сотни километров на оленях, он встретился на фактории Ново-Рыбная с близким родственником Манчи Анцыферова — Егором Титовичем Ереминым. Самого Манчи уже не было в живых.

Ничего нового Егор Титович не сказал, но полностью воспроизвел показания Манчи, которые тот дал на следствии. Он слышал его рассказы множество раз и запомнил их во всех деталях. Косвенно этот факт подтверждал достоверность версии Манчи: выходит, и близким людям, которым он полностью доверял, и следователю Боровскому говорил одно и то же.

Факт этот, однако, был слишком незначительным, чтобы в архивном следственном деле мог произойти какой-либо поворот. Неутомимый Лисовский продолжал поиски. По совету Еремина он отправился на фабрику Усть-Авам. Там его познакомили с 93-летним Гавриилом Варлаамовичем Портнягиным. «Когда он начал рассказывать, — писал впоследствии Лисовский, — я невольно вздрогнул. Я понял, что нашел того человека, которого искал. Стало ясно, что Гавриил Варлаамович много знает, многому был свидетелем».

Придавая рассказу этого «бодрого старика среднего роста в шапке, в фуфайке» значение не только историческое, но и юридическое, Лисовский пригласил «понятых». Для этого пришлось совершить еще один многокилометровый переход по скованной морозом тундре: поэту непременно хотелось, чтобы роль «понятых» исполняли партийные вожди местного разлива. В присутствии секретаря райкома и прочего начальства Портнягин и вел свой рассказ.

Он почти ничем не отличался от рассказа Манчи, но Портнягин воспроизводил события тех далеких дней не с чьих-либо слов, утверждая, что сам был свидетелем гибели Бегичева. По словам Портнягина, Бегичев взял его в артель на пути к мысу Входному, когда проплывал по речке Пойтурме — притоку Пясины. Там стоял чум Портнягина. Увидев, как ловко плотничал лед Гавриил, Бегичев принял его в свой коллектив, чтобы чинить санки и лодки, рубить избу.

Бегичев, продолжал Портнягин, очень хорошо относился к Натальченко, а тот «давно решил убить» своего благодетеля — «и вот время подошло». Однажды Натальченко взял «железяку, тяжелую, килограммов пять будет» и стал толочь соль. Бегичев попросил у Натальченко собак, чтобы съездить на Диксон и обменять шкурки песцов на продукты. Натальченко не отвечал, «только красным стал, шея и лицо налились кровью». И

вдруг — ударил его этой «железякой» по голове, потом стал топтать. «Ребра ему поломал. До этого Натальченко ходил всегда в валенках, а тут почему-то надел сапоги, подбитые железом».

Долог, очень долог этот рассказ. В нем много подробностей. О том, как Натальченко издевательски расчесывал волосы рядом со стонущим от боли Бегичевым, как запретил он давать боцману не только еду, но и воду, как приказал вытащить его из теплой избы в брезентовую палатку. И как сказал, что расправится с каждым, кто окажет Бегичеву хоть какую-то помощь. «Добрый человек разве убил бы такого начальника? — завершил Портнягин свой рассказ. — Бегичев отцом нам был. А Натальченко совсем сатана... Убил его из-за жены...»

Публикуя запись сенсационного рассказа, существенно подкрепившего обвинительную версию, Казимир Лисовский так прокомментировал добытую им улику: «Слушая на протяжении пяти с лишним часов эту печальную повесть о последних днях жизни Улахана Анцыфера, повесть, которую старик передавал с такими деталями, подробностями, дополняя в некоторых местах жестами, мимикой, имитацией голоса, поясняющими, где сидел Бегичев, где Натальченко, как происходил между ними разговор, — мы взволнованно переглядывались друг с другом. У каждого из нас родилась в сердце твердая убежденность: «Нет, это нельзя выдумать. Это надо видеть самому!» (Разрядка моя. — А. В.)

Поиск Лисовского, завершившийся появлением нового важнейшего свидетеля, совпал по времени с выходом второго издания книги Никиты Болотникова «Никифор Бегичев», снова привлекая внимание к его личности, к его делам. Самые неутомимые исследователи жизни Бегичева по-прежнему придерживались прямо противоположных взглядов на причину его смерти. Новые факты требовали проверки и компетентной оценки. Отмахнуться от них было нельзя. И вполне закономерно, что, откликаясь на «вновь открывшиеся обстоятельства», известный в то время журналист Георгий Кублицкий поставил в печати вопрос о необходимости вернуться к тайне мыса Входного. Вернуться уже не на уровне догадок, предположений, легенд, а во всеоружии науки. Не в силах при этом

отойти от насаждавшейся десятилетиями зловещей риторики, Кублицкий утверждал, что рассказы найденных Лисовским людей «проливают новый свет на события, разыгравшиеся некогда далеко на Севере, и заставляют снова со всей серьезностью отнестись к версии о злодейском убийстве Бегичева врагом Советской власти».

Острота ситуации была тем драматичней, что речь шла во все не только о раскрытии одной загадки недавней истории: человек, которому печатно заново бросили тягчайшее обвинение, был жив! И женщина, из-за которой якобы разыгралась та кровавая драма, тоже была жива! Молва, преследовавшая их почти тридцать лет, набирала силу. А ясности все еще не было.

Простейший, сам собою напрашивающийся выход — возобновить следствие и подвергнуть анализу имеющиеся доказательства, как старые, так и новые, — был, однако, отнюдь не таким уж простейшим. Все процессуальные действия требуют строжайшего подчинения закону. Они не могут совершаться просто из любопытства. Хотя бы и любопытства научного, исторического. Следствие есть следствие, у него должна быть конкретная, предусмотренная законом цель.

Чем бы это возможное следствие ни окончилось, даже если бы оно полностью подтвердило догадку и слухи, — привлечь Натальченко к уголовной ответственности было нельзя: десятилетний давностный срок со времени прекращения дела давно истек. Юридически признать человека виновным в совершении преступления может только суд. Отдать Натальченко под суд в любом случае было нельзя. Не было и никакой возможности (юридической, процессуальной) его реабилитировать, если бы слухи не подтвердились: Красноярский окружной суд доступными средствами это уже сделал. Но молву, как видим, не пресек.

Ситуация казалась безвыходной...

Сейчас, из новой исторической реальности, возвращаясь ретроспективно в ту, кажущуюся уже окаменевшим реликтом эпоху, я по-настоящему осознаю шаг, на который пошли тогда наши верховные прокуроры. Ныне, когда остаются нераскрытыми десятки, сотни, а то и тысячи прямо-таки раскаленных

дел, связанных с убийствами знаменитейших личностей, когда даже самое «свежее», ошеломительное по наглости преступление остается в центре внимания разве что считанные дни, когда у следователей и прокуроров не доходят руки до того, что случилось вчера, потому что сегодняшняя новость уже успела оттеснить вчерашнюю на обочину их служебных интересов, — кажется просто невероятным, с какой серьезностью отнеслась полвека назад прокуратура СССР к просьбе о раскрытии тайны мыса Входного средствами криминалистики. Насколько прониклась пониманием уникальности этой истории, ее непохожестью на то, чем приходилось заниматься до сих пор. И средства нашлись, о чем сегодня, когда деньги на высоком и высочайшем уровне лезут из ушей и ноздрей, нельзя было бы даже мечтать: их хватает на что угодно, но только не на то, чтобы изобличить опаснейших преступников, вольготно устроившихся под надежной крышей...

Речь шла не только об извечном и естественном стремлении проникнуть в тайну, разгадать поставленную жизнью загадку, преодолев те препятствия, которыми тайна пытается себя оградить. Но и — самое главное! — о добром имени человека, на которого молва наложила поистине Каиново клеймо. Строго говоря, жизнь свою худо-бедно он прожил. И Василию Михайловичу, и Анисье Георгиевне было уже за шестьдесят. Никакой формальной помехой для осуществления их скромных жизненных планов слухи не стали. Но легко представить себе, как им в той атмосфере жилось. Как горько было прийти к финалу земного пути с этим тяжелым грузом. Как смотреть своим детям в глаза...

Если бы версию об убийстве удалось опровергнуть, притом на основе достоверных научных данных и с учетом всего обвинительного багажа, восстановление доброго имени Натальченко снимало тяжкий моральный груз со всей семьи. С другой стороны, если молва с истиной не расходилась, убийца должен был — по справедливости — понести хотя бы то наказание, которое реально еще была в состоянии наложить на него прокуратура: признать имеющиеся доказательства достаточными для передачи дела в суд и прекратить производство в связи с истечением срока давности. То есть, как принято выражаться

на языке права, — «по нереабилитирующим основаниям». Избежав наказания юридического, Натальченко пришлось бы тогда в полной мере нести наказание нравственное, и не существовало никаких причин, которые в таком случае должны были бы его от этого избавить.

Словом, союзная прокуратура решила провести новое расследование. Первым и важнейшим этапом его была эксгумация и судебно-медицинское исследование трупа: без восполнения этого зияющего пробела давнего следствия все дальнейшие поиски теряли смысл. Прокуратуру поддержало Главное управление Северного морского пути, предоставив в распоряжение следственной группы специальный самолет, чтобы добраться от Игарки — последней точки, куда ходили тогда рейсовые самолеты, — до мыса Входного и вернуться обратно. Путь, на который в 28-м году надо было затратить месяцы! Теперь это расстояние легко преодолевалось за два-три дня...

Приближался конец августа 1955 года. Еще одна-две недели, и в Заполярье придет зима. Пришлось бы ждать нового лета. Плюс один год — в дополнение к уже миновавшим двадцати восьми. Целый год! В возрасте наших героев он дорого стоит. Решили не ждать. Вскрытие могилы и экспертизу поручили транспортному прокурору Александру Терентьевичу Бабенко и ученому секретерю Института судебной медицины Минздрава СССР, кандидату медицинских наук Всеволоду Григорьевичу Науменко. Вместе с ними вылетел на Таймыр и Казимир Лисовский. Имея формально лишь статус корреспондента «Огонька», фактически он выполнял функции обвинителя, держа под контролем все действия юриста и медика и требуя от них не оставить без внимания ни один его довод. Стремясь избежать возможных упреков в необъективности, прокуратура пошла и на этот, совсем для нее не привычный шаг: уникальность так уникальность...

Я с сожалением опускаю подробности их полета. Хотя это были уже далеко-далеко не трудности двадцатых годов, но путешествие оказалось отнюдь не из легких. Зато, добравшись до могилы, москвичи встретили там четырех красноярцев, прилетевших к ним на подмогу: прокурора, следователя и двух су-

дебных медиков. Заключение столь мощного ансамбля обещало поставить, наконец, в затаившейся этой истории последнюю точку.

Прежде чем приступить к вскрытию могилы, предстояло убедиться в том, что тут захоронен именно Бегичев, а не кто-то другой. Были опрошены местные старожилы, которые этот факт подтвердили. Разыскали Громадского — того самого, который в 1929 году сфотографировал могилу Бегичева. Он также подтвердил, что это именно та могила. Его снимки по всем правилам криминалистической идентификации были сопоставлены с топографией местности. Наконец, из Дудинки был доставлен местный житель Ананьин, который хорошо знал Бегичева и провожал его с артелью на промысел в устье Пясины весной 1926 года: ему предстояло опознать труп...

Очевидцы рассказывали, что это была жуткая и глубоко волнующая картина. В унылой, безлюдной и безмолвной тундре, под доносящийся плеск ударяющей о гальку волны и свист ледяного ветра, освещенные косыми лучами стылого солнца десять человек молча копали пловун... Печальная процедура! Она не из тех, которые нужно подробно описывать. Воздержимся от деталей, перейдем сразу к итогам.

Впрочем, до итогов еще далеко: лишь позже, в Москве, по всем правилам современной науки проведут тщательное исследование костей черепа и ребер и лишь тогда консилиум специалистов скажет свое последнее слово. А пока... Останки Бегичева были вторично захоронены в той же могиле. Но работа следственной группы на этом не завершилась: юристы спешили сделать все, что могло бы помочь пролить на истину свет.

Сапожников и Семенов, члены артели «Белый медведь», уже умерли, но в Дудинке находились их близкие родственники, которые не раз слышали от артельщиков, как Бегичев мучительно умирал, сраженный цингой. Никаких разговоров об убийстве в их семьях не было. Это подтвердил и приятель покойных — местный житель Чундэ. Долгими и трудными оказались поиски Портнягина. Видимо, и впрямь это был еще очень бодрый старик, так как ни на фактории Усть-Авам, где его видел Лисовский, ни на других ближних факториях Портнягина не оказалось, и никто точно не знал, куда же он уехал. Местно-

му прокурору Улитину дали задание разыскать Портнягина и допросить. В розыск включилась милиция. Попробуем представить себе, что значит практически такой розыск в условиях осенней тундры, где фактории отделены друг от друга на десятки километров, ни телеграфной, ни телефонной связи между ними, естественно, нет, санный путь не установился, а эра вертолетов еще не настала.

Ушедшего порыбачить и поохотиться, «бодрого старика» все же нашли. Допрос его мало что прояснил — напротив, прибавил тумана... Портнягин по-прежнему утверждал, что Натальченко ударил Бегичева по голове тяжелым металлическим пестиком, но все остальные подробности — как вели себя главные участники драмы в последующие дни, что именно говорили друг другу, как Бегичев умер — изложил совершенно иначе, порой в полном противоречии с тем, что записал с его слов Лисовский. Важная часть его показаний вообще не соответствовала тому, что подвергалось объективной проверке. Например, Портнягин утверждал, что Бегичева похоронили в лодке, распиленной пополам. При вскрытии же могилы оказалось, что Бегичев похоронен в гробу обычной формы, сколоченном из досок и упаковочных ящиков. Читая, попутно скажу, «свидетельства» Портнягина, да и других, «проходивших» по делу, мне часто вспоминалось присловье, на редкость подходящее к тому, что сплелось в этот трагический узел: «Врет, как очевидец»...

Портнягин утверждал даже, что Манчи Анцыферов в артели вообще не состоял и свидетелем убийства Бегичева не был. Это противоречило бесспорно установленным данным, в том числе и показаниям самого Натальченко, никогда не оспаривавшего, что главный его обличитель Манчи был с ними безотлучно все время до самого погребения Никифора Алексеевича. Прокурор обратил внимание Портнягина на это очевидное несоответствие. Тогда «бодрый старик» неожиданно заявил, что Манчи это он сам, Гавриил Варлаамович Портнягин, что так звал его Бегичев и что показания, которые давал в свое время Манчи, — на самом деле его, Портнягина, показания. Но Манчи был моложе Портнягина лет на тридцать. В тундре жили еще люди, которые помнили истинного Манчи: между ним и «бодрым стариком» не было никакого сходства.

Все несоответствия, противоречия, неувязки и даже очевидный вздор вполне можно было объяснить преклонным возрастом свидетеля, провалами в памяти, прошедшим временем, которое многое в воспоминаниях исказило, перепутало и сместило. Оставалось главное — то, что отвергнуть с порога было нельзя: отношения между Бегичевым и Натальченко и сам «механизм» удара, оказавшегося для Бегичева смертельным, были воспроизведены Портнягиным точно так же, как в давних показаниях Манчи. Он тоже утверждал, что Натальченко ударил Бегичева по голове пятикилограммовой «железякой», а потом топтал его коваными сапогами, сломав ребра. Совпадающие показания двух свидетелей — на языке криминалистики очень серьезная, очень весомая улика.

Ценность ее подрывалась, однако, тем, что под вопросом оставался сам факт пребывания Портнягина в бегичевской артели. На документацию тогда мало кто обращал внимание, самовольно присоединившегося к артельщикам плотника в списки могли и не занести. Но почему его имя ни разу не встретилось ни в дневнике Натальченко, ни в дневнике Бегичева? Оба дневника сохранились, никаких следов позднейших исправлений, подчисток, поправок в них нет. Дневники с методичной обстоятельностью запечатлели каждый день жизни артели: кто что делал, кто что сказал... Даже — кто что ел и кто как спал... Про всех артельщиков есть подробные записи. Про Портнягина — ни одного слова. Сохранился «протокол» дележа добычи: названы не только те, кто получил свой пай, но и Манчи, которого пая лишили. Про Портнягина, однако, там тоже нет ни единого слова.

Оставалась еще версия о «колчаковском офицере». Проверили и ее. Правового смысла в этом не было никакого, но такие были тогда времени: «враги советской власти» все еще мерещились повсюду. Оказалось, Натальченко не имел к Колчаку ни малейшего отношения и вообще в Белой армии не служил. Потерявший близких, брошенный беженской волной в Сибирь, он отправился в забытую Богом Дудинку начинать свою жизнь с нуля. Думаю, этот истинно русский интеллигент, как назвал его доктор Чебуркин, был еще и истинно пронизательным человеком: много раньше, чем иные, он понял, что

при тех, кто захватил власть в России, лучше всего затеряться, раствориться, стать совсем неприметным, выжить физически, сохранившись духовно. Но имя Колчака возникло все же в молве не с бухты-барухты. Только с именем этим связана вовсе не биография Натальченко, а биография Бегичева. В самом начале двадцатого века молодой лейтенант Колчак участвовал вместе с Бегичевым в экспедиции на Новосибирские острова для спасения барона Толля и астронома Зееберга. Провел с ним бок о бок не один месяц. И даже обязан ему жизнью: Колчак неумело пытался перепрыгнуть через ледовую трещину и попал в воду. Утопающего спас Бегичев. Вернувшись домой, он рассказывал об этом друзьям.

Имя Колчака в начале века звучало совсем не так, как в двадцатые годы. Но — запомнилось. И всплыло заново, когда Бегичев загадочно сгинул. Всплыло в уродливом, искаженном, деформированном виде. В таком, который был «удобен» для данного случая, который более подходил к интригующей версии, придавал ей «актуальную» и поистине зловещую окраску. Поучительный урок для любителей слухов!..

Следствие снова оказалось перед лицом неустранимых противоречий. Оставалась надежда лишь на объективные выводы экспертизы. Для участия в ней прокуратура собрала в помощь следствию самые крупные научные силы. Экспертизу проводили: институт судебной медицины министерства здравоохранения СССР, научно-исследовательский рентгено-радиологический институт министерства здравоохранения РСФСР, кафедра лабораторных диагностик Центрального института усовершенствования врачей и даже, что на первый взгляд удивительно, институт антропологии Московского государственного университета.

Вывод экспертов, работавших много недель, был единодушным: «Каких-либо трещин и переломов костей черепа при осмотре и путем рентгенологического исследования не обнаружено. /.../ Полностью исключено предположение о том, что смерть Бегичева наступила от насильственных действий, сопровождающихся нарушением целостности костей черепа и ребер. /.../ Эксперты считают, что смерть Бегичева наступила от ави-

таминоза (цинги). /.../ Установлены следующие характерные признаки заболевания: многочисленные костные разрастания в черепе, отсутствие большинства зубов, сглаживание зубных ячеек, а также остеопороз в ребрах у мест перехода костной части их в хрящевую и в эпифазах трубчатых костей. Подобные изменения, особенно со стороны черепа, наблюдаются при хроническом авитаминозе. /.../ Изменения в костной системе Бегичева отражают глубокие изменения, происшедшие в заболевшем организме».

Кое-кого, повторю, озадачит участие антропологов. Между тем последней фразой научного заключения экспертиза как раз им и обязана. Антропологи сопоставили костные разрастания в черепе Бегичева с такими же деформациями в черепах обских остяков — давно вымершей от хронического авитаминоза народности. И обнаружили полное совпадение. В следственном деле — втором и, казалось бы, бесповоротном — появилась последняя страница: постановление о прекращении следствия в связи с тем, что версия о насильственной смерти Н. А. Бегичева не нашла подтверждения.

Конец? Как бы не так! Неугомонный Лисовский снова опорил выводы следствия. Не подвергая сомнению результаты судебно-медицинской экспертизы, он напомнил, что первые признаки заболевания цингой были замечены у Бегичева еще в начале века. В собственноручных дневниковых записях Бегичева, предшествовавших его смерти, есть много жалоб на болезнь, на все усиливающиеся и тревожащие симптомы цинги.

Чисто логически — формально логически! — Лисовский, конечно, был прав: болеть цингой и умереть от цинги далеко не одно и то же. Известно немало случаев, когда больной умирал от случайного заражения крови, отравления или — еще того дальше — от наводнения, от пожара. В таких случаях действительно между тяжким заболеванием и смертью найти причинную связь нелегко.

Экспертиза, однако — напомню и это — обнаружила такие органические костные деформации, которые свидетельствуют именно о смертельном — смертоносном, если точнее, — характере цинготных повреждений. И тем не менее эти повреждения сами по себе отнюдь не исключают, что, скажем, за сутки до

своей неминуемой смерти от цинги Бегичев был убит. Так что заключение экспертизы следует рассматривать лишь в ряду других доказательств, в ряду других доводов «за» или «против».

Попробую выстроить этот ряд, следуя совету Никиты Болотникова прибереечь уникальный сюжет для моих адвокатских рассказов. Вот что я бы сказал, выступая на суде по делу Натальченко. Конечно, защитником, — но начал бы прежде всего с тех аргументов, которые, напротив, вполнегодились бы для прокурорской речи.

«За» легенду прежде всего... сама легенда. Что заставило Манчи Анцыферова сочинить ее с такими деталями, не боясь быть опровергнутым, притом не только спутниками по экспедиции, но и экспертами? Ведь возможность и вероятность эксгумации трупа по горячим следам были весьма велики. В сущности, только нерасторопность ей помешала. Нерасторопность и равнодушие: к памяти незаурядного человека, к земной судьбе «заурядного», десятилетия несшего на себе неподтвержденное, но так и не снятое клеймо убийцы.

Мог ли знать Манчи, что при его жизни тайна так и останется в мерзлом грунте? Что уличить его в неправде следствие не захочет? А если бы все-таки захотело? Ведь он оболгал человека, приписав ему совершение тяжкого злодеяния. То есть, иначе говоря, сам совершил преступление. Не мог ему следователь этого не разъяснить. Обязан был разъяснить — таков закон! А он все равно гнул свое. Вопреки здравому смыслу, вопреки показаниям всех остальных. Почему? Из-за того лишь, что чувствовал себя в артели человеком второго сорта? Что был ущемлен? Но ведь на этих условиях он и был взят в артель. Знал, на что шел. А главное: «ущемлял» его именно Бегичев — руководитель артели. Почему обрушил Манчи свой гнев на Натальченко? Чем так смертельно задел его счетовод, что Манчи был готов на столь страшный поклеп?

Эта психологическая загадка сама по себе улика. К ней примыкает вторая. Легенды всегда отличаются тем, что имеют множество разночтений. Дополнительные подробности, всяческие «красоты» и «архитектурные излишества» — все это неперемменные атрибуты расхожей молвы, порожденной бурной фантазией и неистребимой тягой к сенсационной сплетне.

«Новости похожи на реки, — утверждает народная мудрость. — Чем дальше они от источника, тем полноводней». Почему же тогда новость о гибели Бегичева «полноводней» не стала? Не обогатилась ни вариантами, ни красочными деталями? Уж такая-то новость непременно обрастает всевозможными ответвлениями, затемняя истину, мешая пробиться к ней беспристрастному историку. Здесь же поражает странное однообразие: все, что нам известно о версии обвинения — от показаний, официально данных следствию, до изустного «фольклора», — является почти точным слепком с первоначального свидетельства Манчи. Криминалисты знают, что такое однообразие требует серьезного к себе отношения, ибо часто оказывается правдой.

Таковы два довода «за». Третьего я, как ни искал, не вижу. Это не значит, что их мало: арифметика тут не в помощь. И все же, если начистоту, — жидковато. Одни лишь умозаключения вместо доказательств — конкретных и достоверных. Зато доводы «против»...

Важнейший — экспертное заключение. Конечно, побои могли и не привести к повреждениям костным. Вдруг они «только» измотали Бегичева, сломили, лишили смертельно больного человека сил спротивляться недугу? Мягкие ткани трупа не сохранились — может быть, следы избиения были как раз на них? Но ведь не только эксперты исключили возможность предъявить заподозренному хотя бы моральное обвинение. Ее исключил и анализ имеющихся улик.

Прежде всего, в их число нельзя включить рассказы Портнягина. Нет никаких, даже косвенных и отдаленных, свидетельств, подтверждающих его пребывание среди артельщиков, — об этом сказано выше. В 1926 году Портнягину было 64 года. Даже 53-летнего Бегичева тогда считали стариком, сомневались, выдержит ли он длительное испытание зимовкой. Все его товарищи были на 18—20 лет моложе. Зачем Бегичеву нужен был человек, который стал бы обузой артели, когда в «Белый медведь» просилось столько молодых эвенков и долган? Никаких сведений о Портнягине нет и в первом следственном деле. В ходе второго следствия обнаружилось, что Портнягин, как и Манчи, в конце двадцатых годов жил в Усть-Аваме. Вероятней

всего, он воспроизвел рассказы Манчи, приписав себе, по стариковскому тщеславию, печальную честь быть последним живым очевидцем гибели легендарного боцмана. Так что с Портнягиным, как говорится, все ясно.

Не забудем, что Натальченко с самого начала добивался эксгумации трупа Бегичева. Он прекрасно понимал, что в условиях вечной мерзлоты один, даже два года не могут уничтожить следы побоев. И уж конечно, не был уверен в том, что следствие опустит руки перед трудностями путешествия к устью Пясины. На что же тогда он рассчитывал? Вообще перед лицом нависшего над ним подозрения Натальченко вел себя в высшей степени нерасчетливо. Поразительно неразумно. Словно очень старался поддержать легенду, создать против себя как можно больше улик. Увез из Дудинки Анисью Георгиевну — сразу. Женился — сразу. Оформил дом на свое имя — тоже сразу, без проволочек. Зачем он так спешил? Зачем вызывал огонь на себя, демонстрируя свой интерес и даже корысть?

Все зависит от точки отсчета. От того, какими глазами смотреть. Женой Натальченко стала вовсе не юная беззаботная женщина — измученная невзгодами и свалившейся на нее бедой 38-летняя мать шестерых детей. Старше по возрасту, кстати сказать, чем он сам. Быть может, женитьбу Василия Михайловича, вызвавшую столько кривотолков и сплетен, правильнее всего назвать подвигом? Разве это не подвиг — взять на себя столь тяжкую ношу, поставить на ноги многочисленное чужое потомство?

Ну, а корысть... Уже к моменту женитьбы семья покойного боцмана была полностью разорена. Дудинские кооператоры предъявили огромный счет на оплату долгов — за выданный и невозвращенный аванс, за снасти, одежду, продукты. В погашение этих долгов ушли все сбережения, все шкурки песцов, которые привез Василий Михайлович, — и доля Бегичева, и доля его самого. Переведенные Норвегией, после многолетних проволочек, деньги за участие Бегичева в розыске Тессема и Кнутсена вдове не выдали: их тоже засчитали в долги! Оставался дом: для обеспечения своего иска кооперация могла наложить на него арест. Спешно его продал и купив в Енисейске дом на свое имя, Натальченко спас семью от полного разорения.

Теперь, спустя восемь десятилетий, мы можем взглянуть на ту романтическую трагедию более трезво. Не предполагая, а зная... Зная, что он — с клеймом убийцы, а она — с клеймом его невольной сообщницы прожили вместе долгую-долгую жизнь, до глубокой старости, не изменив друг другу и памяти Бегичева. Вырастили детей — родных детей Бегичева и еще своих, общих. И, наверно, мы вправе сказать, что реальный — не на словах, а на деле — долг перед Бегичевым выполнил именно он, Василий Натальченко, взяв целиком на себя заботу о его семье до конца своих дней.

Тогда, быть может, им владело поистине чувство огромной силы, та всепоглощающая любовь, которая не знает преград и которая, ради себя самой, готова на самые тяжкие злодеяния? Тогда, быть может, действительно его не устраивал тайный роман за спиной друга? Не устраивали удобная жизнь под общим кровом, краденая любовь? Быть может, краденой любви он предпочел явную, хотя бы и добытую столь страшной ценой? Быть может, он отверг слишком разумную мысль остаться еще на три года — срок контракта артели «Белый медведь» — в положении «временщика» и предпочел разрубить (не в переносном — в буквальном смысле) этот тугой узел?

Шекспировские страсти бушуют, конечно, не только в литературе — и в жизни тоже. Все, конечно, может быть, но — было ли? Уж коли так, куда проще, отправившись вместе в ледяную пустыню, убрать соперника не столь безрассудно и вызывающе: мало ли есть возможностей для злоумышленника в условиях долгой зимовки?

Вторгаться в чужую личную жизнь, рыться в подробностях сокровенных, глубоко интимных отношений реальных, а не вымышленных героев — занятие не только малопочтенное, но и постыдное. Криминалисту, однако, приходится заниматься и этим. Потому что нередко постижение чувств, движущих поступками людей, как и скрытых от постороннего взора мотивов их поведения, служит ключом к отысканию истины и, значит, в конечном счете — торжеству правосудия. Лишь бы только, проникая через «закрытую дверь», не упиваться могуществом своей власти, сладострастно не ковырять кровоточащие раны, не наносить дополнительной травмы и без того

страдающим людям, не выносить на публичное обсуждение то, в чем неловко бывает признаться даже себе самому.


После сенсаций Лисовского, которым поэт постарался придать максимально возможную гласность, — несмотря на то, что вторичная реабилитация состоялась окончательно и бесповоротно, — семью Василия Михайловича и Анисьи Георгиевны стал преследовать злой рок. Старшая дочь Лидия умерла от скоротечной саркомы. Через полтора года застрелился сам Василий Михайлович. Несколько позже, скованный параличом, умер старший сын Михаил. Сразу вслед за этим повесился сын Владимир, участник войны, танкист, неоднократно раненный и контуженный. Вскоре повесилась и дочь Тамара...

«После», как известно, еще не значит «поэтому»: никто никогда не докажет, что есть прямая причинная связь между агрессивной реанимацией давней легенды и последовавшей за ней чередой трагических событий в дружной и достойной семье. Но могло ли пройти безболезненно то, что пришлось ей пережить? Оставшиеся в живых дети и внуки как Бегичева, так и Натальченко, убеждены: безболезненно не прошло.

Вот и подходит к концу наш рассказ об одной полярной одиссее, где суровость природы оказалась куда меньшей опасностью, чем растиражированная агрессивная сплетня. Возможно, рассказ этот разочарует тех, кто до последней минуты ждал неожиданного поворота, который — по всем правилам сюжетостроения — должен был завершиться посрамлением зла: разоблачением избежавшего кары убийцы и воздаянием ему по заслугам. А так — словно гора родила мышь: копали, старались, и все зря...

Психологически человек склонен ждать от следствия подтверждения легенды, в которую он поверил, а не ее опровержения. Он, возможно, еще согласился бы с опровержением, если бы нашлись данные, категорически ее опровергающие. Но могут ли в данном случае они вообще быть? Ведь в распоряжении следствия только косвенные, а отнюдь не прямые улики.

«Доказательств не найдено...» На языке молвы это означает: просто плохо искали. На языке же юстиции означает: обвинение опровергнуто, подозреваемый невиновен. Принцип



важнейший, сочетающий в себе осторожность, ограждение от ошибки, верность истине и науке. И еще уважение к личности, к ее достоинству, к ее правам.

Доказательств не найдено... Формула, полностью снимающая с человека возникшие против него подозрения. Ибо не он должен доказывать свою невиновность, а следствие обязано доказать его вину. Положение это не знает никаких оговорок, никаких исключений. Оно — надежная гарантия от слухов и сплетен, от облыжных обвинений, от грязных домыслов, от пятен на чести. Оно незыблемо, положение это, идет ли речь о загадках, которые возникают сегодня, или о тайнах истории. Ближних и дальних...

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРТВЫЙ УЗЕЛ.....	9
СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ.....	35
ПЕРВАЯ КОМАНДИРОВКА.....	46
ПЕТУШОК.....	62
ПЛЕШЬ ИЛЬИЧА.....	81
КОЛЬЦО.....	95
ВЕНЕЦИАНСКИЕ МЕДАЛЬОНЫ.....	108
ПАША И ПАША.....	120
ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО.....	144
НОРКОВОЕ МАНТО.....	157
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ.....	174
ДЫРЯВАЯ КАСТРЮЛЯ.....	199
ЖЛОБИК И КРЫШЕЧКА.....	225
ПРОЩАЙ, ОДЕССА!.....	245
ПОМОЙНАЯ ЯМА.....	266
ЧЕРВИВОЕ ЯБЛОКО.....	292
СДАЛСЯ ЖИВЫМ.....	313
КЛУБОК ЗАГАДОК.....	339
ТАЙНА МЕРЗЛОГО ГРУНТА.....	351

Литературно-художественное издание

Аркадий Иосифович Ваксберг

**Плешь Ильича
и др.
рассказы адвоката**

Редактор Т. Н. Прокопьева

Художник Ф. Е. Барбышев

Компьютерная верстка Ф. Е. Барбышев

Подписано в печать 10.02.2008. Формат 84х108/32.

Гарнитура «Newton». Бумага офсетная.

Усл. печ. л. 18,80. Тираж 1 000 экз. Изд. № 32.

Заказ №

Издательство «Человек»

105005, Москва, ул. Бауманская, д. 44, стр. 1

Отпечатано в полном соответствии

с качеством предоставленного

электронного оригинал-макета

в ГУП ПИК «Идел-Пресс»

420066, г. Казань, ул. Декабристов, д.2



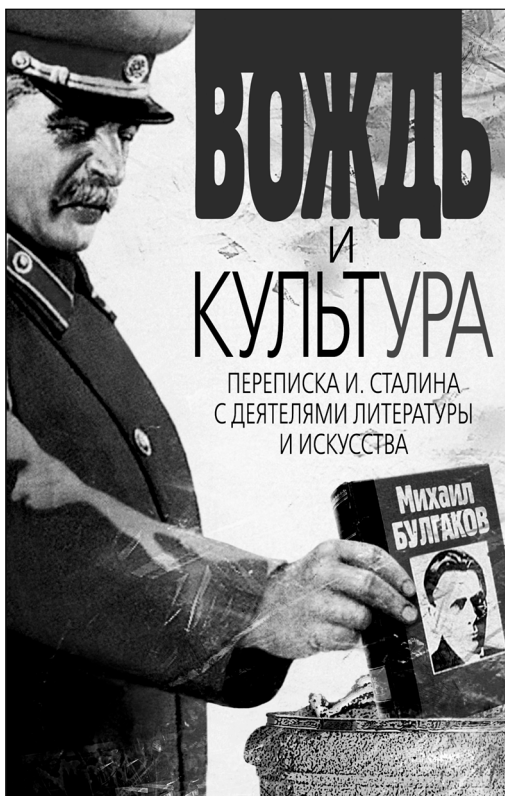
9 785903 150837 2

Издательство «Человек» представляет книгу

«Вождь и культура»

Переписка И. Сталина
с деятелями литературы и искусства. 1924—1952.

Составитель В. Т. Кабанов



Научно-популярная документальная книга позволит широкому кругу читателей сегодняшней России получить наглядное представление о том, как и на каких основах строилась новая культура нашего недавнего социалистического государства и кто — в едином лице — был ее оценщиком и окончательным судьей на протяжении почти трех десятилетий.



Телефон издательства в Москве 938-35-34.